

25

Антология



ВСЕУНИВЕРСИТЕТСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ
МАТЕМАТИКИ
имени профессора
А. Г. САФРОНОВА

**Библиотека
современной
фантастики**

МОСКВА, 1973

● „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“

А. ЕРМОЛАЕВ

Антология

25
том

C61
A72

Составитель
М. ЕМЦЕВ

Художник
Е. ГАЛИНСКИЙ

ВРЕМЯ ЗРЕЛОСТИ

(Предисловие)

Сложен и красочен мир образов, отраженных на страницах Библиотеки современной фантастики. Знакомясь с этой широкоэкранной эпопеей идей и событий, читатель чувствует главное: он становится богаче. Насколько — сейчас трудно судить. Это богатство продлено во времени. Приговор коллективным усилиям современных фантастов придет из грядущего, и в ретроспективе многое станет и ясней и понятней.

Взрыв сенсационной заинтересованности сменился сегодня устойчивым интересом к фантастике, параллельно количественному спросу пришли повышенные требования к качеству этой литературы. Уже делаются предварительные попытки оценить общий вклад фантастики в мировую культуру, определить ее роль и многостороннее влияние на читательские массы.

Непреложным обстоятельством остается связь фантастики с научно-технической революцией. Аспекты этой связи многообразны. Подобно некоторым новейшим научным дисциплинам фантастика возникла на «стыке», на взаимном сближении различных по методам, но единых по целям путей человеческого познания. Опросы читателей показали, что большое число молодых ученых пришло в науку не без влияния фантастики. В пропаганде научных идей фантастика оказывается мощным действенным оружием. Образ современного ученого, человека и гражданина, составляет главный предмет лучших произведений фантастической литературы. Считается, что интерес к науке и интерес к научной фантастике являются, по сути, двумя сторонами одного и того же явления — неослабевающего интереса людей к величественным проблемам естествознания.

В какой-то мере фантастике удалось стать своеобраз-

ным эстетическим зеркалом науки. Ведя как бы размышиление вслух о путях и превращениях научной идеи, фантастика вносит в научную проблему недостающий ей эмоциональный элемент. В произведениях этого вида литературы ученые находят то, что порой трудно осмыслить им самим, — последствия их открытий в множественных реакциях отдельных людей и общества в целом. Фантастика задает определенный энергетический тонус, творческое напряжение, которые так необходимы для научной работы. Фантастика активизирует мир ассоциативных связей, этот фундамент неожиданных открытий и обобщений.

Впрочем, не только научные, а более всего человеко-ведческие проблемы волнуют современную фантастику. Мир идей без живого героя пуст и отчужден. Человек в фантастике выступает в образе исследователя и борца. Он познает новую вероятностную действительность и в столкновении с ней преобразует ее на благо всего человечества. Это преобразование совершается с позиций современности. Фантастика отражает острые моральные и социальные проблемы наших дней через многосложный духовный мир героя. Проникновение в глубины научных проблем оказалось в прямой зависимости от глубины изображения человека. Сочувствие к герою адресуется и его делу.

Некоторые видят связь фантастики с реальностью в прогностических возможностях жанра. Мол, людям нужна мечта, и фантастика удовлетворяет существующий спрос. Предсказывает, подсказывает, предполагает. Все же следует помнить: основные фундаментальные прогнозы сегодня принадлежат наукам.

Неоднократно задавался вопрос, что же делает фантастика. Суть ответов сводилась к тому, что фантастике, как и всей литературе, положено заниматься проблемами устройства души человеческой в эпоху нарастающих перемен. Только в отличие от обычной прозы устройство это будет происходить в мире вероятностном, возможном. Диапазон фантастических миров обширен: от почти реальных до сугубо фантастических, носящих все признаки яркого сновидения. Но все эти рукотворные сны наделены четкой авторской программой: они призваны в зримой, образной форме воплотить черты реальной действительности. Их цель в том, чтобы проявить непроявленное, обнаружить скрытое, пред-

сказать возможное. На основе зародышевой ткани сконструировать будущий организм, отталкиваясь от первого шага, указать направление долгого пути. Говорят, что в своем восприятии читатель совмещает возможное с будущим. Но это неточно. Фантастика создает множественные, вероятностные миры. Среди них может оказаться и тот единственный, в котором нам предстоит жить завтра. Духовный и материальный облик грядущего отображен в фантастических моделях подобно прошлому, запечатленному в документах и памятниках старины. Речь идет не о степени достоверности, а о сходстве формального приема. В конце концов, и с прошлым и с будущим мы знакомимся с помощью книги. И летописцы, видимо, обладали не менее «раскованным» воображением, чем современные писатели-фантасты...

Все же, наверное, социологи не зря считают, что способность мечтать, способность предвидеть делает человеческое общество устойчивее, надежнее по отношению к внешним возмущающим влияниям. Повышает, говоря научно, общественный гомеостазис. Предвидя будущее, человечеству удается приготовиться к встрече с ним. Мечтая, люди обживают время, как бы заселяя его собственными проекциями, вынесенными в завтрашний день. Говоря проще, фантастика помогает захватывать, завоевывать время. С помощью мечты и научных прогнозов сегодня покоряются безбрежные временные пространства так же, как некогда завоевывались пространства географические. Человечество начало активную систематическую экспансию во времени. Выбор оптимальных прогнозов в значительной мере определяется мировоззренческой позицией автора. Этот выбор, собственно, и диктует основополагающее разделение: заселяем ли мы будущее призраками страха или надеждой, уверенностью, радостью? Где-то здесь и пролегла граница между фантастикой капитализма и социализма. За бортом Библиотеки осталась немалая толика зарубежных фантастических произведений. Многие из них обладают громкой и печальной славой. Начиная с джеймс-бондовской одиссеи и кончая сценариями для фильмов Романа Полянского. В Библиотеку современной фантастики не вошли больные сны,очные кошмары авторов, воображение которых патологически деформировано буржуазной действительностью. Основания тому очевидны: будущее призвано помогать жить, оно не должно хватать человека за

горло и держать в вечном ожидании беды. Между научно обоснованным романом-«предупреждением» и фантастикой «ужасов» непримиримый антагонизм: прогрессивная наука подсказывает пути преодоления возможных катастроф, в то время как разочарованные буржуазные фантасты нагоняют страху на читателя, живописуя космические катаклизмы. У авторов из социалистических стран и прогрессивных писателей капиталистических стран находится больше светлых красок. Такие черты фантастики, как открывающиеся перед человечеством грандиозные перспективы, гуманность главных героев — ученых, космонавтов, оригинальность научной идеи, острый, напряженный сюжет, — все это отражено в лучших произведениях современной фантастики. Читатель сопреживает высокое волнение при встрече с неизвестным, его посещает вспышка внезапного озарения, он проникает в логику поиска, может восхищаться изяществом стройных выводов... Современная прогрессивная фантастика не оставит его равнодушным.

25-й том Библиотеки составлен большей частью из фантастических рассказов.

Здесь нет новых имен. На этих страницах представлены те, кто имел в Библиотеке свой авторский том, — И. Ефремов, Станислав Лем, Рей Брэдбери, А. Азимов, А. и Б. Стругацкие, К. Саймак, Абэ Кобо, Р. Шекли, П. Буль. Знакомые, известные авторы, их творческие особенности широко обсуждались в предыдущих изданиях. И в трудном жанре рассказа они не изменили ни своему таланту, ни мастерству. И своей главной авторской сверхзадаче они тоже не изменили. В небольших по размеру произведениях легко узнается активно-гуманистическое кредо писателя. Вот несколько рассказов, которые можно было бы условно объединить под общим названием «Человек сопротивляется». В неуправляемом море буржуазной действительности, утверждают авторы этих рассказов, человек обречен на ежеминутную борьбу с вторжением темных, жестоких сил, грозящих разрушить его хрупкий оазис благополучия. Сил таких много, они могущественны, многообразны, порой непонятны, чуть ли не иррациональны.

На преступление идет героиня рассказа «Некролог» А. Азимова. Преступление вынужденное, оно спровоцировано жестоким духом самой жизни, унылым, безрадостным существованием человека-вещи. Жена ученого-

маньяка, озлобленного неудачника и эгоиста, находит не лучший путь к освобождению, но читателю ясно: дело не в ее проступке, а в беспросветной духовной атмосфере, окружающей героиню. Защищаясь от растянутого на годы преступления, она избирает в качестве оружия преступление мгновенное.

Сопротивление имеет множество форм. В рассказе Абэ Кобо «Детская» оно — пассивное. Это тот случай, когда герой отступает, но не сдается. Он уходит с детьми в подполье, чтобы там, в удущивом, больном мире, занять круговую линию обороны против могущественного врага — современного буржуазного мира. Слабым людям и детям сопротивление достается нелегко: оно уродует их души и мысли, толкает к безумию.

На первый взгляд силы названного нами сопротивления мизерны: дети, женщины, напуганные чудаки. Но в том-то и дело, что здесь таится серьезнейшее обвинение государственному буржуазному строю, не щадящему жен и детей своих. В данном случае слабость обрачиваются силой: она укрепляется сочувствием и солидарностью масс. Слабый в традиционном представлении герой приобретает волшебную мощь, если за ним правда, общественная поддержка, справедливость, добро.

Оптимистичен и светел небольшой рассказ Артура Кларка «Колыбель на орбите». Он развивает тему международной дружбы ученых и добрых дел в космосе. «Интеллектуальная проза», которой считается фантастический жанр, устами своих многочисленных авторов в разных формах и аспектах удачно отражает грандиозные свершения человеческого разума. И все глубже становится понимание: разум и познание не самоцель, а всего лишь инструменты. Инструменты для делания добра. Только подвергнутый насилиственной операции, отторгающей разум и познание от морали, этот инструмент может стать орудием зла.

Рассказ Ивана Антоновича Ефремова «Олгой-хорхой» и сокращенный вариант повести Владимира Савченко «Испытание истиной» в какой-то мере посвящены традиционной проблеме фантастики: судьбе ученых, переступающих грань неизвестного. Рассматривается тот случай познания, когда ученому приходится платить за встречу с неведомым самую высокую цену. Жертвенность — проблема старая, жертвенность — всегда нова. В фантастике она пользуется обоснованным вниманием и уважением чи-

тателя. В какой-то мере тема жертвенности в соединении с темой научного поиска находит место и в главе из повести «Пикник на обочине» А. и Б. Стругацких.

В изящной гротескной форме решают проблему «сотворения мира» Роберт Шекли в «Планете по смете» и Пьер Буль в рассказе «Когда не вышло у змея».

*Рассказ Альфреда Бестера «Ночная ваза с цветочным бордюром» — это острые сатирические комедии на современный Голливуд. Уродливое искусство, воплощенное в действительность, делает ее вдвое уродливой. Сказывается двойное иска-
жение: при отражении жизни в фильмах и при реализации фильмов в жизни.*

Несколько необычной новинкой представлен известный польский фантаст Станислав Лем: рассказом-рецензией «Альфред Целлерманн «Группенфюрер Луи XVI».

Это антифашистское произведение. В рецензии концептуированно и насыщенно изложено содержание большого романа. Чудовищный социальный кошмар возникает в джунглях Амазонки: бывшие нацисты обращены в придворных Людовика XVI. Автору удалось тонко и точно показать повторяемость социальных шаблонов диктаторских режимов: наглая фальшивь и ложь этикета, тайная развращенность и преступность, интриги и заговоры. Жутковатая игра, затеянная переряженными эсэсовцами, завершается закономерным крахом. Фашистский строй обречен на гибель изначально: он несет поражение в глубинах своей социальной сущности.

Содержание основных произведений, составляющих 25-й том Библиотеки, убеждает читателя в том, что прогрессивная фантастика по-прежнему находится на переднем крае проблем, волнующих человечество.

М. Емцев

Иван Ефремов

ОЛГОЙ-ХОРХОЙ

По приглашению правительства Монгольской Народной Республики я проработал два лета, выполняя геодезические работы на южной границе Монголии. Наконец мне оставалось поставить и вычислить два-три астрономических пункта в юго-западном углу границы Монгольской Республики с Китаем. Выполнение этого дела в труднопроходимых безводных песках представляло серьезную задачу. Снаряжение большого верблюжьего каравана требовало много времени. Кроме того, передвижение этим архаическим способом казалось мне нестерпимо медленным, особенно после того, как я привык переноситься из одного места в другое на автомобиле. Вертная моя «газовская» полуторатонка добросовестно служила мне до сих пор, но, конечно, сунуться на ней в столь страшные пески было просто невозможно. Другой пригодной машины не было под руками. Пока мы с представителем Монгольского ученого комитета ломали голову, как выйти из положения, в Улан-Батор прибыла большая научная советская экспедиция. Ее новенькие, превосходно оборудованные грузовики, обутые в какие-то особенные сверхбаллоны специально для передвижения по пескам, пленили все население Улан-Батора. Мой шофер Гриша, очень молодой, увлекающийся, но способный механик, любитель далеких поездок, уже не раз бегал в гараж экспедиции, где он с завистью рассматривал невиданное новшество. Он-то и подал мне идею, после осуществления которой с помощью ученого комитета наша машина получила новые «ноги», по выражению Гри-

ши. Эти «ноги» представляли собой очень маленькие колеса, пожалуй, меньше тормозных барабанов, на которые надевались непомерной толщины баллоны с сильно выдающимися выступами. Испытание нашей машины на сверхбаллонах в песках показало действительно великолепную ее проходимость. Для меня, человека большого опыта по передвижению на автомашине в разных бездорожных местах, казалась просто невероятной та легкость, с которой машина шла по самому рыхлому и глубокому песку. Что касается Гриши, то он клялся проехать на сверхбаллонах без остановки всю Черную Гоби с востока на запад.

Автомобильных дел мастера из экспедиции снабдили нас, кроме сверхбаллонов, еще разными инструкциями, советами, а также множеством добрых пожеланий. Вскоро наш дом на колесах, простиившись с Улан-Батором, исчез в облаке пыли и понесся по направлению на Центрлег. В обтянутом брезентом на манер фургона кузове лежали драгоценные сверхбаллоны, громыхали баки для воды и запасная бочка для бензина. Многократные поездки выработали точное расписание размещения людей и вещей. В кабине с шофером сидел я за специально пристроенным откидным столиком для пикетажной книжки. Тут же помещался маленький морской компас, по которому я записывал курс, а по спидометру — расстояния, пройденные машиной. В кузове, в передних углах, разместились два больших ящика с запасными частями и резиной. На них восседали мой помощник, радиист и вычислитель, и проводник Дархин, исполнявший также обязанности переводчика, — умный старый монгол, много повидавший на своем веку. Он сидел на ящике слева, чтобы, склонившись к окну кабины, указывать Грише направление. Радист, мой тезка, страстный охотник, восседал на правом ящике с биноклем и винтовкой, охраняя в то же время теодолит и универсал Гильдебранта.. Позади них кузов был аккуратно заполнен свернутыми постелями, палаткой, посудой, продовольствием и прочими вещами, необходимыми в дороге.

Путь лежал к озеру Орок-нор и оттуда — в самую южную часть республики, в Заалтайскую Гоби, около трехсот километров к югу от озера. Наша машина пересекла Хангайские горы и выбралась на большой автомобильный тракт. Здесь, в селении Таца-гол, в большом гараже мы проверили машину и запаслись горючим на весь

путь, подготовившись таким образом к решительной схватке с неизвестными несчанными пространствами Залтайской Гоби. Бензин на обратную дорогу нам должны были забросить на Орок-нор.

Все шло очень хорошо в этой поездке. До Орок-нора нам встретилось несколько трудных песчаных участков, но с помощью чудодейственных сверхбаллонов мы прошли их без особых затруднений и к вечеру третьего дня увидели отливающую красноватым светом ровную поверхность горы Иха. Как бы радуясь вечерней прохладе, мотор бодро посыркивал на подъемах. Я решил воспользоваться холодной ночью, и мы ехали в мечущемся свете фар почти до рассвета, пока не заметили с гребня глинистого холма темную ленту зарослей на берегу Орок-нора. Дремавшие наверху проводник и Миша слезли с машины. Площадка для стоянки была найдена, топливо собрано, и вся наша небольшая компания расположилась на кошме у машины пить чай и обсуждать план дальнейших действий. Отсюда начинался неизвестный маршрут, и я хотел в начале его отнаблюдать и поставить астрономический пункт, проверив казавшиеся мне сомнительными наблюдения Владимирацева. Шофер хотел хоропенько проверить и подготовить машину, Миша — настрелять дичи, а старый Дархин — потолковать о дороге с местными аратами. Объявленная мною остановка на сутки была принята со всеобщим одобрением.

Определив, с какой стороны и под каким углом машина дольше задержит лучи утреннего солнца, мы улеглись около нее на широкой кошме. Влажный ветерок чуть шелестел камышом, и особенный аромат какой-то травы смешивался с запахом нагретой машины — комбинацией запахов бензина, резины и масла. Так приятно было вытянуть уставшие ноги и, лежа на спине, вглядываться в светлевшее небо! Я быстро уснул, но еще раньше услышал рядом с собой ровное дыхание Гриши. Проводник с помощником долго шептались о чем-то. Проснулся я от жары. Солнце, отхватив большую часть тени, отбрасываемой машиной, сильно нагрело мои ноги. Шофер, вполголоса напевая что-то, копошился у передних колес. Миши и проводника не было. Я встал, искупался в озере и, напившись приготовленного мне чаю, стал помогать шоферу.

Выстрелы, раздавшиеся вдалеке, свидетельствовали о том, что Миша тоже не теряет времени даром. Возню

с машиной мы закончили под вечер. Миша принес несколько уток — из них двух каких-то очень красивых, неизвестной мне породы. Шофер занялся приготовлением супа, а Миша установил походную антенну и вытащил радиостанцию, готовя ее к ночному приему сигналов времени. Я бродил вокруг лагеря, выбирая площадку для наблюдения и постановки столба. Подойдя к машине, я увидел, что обед уже готов. Проводник, который тоже вернулся, что-то рассказывал шоферу и Мише. При моем появлении старик замолчал. Гриша, широко и беззаботно улыбаясь, сказал мне:

— Страшает нас Дархин, прямо нет спасения, Михаил Ильич! Говорит, что прямо к бесу в лапы завтра попадем...

— Что такое, Дархин? — спросил я проводника, подсаживаясь к котлу, установленному на разостланном брезенте.

Старый монгол негодующе посмотрел на шофера и с мрачным видом пробормотал о смешливости и непонятливости Гриши:

— Гришка всегда хохочет, беду совсем не понимает...

Веселый смех молодых людей, последовавший за этим заявлением, совсем рассердил старика. Я успокоил Дархина и стал расспрашивать его о завтрашнем пути. Оказалось, что он получил подробные сведения от местных монголов. Сухим стебельком Дархин начертил на песке несколько тонких линий, означавших отдельные горные группы, на которые распадался здесь Монгольский Алтай. Через широкую долину, западнее Ихэ-Богдо, наш путь лежал прямо на юг по старой караванной тропе, через песчаную равнину, к колодцу Цаган-Толой, до которого, по сообщению Дархина, было пятьдесят километров. Оттуда шла довольно хорошая дорога по глинистым солонцам, протяженностью около двухсот пятидесяти километров, до горной гряды Ноин-Богдо. За этими горами к западу шла широкая полоса грозных песков, не менее сорока километров с севера на юг, — пустыня Долонхали-Гоби, а за ней, до самой границы Китая, тянулись пески Джунгарской Гоби. Эти пески, по словам Дархина, были совершенно безводны и безлюдны и слыли у монголов зловещим местом, в которое опасно было попадать. Такая же дурная слава шла и про западный угол Долонхали-Гоби. Я постарался уверить старика в том, что при быстроходности нашей машины — он мог

познакомиться с ней за время пути — пески нам не будут опасны. Да мы и не собираемся долго задерживаться в них. Я только посмотрю на звезды — и обратно. Дархин молча покачал головой и ничего не сказал. Однако ехать с нами он не отказался.

Ночь прошла спокойно. Я с трудом и неохотно поднялся до рассвета, разбуженный Дархином. Мотор гулко зашумел в предутренней тишине, будя еще не проснувшихся птиц. Свежая прохлада вызывала легкую дрожь, но в кабине я согрелся и опустил стекло. Машина шла быстро, сильно раскачиваясь. Пейзаж ничем не привлекал внимания, и скоро я начал дремать. Хорошо дремлется, если высунуть локоть согнутой руки из окна кабины и положить голову на руку. Я просыпался при сильных толчках, отмечал компас и снова дремал, пока не выспался. Шофер остановил машину. Я закурил, прогнав последние остатки сна. Мы находились у самой подошвы гор. Солнце жгло уже сильно. Баллоны нагрелись до того, что нельзя было притронуться к их узорчатой черной резине. Все вылезли из машины размяться. Гриша по обыкновению осматривал свою «машинушку» или «машу», как он еще называл доблестную полуторатонку. Дархин всматривался в крутые красноватые склоны, от которых шли в степь длинные хвосты осипей. Солнечные лучи падали параллельно линии гор, и каждая выбоина коричневых или карминно-красных обрывов, каждая долинка или промоина были заполнены густыми синими тенями, образовавшими самые фантастические узоры.

Я любовался причудливой раскраской и впервые понял, откуда, должно быть, ведет свое начало сине-красный узор монгольских ковров. Дархин показал далеко в стороне, к западу, широкую долину, разрезавшую перек горную цепь, и, когда мы расселись по своим местам, шофер повернул уже остывшую машину направо. Солнце все сильнее накаляло капот и кабину, мощность перегревшегося мотора упала, и даже на небольшие подъемы приходилось лезть на первой передаче. Почти беспрерывное завывание машины угнетающее действовало на Гришу, и я не раз ловил его укоризненные взгляды, но не подавал виду, надеясь добраться до какой-нибудь воды, чтобы не расходовать прекрасную воду из озера. Мои ожидания не были напрасны: слева мелькнул крутой обрыв глубокого ущелья с травой на дне, того самого ущелья, в которое нам предстояло углубиться. Несколько

минут спуска — и Гриша, довольно улыбаясь, остановил машину на свежей траве. Под обрывом скал по характеру места должен был быть родник. Крутые скалы отбрасывали благодатную тень. Ее синеватый плащ укрыл нас от ярости беспощадного царя пустыни — солнца, и мы занялись чаепитием у подножия скал.

Едва жара начала отпускать, мы все заснули, чтобы набраться сил для ночной езды. Спал я долго и едва открыл глаза, как услышал громкое восклицание шоффера:

— Смотрите скорее, Михаил Ильич! Я все боялся, что просните и не увидите... Я спросонок даже испугался — понять ничего не мог. Прямо пожар кругом!

В самом деле, окружающий нас пейзаж казался невероятным сновидением. Отвесные кручи красных скал слева и справа от нас алели настоящим пламенем в лучах заходящего солнца. Глубокая синяя тень разливалась вдоль подножия гор и по дну ущелья, стягивая мелкие неровности и придавая местности мрачный оттенок. А надо всем этим высилась сплошная стена алого огня, в которой причудливые формы выветривания создавали синие провалы. Из провалов выступали башни, террасы, арки и лестницы, также ярко пылавшие, — целый фантастический город из пламени. Прямо переди нас, вдали, в ущелье, сходились две стены: левая — огневая, правая — исчерна-синяя. Зрелище было настолько захватывающим, что все мы застыли в невольном молчании.

— Ну-ну!.. — Гриша очнулся первым. — Попробуй расскажи в Улан-Баторе про такое чудо — девки с тобой гулять перестанут, скажут: «Допился парень до ручки». Заехали в такие места, что как бы Дархин не оказался прав.

Монгол ничем не отозвался на упоминание его имени. Неподвижно сидя на копише, он не отрывал глаз от пылающего ущелья. Огненные краски меркли, постепенно голубея. Откуда-то едва потянуло прохладой. Пора было трогаться в путь. Мы покурили, уничтожили по банке сгущенного молока, и снова крыша кабины закрыла от меня небо. Дорога бежала и бежала под край радиатора и крыло машины. Фара, обращенная ко мне своим выпуклым затылком с кольчатым проводом, настороженно уставилась вперед, вздрагивая при сильных толчках. До наступления темноты мы подъехали

к колодцу Бор-Хисуты, представлявшему собой защищенный камнями родник с горьковатой водой. Впереди в сгущавшихся сумерках маячили какие-то холмы, названия которых Дархин не знал.

Стемнело. Скрещенные лучи фар побежали впереди машины, увеличивая в своем скользящем косом свете все мелкие неровности дороги. Плотнее придвигнулась темнота, и чувство оторванности от всего мира стало еще сильнее... Прямо впереди нас поднималась, вырастая, темная, неопределенных очертаний масса — должно быть, какие-то холмы. Пора было остановиться, передохнуть до рассвета. У холмов могли быть овраги — ночная езда здесь была рискованной. Скоро в багровеющем небе четко вырисовались закругленные вершины холмов — хребет Ноин-Богдо, в этом месте сильно пониженный. Легко преодолев перевал, мы остановились на выходе из широкой долины, чтобы надеть сверхбаллоны: мы вступали в Долонхали-Гоби. Пустыня расстилала перед нами свой однотонный красновато-серый ковер. Далеко в туманной дымке едва угадывалась полоска гор. Горы эти, в старину называвшиеся Койси-Кара, и были целью моего путешествия. Я хотел поставить астропункт на низкой горной гряде, разделяющей две песчаные равнины Джунгарской Гоби. Если бы мы нашли там воду, то, пользуясь сверхбаллонами, можно было бы пересечь пески Джунгарской Гоби примерно до границы с Китаем и еще раз отнаблюдать. Так или иначе нужно было торопиться. Вероятность нахождения воды в неизвестном проводнику месте была небольшой, а отклоняться от маршрута в сторону было небезопасно из-за неминуемого перерасхода горючего. Мы выехали, несмотря на то, что над песками уже дрожала дымка зноного марева. Навстречу нам шли без конца все новые и новые волны застывшего душного моря песка. Желтый цвет песка иногда сменялся красноватым или серым; разноцветные переливы солнечной игры временами бежали по склонам песчаных бугров. Иногда на гребнях барханов колыхались какие-то сухие и жесткие травы — жалкая вспышка жизни, которая не могла победить общего впечатления умершей земли...

Мельчайший песок проникал всюду, ложась матовой пудрой на черную kleenку сиденья, на широкий верхний край переднего щитка, на записную книжку, стекло компаса. Песок хрустал на зубах, царапал воспаленное лицо, делал кожу рук шершавой, покрывал все вещи.

в кузове. На остановках я выходил из машины, взбирался на самые высокие барханы, пытаясь увидеть в бинокль границу жутких песков. Ничего не было видно за палевой дымкой. Пустыня казалась бесконечной. Глядя на машину, стоящую накренясь на один бок, с распахнутыми, как крылья, дверцами, я старался победить тревогу, временами овладевавшую мною. В самом деле, как ни хороши новые баллоны, но мало ли что может случиться с машиной. А в случае серьезной, неисправимой на месте поломки шансов выбраться из этой безлюдной местности у нас было мало... Не слишком ли смело я пустился в глубь песков, рискуя жизнью доверившихся мне людей? Такие мысли все чаще одолевали меня в песках Долонхали. Но я верил в нашу машину. Так же успокоительно действовал на меня старый Дархин. Малоподвижное «буддийское» лицо его было совершенно спокойно. Молодые же мои спутники не задумывались особыенно над возможными опасностями.

Меня смущало то, что после пятичасового пути впереди по-прежнему не было заметно никаких гор. На шестьдесят седьмом километре песчаные волны стали заметно понижаться и вместе с тем начался подъем. Я понял, в чем дело, когда через каких-нибудь пять километров мы переваливали небольшой глинистый уступ и Гриша сразу же затормозил машину. Пески Долонхали заполнили обширную плоскую котловину, находясь надне которой я, конечно, не мог видеть отдаленные горы. Едва же мы поднялись на край котловины и оказались на ровной, как стол, возвышенности, обильно усыпанной щебнем, горы неожиданно выступили прямо на юге, километрах в пятнадцати от нас. Блестящий щебень, покрывавший все видимое вокруг пространство, был темно-шоколадного, местами почти черного цвета. Нельзя сказать, чтобы эта голая черная равнина производила отрадное впечатление. Но для нас выход на ровную и твердую дорогу был настоящей радостью. Даже невозмутимый Дархин поглаживал пальцами редкую бородку, довольно улыбаясь. Сверхбаллоны отправились на отдых в кузов. После медленного движения через пески быстро-та, с которой мы добрались до гор, казалась необычайной. Некоторое время пришлось проблуждать у подножия гор в поисках воды.

К закату солнца мы были на южной стороне, где и обнаружили родник в глубоком овражке, впадавшем

в большое ущелье. Водой мы были теперь обеспечены. Не дожидаясь чая, я отправился вместе с Мишой на ближайшую вершину, чтобы успеть до темноты разыскать удобную для астрономического пункта площадку. Горы были невысоки, их обнаженные вершины поднимались метров на триста. Горная цепь имела своеобразные очертания лунного серпа, открытого к югу, к пескам Джунгарской Гоби, а выпуклостью с более крутыми склонами обращенного на север. С южной стороны горной дуги между рогами полумесяца тянулся в виде прямой линии обрыв, ниспадавший к высоким барханам песчаного моря. Наверху было ровное плато, поросшее высокой и жесткой травой. Плато ограничивали с трех сторон конусовидные вершины с острыми зазубренными верхушками. Истерзанные ветрами горы казались угрюмыми. Страшное чувство потерянности охватывало меня, когда я взглядывался в бесконечные равнины на юге, востоке и севере. Только вдали, на западе, туманились еще какие-то горные вершины, такие же невысокие, бесцветные и одинокие, как и те, с которых я смотрел.

Плато внутри полумесяца было идеально для наблюдений, поэтому мы перенесли на него радиостанцию и инструменты. Вскоре сюда же перебрались и шофер с проводником, притащившие постели и еду. Далеко внизу стояла наша машина, казавшаяся отсюда серым жуком. Мертвая тишина безжизненных гор, нарушаемая только едва слышным шелестом ветра, невольно нагнала на всех задумчивое настроение. Мои спутники расположились отдыхать на кошме, только Миша неторопливо соединял контакты сухих батарей. Я подошел к обрыву и долго смотрел вниз, на пустыню. Скалы с изрытой выветриванием поверхностью поднимались над слегка серебрящейся редкой полынью. Однообразная даль уходила в красноватую дымку заката, позади дико и угрюмо торчали пильчатые острые вершины. Беспределная печаль смерти, ничего не ждущее безмолвие веяли над этим полуразрушенным островом гор, рассыпающихся в песок, вливаясь в безымянные барханы наступающей пустыни. Глядя на эту картину, я представил себе лицо Центральной Азии в виде огромной полосы древней, уставшей жить земли — жарких безводных пустынь, пересекающих поверхность материка. Здесь кончилась битва первобытных космических сил и жизни, и только недвижная материя горных пород еще вела свою молча-

ливую борьбу с разрушением... Непередаваемая грусть окружающего наполнила и мою душу.

Так размышил я, как вдруг давящая тишина отхлынула под веселыми звуками музыки. Контраст был так неожидан и силен, что окружающий меня мир как бы раскололся, и я не сразу сообразил, что радиостранция нашупала точную настройку на одну из станций. И люди сразу оживились, заговорили, стали хлопотать о еде и чае. Миша, довольный произведенным впечатлением, долго еще держал натянутой невидимую нить, связывавшую затерянных в пустыне исследователей с живым и теплым биением далекой человеческой жизни.

Ночь, как и всегда, была ясной. Здесь, высоко на плато, стало прохладно. Дымка нагретого воздуха не мешала, как обычно, наблюдениям. Не спали только мы с Мишей. Но сейчас мое внимание унеслось в такую даль, перед которой все ландшафты земли казались мгновенной тенью, — звезды были надо мной. На них была наведена труба моего инструмента. Ярким огнем горела звезда, пойманная в крест нитей, серебристо блестел лимб в слабо освещенном окошечке верньера. Под окулярами горизонтального и вертикального кругов медленно сменялись черточки на шкале, в то время как в наушниках радио неслись размеренные хрипловатые сигналы времени.

Я дважды уже повторял наблюдения, меняя способ, так как я хотел добиться безусловно верного определения. Не скоро кто-нибудь заберется сюда повторить и проверить мои данные, и продолжительное время картографы будут опираться на этот ориентир, теперь имеющий точное место на поверхности земного шара... Наконец я выключил лампочку и отправился спать. Небольшой колышек остался до утра, обозначая точку, в которую завтра мои помощники забьют и зальют цементом железный кол с медной дощечкой. Наваленная сверху высокая пирамида камней издалека укажет астрономический пункт в этой забытой местности. Право же, это хорошая память по себе и хороший вид творческой работы на общую пользу...

В чистом и прохладном воздухе плато, под низкими звездами я хорошо выспался и поэтому проснулся рано. Рассветный ветерок тянул холодом. Все уже встали и возились с установкой железного столбика. Я потянулся и решил еще полежать, покуривая и обдумывая наш

дальнейший путь. Я решил, если пески Джунгарской Гоби окажутся трудными для нашей машины, не рисковать, гоняясь за мифической линией границы среди пустынных песков. Все же перед тем, как повернуть назад, к зеленой жизни района Орок-нора, я задумал немного углубиться в пески, чтобы составить представление об этой пустыне. Вдали я различил незначительную возвышенность. Туда я и хотел проехать и осмотреть в бинокль пустыню дальше к югу и к китайской границе.

Тихо ступая, ко мне приблизился Дархин. Увидев, что я не сплю, он сел около меня и тихо спросил:

— Как решил, едем Джунгарскую Гоби сквозь?

— Нет, решил не ехать, — ответил я. (Лицо старика дрогнуло, узкие глаза радостно блеснули.) — Только немножко поедем вон туда. — Я приподнялся на локте и указал рукой по направлению далекого холма.

— Зачем? — удивился монгол. — Лучше плохое место совсем не ехать, обратно хорошо поедем...

Я поспешил подняться с кошмы и тем самым оборвал воркотню старого проводника. Солнце еще не нагрело песка, как мы уже въезжали на сверхбаллонах прямо в глубь пустыни, держа направление на группу холмов. Шоффер напевал веселую песенку, заглушаемую воем машины. Качка по обыкновению начала действовать на меня, убаюкивая и клоня ко сну. Но даже сквозь дрему я заметил необычайный оттенок песков Джунгарской Гоби. Яркий свет уже сильно припекавшего солнца окрашивал склоны барханов в фиолетовый цвет. Тени в этот час исчезли, и разная освещенность песков отражалась лишь в большей или меньшей примеси красного тона. Этот странный цвет еще больше подчеркивал мертвенност пустыни.

Должно быть, я незаметно заснул на несколько минут, потому что очнулся от молчания мотора. Машина стояла на бархане, опустив передок в оседавший рыхлый скат, по которому еще катились вниз потревоженные песчинки. Я поднял крючок, толкнул дверцу кабины, вышел на подножку и оглянулся кругом.

Впереди и по сторонам выселись гигантские барханы невиданных размеров. Неверная игра солнца и воздушных потоков заставила меня принять их за отдаленные горы. Я и теперь не понимал, как я мог ошибиться. Всего за несколько минут до этого я готов был клясться, что совершенно ясно видел группу холмов. Утопая в пе-

ске, я взобрался на один из больших барханов и стал разглядывать песчаное море на юге. Монгол присоединился ко мне. Лукавые искорки мелькали в его темных глазах. Было ясно, что дальнейшее продвижение к югу не имело смысла — никаких холмов или гор не было заметно вдали. Дархин уверял, что монголы говорили ему о песках, тянущихся до самой границы. Можно было поворачивать назад. Спутники мои заметно обрадовались такому распоряжению. Безмолвные пески действовали на всех угнетающе. Гулкая песня мотора снова восторжествовала над песчанным покоям. Машина скользила по склону, повернула свои фары обратно на север.

Я сложил и спрятал записную книжку, прикрыл компас и приготовился продолжать прерванную дрему.

— Ну, Михаил Ильич, хорошенъко поднажать — и до Орок-нора доберемся или уж до горящих скал наверно, — блестя своими ровными зубами, сказал Гриша.

Звонкий грохот над головой заставил нас вздрогнуть. Это радиоструй стучал в крышу кабинки. Наклонившись к окну, он старался перекричать шум мотора. Правой рукой он показывал направо.

— Что еще там у них? — с досадой сказал шофер, придерживая машину, но вдруг резко затормозил и крикнул мне: — Смотрите скорее! Что такое?..

Окошко кабинки на минуту заслонил спрыгнувший сверху радиоструй. С ружьем в правой руке он бросился к склону большого бархана. В просвете между двумя буграми был виден низкий и плоский бархан. По его поверхности двигалось что-то живое. Хотя это двигавшееся существо и было очень близко к нам, но мне и шоферу не удалось сразу разглядеть его. Оно двигалось какими-то судорожными толчками, то сгибаясь почти пополам, то быстро выпрямляясь. Иногда толчки прекращались, и животное попросту катилось по песчаному склону.

— Что за чудо? Колбаса какая-то, — прошептал у меня над ухом шофер, словно боясь спугнуть неведомое существо.

Действительно, у животного не было заметно ни ног, ни даже рта или глаз; правда, последние могли быть незаметны на расстоянии. Больше всего животное походило на обрубок толстой колбасы, около метра длины. Оба конца были тупые, и разобрать, где голова, где

хвост, было невозможно. Большой и толстый червяк, неизвестный житель пустыни, извивался на фиолетовом песке. Было что-то отвратительное и в то же время беспомощное в его неловких, замедленных движениях. Не будучи знатоком зоологии, я все же сразу сообразил, что перед нами совсем неизвестное животное. В своих путешествиях я часто сталкивался с самыми различными представителями животного мира Монголии, но никогда не слыхал ни о чем похожем на этого громадного червяка.

— Ну и пакостная штука! — воскликнул Гриша. — Бегу ловить, только перчатки надену, а то противно! — И он выскоцил из кабинки, схватив с сиденья свои кожаные перчатки. — Стой, стой! — крикнул он радисту, прицелившемуся с верхнего бархана. — Живьем бери! Видишь, ползет еле-еле!

— Ладно. А вот и его товарищ, — отозвался Миша и осторожно положил ружье на гребень бархана.

В самом деле, по песчаному склону скатывалась вниз вторая такая же колбаса, пожалуй, побольше размером. В эту минуту сверху из кузова раздался пронзительный вопль Дархина. Старик, очевидно, крепко спал, и его только сейчас разбудили беготня и крики. Монгол громко кричал что-то неразборчивое, что-то похожее на «оой-оий». Шофер уже взбежал на бархан и вместе с радистом кинулся вниз. Юноши бежали быстро. Все, что произошло дальше, было делом одной минуты. Я торопливо выскоцил из кабинки, намереваясь принять участие в ловле необыкновенных существ. Но едва я отошел от машины, как монгол кубарем скатился на песок из кузова и вцепился в меня руками. Обычно спокойное лицо его исказил дикий страх.

— Обратно ребят зови! Скорее! Там смерть! — сказал он, задыхаясь, и опять завопил фальцетом: — Оой-оий..

Скорее удивленный, чем испуганный непонятным поведением старика, я крикнул шоферу и Мише, чтобы они шли назад. Но те продолжали бежать к неизвестным животным и либо не слыхали меня, либо не хотели слышать. Я сделал было шаг к ним, но Дархин потянул меня назад. Вырываясь из цепких рук проводника, я в то же время следил за животными. Мои помощники уже подбежали к ним: радист впереди, Гриша чуть сзади. Внезапно червяки свились каждый в кольцо. В тот же момент окраска их из желто-серой, сразу потемнев, стала

фиолетово-синей, а на концах ярко-голубой. Без крика, совершенно неожиданно радист рухнул ничком на песок и остался недвижим. Я услышал восклицание шофера, который в это время подбежал к радиству, лежавшему в каких-нибудь четырех метрах от червяков. Секунда — и Гриша так же странно изогнулся и упал на бок. Его тело перевернулось, скатываясь к подошве бархана, и скрылось из глаз. Я вырвался из рук проводника и бросился вперед. Но Дархин с быстротой юноши ухватил меня, как клещами, за ноги, и мы вместе покатились по мягкому песку. Я боролся с монголом, стараясь вырваться от него. Вне себя выхватил я револьвер и направил его на монгола. Щелкнул спущенный предохранитель, и только тогда проводник отпустил меня. Встав на колени, старик протягивал ко мне руки. Хриплое дыхание вместе с криком: «Смерть! Смерть!» — вырывалось из его груди. Я взбежал на бархан, продолжая сжимать в руке револьвер. Таинственные червяки куда-то исчезли. Неподвижные тела товарищей лежали на песке, избранном следами омерзительных животных. Монгол бежал вслед за мной и, как только увидел, что червяков нет, бросился, как и я, к нашим спутникам. Страшное горе сжало мое сердце, когда я, склонившись над неподвижными телами, не смог уловить в них ни малейших признаков жизни. Радист лежал с запрокинутой головой. Глаза его были полуоткрыты, лицо спокойно. У Гриши, наоборот, лицо было искажено гримасой впезапной и ужасной боли. У обоих лица были синие, будто от удушья.

Все наши усилия — растирание, искусственное дыхание, даже сделанная Дархином попытка пустить кровь — были безуспешны. Смерть товарищей была очевидной. Она оглушила нас. Все мы за долгое время, проведенное вместе, сдружились и сроднились. Для меня смерть молодых людей была тяжелой потерей. Кроме того, меня мучило сознание своей вины в том, что я не остановил безрассудной погони за неведомыми гадами. Растерянный, почти без мыслей, я молча стоял, оглядываясь по сторонам, в тщетной надежде увидеть снова проклятых червяков и выпустить в них обойму. Старый проводник, опустившись на песок, тихо всхлипывал, и я только потом подумал, как должен быть благодарен старику, спасшему меня от смерти...

Мы перенесли оба тела и положили в кузов машины,

не в силах бросить их в страшных фиолетовых песках. Может быть, где-то внутри нас чуть теплилась надежда, что это еще не смерть и наши товарищи, оглушенные неведомой силой, вдруг очнутся. Ни одним словом не обменялись мы с проводником. Глаза монгола тревожно следили за мной до тех пор, пока я не забрался на место Гриши и не запустил мотор. Включая передачу, я бросил последний взгляд на это ничем не отличавшееся от всей пустыни место, где потерял половину своего отряда. Как легко и весело было мне час назад, и каким одиноким чувствовал я себя теперь! Машина тронулась. Унылое завывание шестерен первой скорости казалось мне невыносимым. Дархин, сидя в кабине, смотрел, как я обращаюсь с машиной, и, уверившись в моем умении, немного приободрился.

В тот день мы доехали только до ночной стоянки и там похоронили своих товарищ вблизи астропункта, под высокой насыпью из камней. Разложение уже тронуло их тела и убило последнюю надежду на воскрепление.

Я и теперь не могу спокойно вспомнить молчаливую ночь в мрачных горах. Едва дождавшись рассвета, я погнал машину по черному галечнику как мог быстро. Чем дальше мы удалялись от страшной Джунгарской Гоби, тем спокойнее чувствовал я себя. Пересечение песков Долонхали-Гоби — тяжелая работа для неопытного водителя — заняло все мое внимание, несколько отогнав горестные мысли о гибели товарищей.

На отдыхе у огненных утесов я тепло поблагодарил монгола. Дархин был тронут. Он улыбнулся и сказал:

— Я кричал «смерть» — ты все равно бежал. Тогда я хватал тебя: начальник погибай — все погибай. А ты чуть не стрелял меня!..

— Я бежал спасти Гришу и Мишу, — сказал я. — О себе не думал.

Все объяснение этого происшествия, какое я мог получить у проводника да и у всех прочих знатоков Монголии, заключалось в том, что, по очень древним поверьям монголов, в самых безлюдных и безжизненных пустынях обитает животное, называемое «олгой-хорхой». Это название в горячих выкриках Дархина и показалось мне повторением «оой-оий». Олгой-хорхой не попадал в руки ни одному из исследователей отчасти потому, что он живет в безводных песках, отчасти из-за

того страха, который питают к нему монголы. Этот страх, как я сам убедился, вполне обоснован: животное убивает на расстоянии и мгновенно. Что это за таинственная сила, которой обладает олгой-хорхой, я не берусь судить. Может быть, это огромной мощности электрический разряд или яд, разбрзгиваемый животным, — я не знаю...

Наука еще скажет свое слово об этом страшном животном, после того как более удачливым, чем я, исследователям посчастливится его встретить.

ДЕТСКАЯ

— Посмотрите. Вон туда... Нет, сегодня не видно... В хорошую погоду как раз там виднеется верхушка телевизионной башни...

Праздник, а может быть, и обычное воскресенье. Укромный уголок готового лопнуть от обилия запахов переполненного ресторана недалеко от конечной остановки электрички. За шатким столиком у окна друг против друга сидят мужчина и женщина. Перед женщиной — мороженое с консервированными фруктами и шоколадом. Перед мужчиной — чашка кофе со сливками. Мужчина, видимо оттого, что поспешно отхлебывает кофе, беспрерывно дымя сигаретой, поперхнулся и выпускает дым через ноздри. Взгляд женщины остается абсолютно безучастным. Оба они — это видно с первого взгляда — совсем еще не привыкли друг к другу, как к новой выходной одежде.

Мужчина продолжает скованно:

— Откровенно говоря, я мечтаю взобраться когда-нибудь на самый верх башни и прикрепить там дощечку с надписью: «Здесь нефть». Понимаете? Грязное небо становится все тяжелее и тяжелее и уже сейчас готово обрушиться на город. И тогда раздавленный город постепенно превратится в огромное нефтеносное поле. Ведь утверждают же, что уголь образовался из растений, а нефть — из животных. Посмотрите. Там, внизу, улица, и она забита теми, из кого образуется нефть. Поэтому я и собираюсь обучать детей лишь одному — технике добычи нефти.

В уголках глаз женщины впервые появляются морщинки улыбки. Но она тут же, сжав губы, кончиком языка слизывает улыбку вместе с мороженым и шепчет извиняющимся тоном:

— Мне даже подруги всегда говорили, что я не понимаю юмора. Но в том, что вы говорите, мне кажется, много юмора.

— Вы что, простудились?

Мужчина говорил, покашливая, и женщина тоже неизвестно сколько раз в ладонь, в которой держала ложечку. Прокашлявшись, она сказала своим обычным голосом:

— Нет, наверно, поперхнулась дымом.

— Тогда ничего страшного. А то при простуде мороженое — это было бы крайне неразумно.

Взгляд женщины проникает в глаза мужчины, на мгновенье задерживается там и, оставив в них легкий трепет, убегает к окну.

— Действительно не видна телевизионная башня...

— Не видна. Из-за смога.

— Да, ужасный смог.

— А вот интересно, вправе ли люди возмущаться смогом? Вам не кажется, что это весьма проблематично?

— Возможно, — женщина снова допускает в уголки глаз улыбку, но скорее из чувства долга.

— Если говорить о грязи, и люди и смог, пожалуй, очень схожи между собой.

Мужчина, скрестив руки, кладет их на край стола и, слегка расправив плечи, садится ровно. Тогда его подбородок и шея оказываются освещенными, и женщина обращает внимание, что на кадыке у него остались несбритые волоски. Следя за ее взглядом, мужчина опускает глаза и тут же отнимает от стола оставшиеся скрещенными руки, прижимает их к узлу галстука и, глубоко вздохнув, говорит с воодушевлением:

— Во всяком случае, мы должны быть друг с другом откровенны, правда? Мы уже не в том возрасте, чтобы стесняться...

— Да, я тоже так думаю.

Выражение лица женщины сразу меняется, она поднимает голову и начинает быстро теребить пальцами воротник бежевого костюма. Бледно-розовый лак оттеняет красивые длинные ногти — интересно, обратил на них внимание мужчина или нет?

— Нужно с самого начала подготовить себя к тому, что это может создать определенную неловкость.

— Вы думаете?

— Мы с вами встретились, воспользовавшись картотекой брачной конторы, — это факт, и от него никуда не уйти... Но если этот факт будет бесконечно тяготить нас...

— Нисколько он не тяготит, во всяком случае, меня...

— Правда?

— Просто мы чуть трусливее других, менее приспособленные, недостаточно ловкие — вот и все.

— Ну что ж, меня это успокаивает. — Мужчина расцепляет сложенные на груди руки и, склонившись набок, начинает искать в кармане сигареты. — Откровенно говоря, меня это тоже нисколько не тяготит. Более того, когда вопрос касается брака, я становлюсь ярым приверженцем картотеки. Если хочешь, чтоб брак был рациональным, то любовь и всякие другие случайные моменты должны решительно отметаться. Вы согласны?

— Просто мы недостаточно ловкие.

— Да, да, конечно, вы совершенно правы. — Мужчина склоняется к чашке, залпом допивает кофе, поспешно подносит огонь к сигарете, а свободной рукой начинает теребить галстук. — В общем, мне бы хотелось поскорее узнать ваши намерения...

— Намерения?

— Если я вам не подхожу, так откровенно и скажите, что не подхожу. Я ко всему готов.

— Я... видите ли... раньше я думала, что встреча с вами доставит мне больше удовольствия.

— Почему? Вы ведь, наверно, тщательно изучили мои ответы в карточке?

— Так, что даже помню их наизусть.

— Я ничего не сочинял.

— Нет, я не в том смысле... Нельзя отвечать на вопросы, как это делают в экзаменационной работе.

— В экзаменационной работе? — Стряхивая пепел, упавший на колени, мужчина озадаченно покачал головой. — Да, действительно интересное сравнение, будто вы школьная учительница. Но вы правы, что есть, то есть. Вы ожидали большего, чем от примитивной экзаменационной работы, вот я и провалился. Видите ли, я простой служащий фирмы и во мне нет ни капли сверх того, что я написал в карточке, хоть десять лет ищи.

— И вы считаете, что по карточке вы сможете определить все? Значит, по моей карточке...

— Могу, конечно. Я вам скажу вот что. Результаты оказались именно такими, на какие я рассчитывал, прибегая к картотеке.

Женщина быстро опускает глаза и прикусывает нижнюю губу. В ее тоне появляется нерешительность, которую она не в силах скрыть.

— А вам не кажется, что вы сделали слишком спешный вывод? Чтобы человек сам написал о себе в карточке всю правду — в это трудно поверить.

— Во всяком случае, мне ясно одно — вы именно тот человек, который мне нужен...

— Ну и...

— Человек, который мне нужен. Что же еще?

Женщина, сжав губы, подавляет вздох и, откинувшись на спинку стула, смыкает колени. Изменение положения смягчило ее несколько угловатую фигуру.

— Все это потому, что вы человек совсем неприспособленный... И не особенно прозорливый. Правда? Я прекрасно поняла, что вы очень чистый, наивный человек. Вот почему, основываясь только на этом...

— Чепуха. — Мужчина подносит огонь к сигарете, зажатой в зубах женщины. — Вам известно, какую работу в фирме я выполняю?

— Если верить заполненной вами карточке, исследуете косметические товары.

— Исследую фальшь.

Женщина первый раз от души рассмеялась. Курила она весьма умело.

— Я не могу не питать доверия к человеку, прививающему мне чувство юмора!

Мужчина чуть склоняет голову набок, тушит сигарету и вопросительно смотрит на женщину.

— Вы знаете, что такое косметические товары? Для тех, кто работает в отделе рекламы, это, возможно, предметы, придающие женской коже красоту. Для нас же, работников технического отдела, — все иначе. Для нас косметические товары — это жиры и полимеры, которые не вызывают явных побочных явлений и могут дешево выпускаться в большом количестве.

— Вы говорите ужасные вещи.

— Вам так кажется?

— Может быть, вы и правы, но все же... — Женщи-

на выливают в дымящуюся пепельницу несколько ложек растаявшего мороженого. — Ваши слова оставляют какое-то неприятное чувство, это безусловно.

— Меня же все это не особенно волнует. Я старательно занимаюсь исследованиями, не испытывая никаких угрызений совести. Потому-то я и не высказываю никакого недовольства по поводу смога. Вы говорите, я наивен... Я хочу, чтобы с самого начала между нами не было никакой недоговоренности. Да, я человек, знающий, что такое фальшивь, человек, погрязший в этой фальши.

- Слишком нервный вы...
- Это я-то нервный, я, убийца?
- Убийца?

— Восемнадцать человек — это я точно помню. И меня ни разу не мучили по ночам кошмары.

Женщина прикуривает, глубоко затягивается, чуть задерживает дыхание и медленно выпускает дым в потолок.

— Значит, предложение мне делает одно из тех чудовищ, о' которых пишут в еженедельниках?

— Может быть, вас это огорчит, но чудовище — самый обыкновенный бывший солдат.

- А-а, так это вы о войне...

— Вы считаете, что, если убивают на войне, это вполне естественно?

— На войне речь может идти лишь о законной обороне.

— Только в мирное время существует такое понятие, как превышение предела необходимой обороны, то есть любую оборону обязательно снабжают, так сказать, предохранительным клапаном. А на войне нападение — лучший вид обороны. То есть война — узаконенное превышение предела необходимой обороны.

- Я вовсе не намерена оправдывать войну.

— Почему? А вот я, например, не собираюсь выступать против войны. Хоть я и говорю: убийца, убийца, а ведь речь-то идет о сущем пустяке — всего каких-то восемнадцать человек. К счастью или несчастью, я был простым солдатом, да и стрелял плохо. Ну ладно, поглядите-ка в окно. В этой толпе прохожих полно летчиков, пртиллеристов, которые действовали в прошлом весьма успешно. А если не они сами, то их братья или дети. У кого же из этих людей повернется язык осуждать меня?

- Ни у кого, естественно. Да и не должны осуждать.
- По той же причине и я не осуждаю.
- Кажется, я понимаю. Вернее, начинаю понимать, почему вы так долго оставались одиноким.
- Я бы предпочел, чтобы вы поняли, почему я собираюсь расстаться с одинокой жизнью.
- Мне очень хочется понять, но...
- Я же говорю, что вы человек, который мне нужен.
- Я не настолько самоуверена.
- Я в этом не сомневаюсь.
- Мы с вами люди неприспособленные. Я прекрасно поняла, что вы легкоранимый, мягкий человек... И все-таки, почему я вам необходима — не объясните ли вы мне конкретнее и яснее. Вы согласны? Мы ведь встретились с вами, будучи людьми уже сформировавшимися...
- Вы правы. Можно объяснить вполне конкретно. Если бы мое решение было продиктовано минутным порывом, разве стал бы я прибегать к картотеке брачной конторы? Нет, мое решение вполне конкретно. Оно так же конкретно, как вот этот стол или эта пепельница.
- Благодарю, вы очень любезны... Но у меня угловатый подбородок — как у мужчины, некрасивые уши, а губы злые...
- Но зато вы прекрасно разбираетесь в воспитании детей. Это, как я увидел, ваше призвание.
- Вы действительно похожи на большого ребенка. — Женщина весело смеется. По ее виду не скажешь, что она недовольна разговором, напоминающим блуждание в лабиринте. — Но между ребенком и взрослым, похожим на ребенка, — большая разница.
- Я говорю именно о детях. Разве вы лишены чувства долга перед детьми, которых надо спасти, вырвать из этого мира, превращающегося под тяжестью смога в нефтеносное поле?
- Женщина сползла вниз, еще выше подняла сведенные вместе колени — поза несколько вызывающая.
- По-моему, у вас все задатки стать верующим. Я же в бога не верю и поэтому считаю, что детей, даже нежно любимых, нужно растить в естественных условиях. Да и педагогика отрицает воспитание в стерильной среде. Во всяком случае, поскольку речь идет о замужестве, я должна в первую очередь подумать о себе.
- Вы хотите сказать, что вас не волнует, если наши

дети окажутся в самом очаге эпидемии, охватившей людей?

— Наши дети?

— Разумеется, именно наши дети. Я не такой альтруист, чтобы делать вам предложение ради желания усыновить чужих детей.

— Раньше времени говорить об этом как-то странно.

Женщина чуть проглатывает конец фразы, что, правда, очень жестко. Может быть, так выражается ее смущение. Мужчина сразу же улавливает это и говорит решительно, хотя в тоне его проскальзывают нотки растерянности:

— Вы ошибаетесь. Я говорю о своих, уже существующих детях.

Лицо женщины сереет.

— Странно. Я внимательно прочла вашу карточку, в ней написано, что у вас нет детей.

— А-а, в карточке... — Мужчина облизывает губы и смотрит в пустую чашку. — Да, в карточке действительно...

— Вы написали неправду?

— Никакой особой неправды там нет.

— Вот как? Написать неправду, которая моментально обнаружится...

— Как бы это лучше сказать?.. Речь идет не о таких детях. Не о таких, о которых следует писать в карточке...

— Тайный ребенок?

— Пожалуй, в некотором смысле...

— Наверно, внебрачный ребенок, которого вы пока не признали?

— Я же вам говорю, речь идет совсем не о таких детях, которых признают или не признают.

— Ничего не понимаю.

— В обычном смысле они на свете не живут и включить их в жизнь тоже невозможно...

Женщина, продолжая пристально смотреть на мужчину, чуть склоняет голову набок, лукаво улыбается, обнажая зубы, и кивает головой, будто своим мыслям:

— Все понятно... Если вы это имеете в виду, то мне все понятно.

— Что вам понятно?

— Просто вы их видели во сне.

— Да, возможно, и во сне. Но сон был наяву. Они дышат, двигают руками и ногами — сон наяву.

— Интересно, интересно вы рассказываете...

— Я вам уже говорил и повторяю снова: дети действительно живые. Реально существующие в биологическом смысле дети. Если вы мне не можете поверить хотя бы в этом...

— Где они живут?

— В моем доме, разумеется. В подвале моего дома. Я называю его подвалом, но там все оборудовано так, чтобы они не испытывали ни малейших неудобств... Это идеальное жилище, если отвлечься от того, что оно полностью изолировано от внешнего мира.

— Интересно. Ну и дальше...

— То, что я рассказал, не пустая болтовня.

— Я вас слушаю вполне серьезно.

— Детей двое. Старшему тринадцать лет, младшему недавно исполнилось девять. Но меня вот что беспокоит — станете ли вы другом этих детей, существует ли такая возможность, пусть даже самая маленькая? Разрешите мне хотя бы надеяться на это.

— Что ж, если вы действительно этого хотите...

— Тогда позвольте мне задать еще один вопрос... Если бы в таком положении оказались вы... Нет, я напрасно это делаю. Вопрос, имеющий подобную посылку...

— У меня была тетя, дальняя, дальняя родственница, я, правда, не состояла с ней в кровном родстве — так вот, она держала кошек.

— Кошек?

— У нее было четыре поколения кошек — всего штук тридцать. И никто их никогда не видел.

— Вы ставите меня на одну доску со своей ненормальной тетей...

— Моя тетя вовсе не была ненормальной. Каждый день хозяин ближайшей рыбной лавки привозил ей еду для тридцати кошек. Кошки существовали на самом деле. И я ни разу в этом не усомнилась. Если кому-то это действительно необходимо, нет ничего проще, как поверить в существование тридцати кошек.

— Да, вы несомненно человек, который мне нужен. Все же задам вам вопрос. Какое небо вы бы хотели создать для наших детей? Вместо этого, затянутого смогом...

— Ослепительно голубое летнее небо морского побережья.

— Почему?

— Или, может быть, осеннее. Осень — изумительный сезон, когда уже не жарко, созревают фрукты...

— Это нереально.

— Вы так думаете?

— Детям придется жить лишь вдвоем на вымершем земном шаре. Им будет не до выбора сезона. Им нужна суровая закалка, чтобы они смогли выжить, противостоять любым невзгодам.

— И даже смогу?

— Нет, смог и человек взаимно исключают, взаимно уничтожают друг друга. Потому-то с самого начала — правда, тут были и экономические причины — я выбрал небо пустыни.

— Детям — пустыня, не слишком ли это жестоко?

— Но я сделал поблизости небольшой оазис. И что, вы думаете, произошло?

— Как что произошло?

— Дети, точно дикие животные, по одному запаху учуяли воду.

— Очень интересно. Вы мне не закажете чаю?

— Может быть, попьем его у меня дома? Чай у меня сколько угодно. И кроме того, прежде чем вы примете окончательное решение, я думаю, хорошо бы вам встретиться с детьми...

— Когда я попаду в ваш дом, то тоже увижу небо пустыни?

— Нет. Теперь пустыню я уничтожил. Детей я поселил в джунглях третьего ледникового периода. И потому, что там бродят дипозавры, от огромных до самых маленьких, и потому, что все живое превращается в уголь и нефть, этот период имеет очень много общего с современностью.

— В таком случае не придут ли в конце концов ваши дети к тому же, к чему пришли мы? Ведь наши предки тоже прошли когда-то через ту же самую эпоху динозавров...

— Ошибаетесь. Моим детям не придется жить как первобытным. Мы обогащены знаниями и техникой. Кроме того, если вы окажете им помощь в учебе, процесс их развития, естественно, будет совсем иным, чем у первобытного человека.

— А как вы объясняете детям все, что касается современности?

— Для чего им рассказывать об этом?

— Но ведь полностью изолировать их от внешнего мира тоже невозможно. С улицы доносятся гудки автомобилей, в дверь стучат разносчики товаров.

— Подвал абсолютно звукоизолирован. Правда, однажды мне пришлось здорово поволноваться. Водопроводная труба, проложенная в железобетонной стене, неожиданно лопнула. И подвал стало затоплять. Пришлось детей запереть в сундуке и вызвать водопроводчика. Но дети сквозь щель все же увидели, как он работает. Я совсем растерялся. Как им объяснить, кто это?..

— Но они видят вас, и, значит, какое-то представление о людях у них должно быть. Бряд ли водопроводчик так уж сильно поразил их воображение.

— Нет, я им внушил, что, кроме нас троих, никаких других людей не существует.

— И для этого вам пришлось внести корректизы в историю, да?

— Детям я так объяснил: «Слушайте внимательно. Тот, которого вы сейчас видели, — дракон-оборотень, появившийся в образе вашего отца».

— А-а, значит, вы все превратили в сказку?

— Да-да, совершенно верно. Потом я сказал им, что дракон может то появляться, то исчезать... Такое объяснение весьма удобно... Взять, например, пищу. Раньше я сталкивался с огромным неудобством — невозможностью использовать продукты, подвергавшиеся какой-либо обработке. А с тех пор дракон-оборотень легко превращается во сне даже в сосиски или китайскую лапшу.

Женщина рассмеялась, вытянула ноги и уперлась руками в колени. Скованность исчезла, она снова обрела женственность. Поза ее стала свободной, спокойной.

— Пойдемте. Посмотрим, как там ваши дети... Руководить детьми, формировать их нужно не только во время учебы, но в какой-то мере и во время игр!..

— Кстати, вон те, что там, кем они вам представляются? Все еще людьми?

— Нет, драконами-оборотнями... Или скорее теми, из кого образуется нефть... А вокруг густо растут огромные кедры — первобытный лес каменноугольного периода...

Они поднимаются. Поднимаются одновременно, словно говорившись. Но расплачивается один мужчина. В лифте женщина мысленно сравнивает плечи мужчины со своими, находящимися почти на одном уровне, потом заглядывает ему в лицо и тихо смеется.

Мужчина даже не улыбнулся в ответ, наоборот, прищурился и слегка придержал женщину за локоть. Оба снова выходят в смог. Даже их одежда сзади примята одинаково. Точно они уже десять лет прожили, опираясь на одну и ту же поддерживавшую их перекладину...

Четвертая остановка на электричке, а там совсем близко — несколько минут на такси. Обычно он ездит автобусом, но сегодня, естественно, можно позволить себе такую роскошь. Дом мужчины действительно существует. Это обычный крупноблочный дом в так называемой пригородной зоне, разбитой на аккуратные участки. Даже цветом крыши он не отличается от соседних строений. Крыша железная, зеленого цвета, той же краской выкрашены и водосточные трубы. Но женщина не видит сейчас ничего, кроме того, что это реальный дом. Ей вполне достаточно, что дом существует.

Мужчина и женщина снова сидят за столом и теперь пьют чай. Стол другой формы, чем в ресторане, по такой же шаткий, и женщина, скомкав пустую пачку сигарет, подкладывает ее под одну из ножек.

— Что сейчас делают дети?

— Который час? — Мужчина смотрит на ручные часы и слегка задумывается. — Сейчас они, вооружившись, охотятся.

Женщина смеется и, откинувшись на спинку стула, поправляет волосы. Потом вдруг, пораженная неуютностью комнаты, говорит:

— Вы действительно совсем, совсем одиноки.

Мужчина оценивающе смотрит на женщину — ее участие вызывает у него теплое чувство.

— Откровенно говоря, я бы не хотел снова возвращаться к картотеке брачной конторы. Дети, между прочим, очень ловко охотятся.

— Какая же сегодня добыча — большая, маленькая?

— Огромный динозавр — это определенно.

— А дракон-оборотень их не удивит?

— Я много рассказывал им о вас.

— Я тоже буду послушным ребенком.

Женщина поднимает чашку чаю на уровень глаз, будто хочет чокнуться, то же делает и мужчина, но в их движениях все еще чувствуется некоторая скованность.

Может быть, оттого, что беззаботное веселье не соответствует их возрасту.

— Но мои дети ужасно впечатлительные и поэтому...

— Разумеется, — быстро соглашается женщина. — Сегодня я заплах на минутку. И уже собираюсь откланяться... Все должно идти своим чередом... Чтобы подготовиться к встрече со мной, детям потребуется время.

— Нет, давайте лучше спросим самих детей. Если они ответят, что времени им не потребуется, то нет нужды тянуть понапрасну.

— Да, конечно. — Женщина покраснела так, что на глаза навернулись слезы. — Ну что ж, спросите их. Если они проголодались, я могу приготовить еду.

— Нет, есть им еще рано.

— Что же я должна делать?..

Женщина покраснела еще сильнее, но мужчина, казалось, не обратил на это никакого внимания. И, наклонившись к чашке и громко прихлебывая, сказал:

— Ладно, спросим их сейчас же... Вот только допьем чай и спросим...

И оба, точно птицы, уткнувшись в кормушку, сосредоточенно пьют чай.

Неожиданно мужчина встает, вытирая губы тыльной стороной ладони. Женщина, поднявшаяся за ним, явно растеряна. Мужчина идет впереди, вслед — женщина.

— Это кухня.

— Ага.

— Вот здесь ванная.

Открыв дверь, мужчина входит в ванную комнату, выложенную кафелем; женщина покорно следует за ним.

Войдя, она замирает. И неудивительно. В ванной часть кафеля на полу снята, и круто вниз уходит грубо сколоченная деревянная лестница.

Женщина принужденно улыбается, надеясь на ответную улыбку ободрения. Но мужчина не улыбается. В самом деле, настоящая шутка производит большее впечатление, если при этом сохраняют серьезность.

— Зажгите свет и прикройте, пожалуйста, дверь.

Когда она прикрыла за собой дверь, то почувствовала, будто ей заложило уши. Нет, уши ей не заложило, просто сразу наступила гробовая тишина. Кромка двери обита толстым войлоком.

— Там, внизу, детская.

Женщину удержал, возможно, тон, каким это было

сказано. Тон, каким мужчина произнес: «Детская»... Неуловимо загадочный, теплый и в то же время искренний и торжественный... Видимо, пока тревожиться нечего. Не исключено, что каждый дом имеет свою вот такую детскую. И она просто не в курсе дела — возможно, именно такой и должна быть настоящая детская.

Мужчина спускается до середины лестницы и спокойно, без всяких колебаний, протягивает женщины руку.

— Осторожно голову.

В конце лестницы — еще одна дверь. Вся обитая войлоком, мохнатая, как шкура животного, толстая дверь. Массивный засов. Мужчина отодвигает его и открывает дверь.

И сразу же бросаются в глаза мрачные зеленые волны... Колышущиеся темно-зеленые полосы света. Потом слышится шуршащий звук, точно по песку морского побережья тащат телеграфный столб.

— Джунгли каменноугольного периода, — слышит она шепот мужчины. — Может быть, этот звук издает ползущий динозавр?

— Какие огромные джунгли, а?

— Это только кажется, эффект достигнут с помощью полуупрозрачных экранов и светотени. Поэтому к ним неприменимо понятие «огромный» в прямом смысле слова.

— Если присмотреться, видны даже кедры.

— А вон там есть и болото. Смотрите, на его поверхности поблескивает вода.

— И какая духота.

— Большая часть моих заработков ушла на эту комнату... Давайте пройдем сюда.

Неожиданно раздается вой какого-то зверя.

— Что это?

— Аргозавр. Один из видов хищных динозавров.

— Как же удалось?..

— Магнитофонная лента. Звукозапись. Конечно, по правде говоря, никому не известно, каким голосом выл динозавр. Сейчас среди сохранившихся пресмыкающихся есть ящерица-крикунья, но ее крик не имеет ничего общего с ревом дикого зверя. Он похож скорее на лягушачье кваканье. Но педагогический эффект важнее правды. В кино и телевизоре голоса чудовищ соответствуют

их размерам. То, что вы сейчас слышали, записано с телевизора... О-о, по этой дороге дальше не пройти. Она проецируется на стену... Идите сюда.

— Где же дети?

— Сейчас они выскочат откуда-нибудь. Привыкли нападать неожиданно.

— Ага...

Это произошло в тот момент, когда женщина кивнула. Ветви огромного кедра слева от нее, за которым ничего не было видно, неожиданно раздвинулись, показалось ярко-голубое небо и оттуда — просто непонятно, каким чудом они там удерживались, — выглянули двое детей.

Один, видимо, старший, целился в нее из лука. Другой, стоя рядом с ним на одном колене и жуя резинку, держал наготове стрелы для брата. Лица ужасно бледные... Или, лучше сказать, почти бесцветные, полупрозрачные... Головы кажутся какими-то мятными — видимо, из-за неправильного ухода волосы у них свалялись, как вата.

Мужчина в растерянности кричит, но уже поздно — первая стрела вылетела из лука. Она задела шею женщины, инстинктивно отпрянувшей назад, и издала резкий свистящий звук — точно рассекли воздух хлыстом. Разрушительная сила, беспощадность чувствовались в звуке, который издала стрела, ударившись о железобетонную стену, и это совсем не вязалось с крохотным луком в руках мальчика.

Женщина, бежавшая сквозь полосы зеленого света, слышала крик мужчины:

— Нельзя, что вы делаете?

Тонкий скрипучий голос ответил ей:

— Дракон-оборотень.

— Да нет же, это мама. Она хочет научить вас счету.

— Неправда, дракон-оборотень.

Женщина захлопывает за собой межнатую дверь, взбегает по лестнице, слыша, как рвется ее платье, выбирается из ванной и выскакивает из дома. Она замедляет бег, лишь оказавшись на улице. Теперь уж бесцветные мальчики не настигнут ее, да и гнало ее не чувство опасности или страха, совсем иное чувство. По дороге на станцию ей попались три телефонные будки, но у нее и в мыслях не было останавливаться.

Электричка, в которой едет женщина, мчится в центр — над ним навис толстый слой смога. В ваго-

не много свободных мест, но она стоит, держась за поручень, и пристально смотрит в окно на пейзаж, несущийся мимо, как бесконечная лента газеты в ротационной машине. На фоне пейзажа в окне отражается ее лицо. Испуганное лицо с плотно сжатыми губами. Вдруг лицо в ужасе отшатывается. Это происходит в тот момент, когда мимо пробегают строения начальной школы. Было воскресенье, а может быть, и праздник, и поэтому детей там было очень мало — они возились в углу школьного двора. Женщина устремляет взгляд к серому небу. Сматривает на потерявшее высоту скучное, невыразительное небо. И сердце женщины бьется как обычно. Она еще крепче сжимает губы. Это единственное, что ей остается. Не нужно открывать рта, и тогда, может быть, и завтра ей удастся встретить утро, похожее на сегодняшнее. Даже если небо такое же ненастоящее, нарисованное, как в той детской.

Рей Брэдбери

ЧЕЛОВЕК В ВОЗДУХЕ

В год 400-й от рождества Христова сидел на троне за Великой Китайской стеной император Юань. Его страна зеленела после дождей и мирно готовилась принести урожай, а люди в этой стране хоть и не были самыми счастливыми, но не были и самыми несчастными.

Рано утром, в первый день первой недели второго месяца после Нового года, император Юань пил чай в беседке и веером нагонял на себя теплый ветерок, когда к нему по красным и синим плиткам, выстилавшим дорожку, прибежал слуга, крича:

— Государь, о государь, чудо!

— Да, — ответил император, — воздух сегодня поистине восхитителен.

— Нет, нет, чудо! — повторил слуга, кланяясь.

— И чай приятен моим устам, и это поистине чудо.

— Нет, не то, государь!

— Ты хочешь сказать, взошло солнце и настает новый день. И море лазурно. Это прекраснейшее из всех чудес.

— Государь, какой-то человек летает!

— Как! — Император перестал обмахиваться.

— Я видел человека в воздухе, и у него крылья, и он летает. Я услышал голос, зовущий с неба, и увидел дракона, подымавшегося ввысь, и в пасти у него был человек. Дракон из бумаги и бамбука, дракон цвета солнца и травы!

— Утро раннее, — произнес император, — и ты только что проснулся.

— Утро раннее, но что я видел — видел. Иди, и ты увидишь тоже.

— Садись тут со мной, — сказал император. — Выпей чаю. Если это правда, то, должно быть, очень странно увидеть, как человек летает. Нужно время, чтобы понять это, как нужно время, чтобы подготовиться к тому, что мы сейчас увидим.

Они пили чай.

— Государь, — сказал вдруг слуга, — только бы он не улетел!

Император задумчиво встал.

— Теперь можешь показать мне, что ты видел.

Они вышли в сад, миновали травянистую лужайку и мостики, миновали рощицу и вышли на невысокий холм.

— Вон там! — указал слуга.

Император взглянул на небо.

А в небе был человек, и он смеялся на такой высоте, что его смех был едва слышен; и этот человек был одет в разноцветную бумагу и тростниковый каркас, образующий крылья, и великолепный желтый хвост, и он парил высоко над землей, как величайшая птица из всех птиц, как новый дракон из древнего драконова царства.

И человек закричал с высоты, в прохладном утреннем воздухе:

— Я летаю, летаю!

Слуга махнул ему рукой:

— Мы тебя видим!

Император Юань не шевельнулся. Он глядел на Великую Китайскую стену, только сейчас начавшую выходить из тумана среди зеленых холмов; на этого чудесного каменного змея, величаво извивающегося среди полей. На прекрасную стену, с незапамятных времен охраняющую его страну от вражеских вторжений, несчетные годы защищающую мир. Он видел город, прикорнувший у реки, и дороги, и холмы, — они уже начали пробуждаться.

— Скажи, — обратился он к слуге, — видел ли этого летающего человека еще кто-нибудь?

— Нет, государь, — ответил слуга; он улыбался не-бу и махал ему рукой.

Еще несколько мгновений император созерцал небо, потом сказал:

— Крикни ему, чтобы он спустился ко мне.

Слуга сложил руки у рта и закричал:

— Эй, спускайся, спускайся! Император хочет видеть тебя!

Пока летающий человек спускался в утреннем ветре, император зорко оглядывал окрестности. Увидел крестьянина, прекратившего работу и глядевшего в небо, и запомнил, где крестьянин стоит.

Зашуршила бумага, захрустел тростник, и летающий человек опустился на землю. Он гордо приблизился к императору и поклонился, хотя с его нарядом ему было неудобно кланяться.

— Что ты сделал? — спросил его император.

— Летал в небесах, государь, — ответил человек.

— Что ты сделал? — повторил император.

— Но я только что сказал тебе! — воскликнул летавший.

— Ты не сказал вообще ничего. — Император протянул свою тонкую руку, прикоснулся к разноцветной бумаге, к птичьему корпусу машины. От них пахло холодным ветром.

— Разве она не прекрасна, государь?

— Да, слишком даже прекрасна.

— Она единственная в мире! — засмеялся человек. — И я сам ее придумал.

— Единственная в мире?

— Клянусь!

— Кто еще знает о ней?

— Никто. Даже моя жена. Она решила бы, что солнце ударило мне в голову. Думала, что я делаю бумажного дракона. Я встал ночью и ушел к далеким скалам. А когда взошло солнце и повеял утренний ветерок, я набрался храбрости, государь, и спрыгнул со скалы. И полетел! Но моя жена об этом не знает.

— Ее счастье, — произнес император. — Идем.

Они вернулись к дворцу. Солнце сияло уже высоко в небе, и трава пахла свежестью. Император, слуга и летающий человек остановились в обширном саду.

Император хлопнул в ладони.

— Стража!

Прибежала стража.

— Схватить этого человека!

Стража схватила его.

— Позвать палача, — приказал император.

— Что это значит? — в отчаянии вскричал летавший. — Что я сделал? — Пышное бумажное одеяние зашелестело от его рыданий.

— Вот человек, который построил некую машину, — произнес император, — а теперь спрашивает у нас, что он сделал. Он сам не знает что. Ему важно только делать, а не знать, почему и зачем он делает.

Прибежал палач с острым, сверкающим мечом. Остановился, изготовил мускулистые, обнаженные руки, лицо закрыл холодной белой маской.

— Еще мгновение, — сказал император. Подошел к стоявшему поблизости столику, где была машина, им самим построенная. Сиял с шеи золотой ключик, вставил его в крошечный тонкий механизм и завел. Механизм заработал.

Это был сад из золота и драгоценных камней. Когда механизм работал, то на ветвях деревьев пели птицы, в крохотных рощицах бродили звери, а маленькие человечки перебегали с солнца в тень, обмахивались крошечными веерами, слушали пение изумрудных птичек и останавливались у миниатюрных журчащих фонтанов.

— Разве это не прекрасно? — спросил император. — Если ты спросишь меня, что я сделал, я отвечу тебе. Я показал, что птицы поют, что деревья шумят, что люди гуляют по зеленой стране, наслаждаясь тенью, и зеленью, и пением птиц. Это сделал я.

— Но, государь... — Летавший упал на колени, заливаясь слезами. — Я тоже сделал нечто подобное! Я нашел красоту. Взлетел в утреннем ветре. Смотрел вниз, на спящие дома и сады. Ощущал запах моря и со своей высоты даже видел его далеко за горами. И парил как птица. Ах, нельзя рассказать, как прекрасно там, наверху, в небе, — ветер веет вокруг и несет меня то туда, то сюда, как перышко, и утреннее небо пахнет... А какое чувство свободы! Это прекрасно, государь, это так прекрасно!

— Да, — печально ответил император. — Я знаю, что это так. Ибо я и сам чувствовал, как мое сердце парит вместе с тобою в небе, и размышлял: «Каково это? Какое ощущение? Какими видишь с этой высоты далекие озера? А мои дворцы? А слуг? А город вдали, еще не проснувшийся?»

— Пощади меня!

— Но бывает и так, — продолжал император еще печальнее, — что человеку приходится жертвовать чем-нибудь прекрасным, дабы сохранить то прекрасное, которое у него уже есть. Я не боюсь тебя, тебя самого, но боюсь другого человека.

— Кого же?

— Какого-нибудь другого, который, увидев тебя, построит такую же машину из цветной бумаги и бамбука. Но у этого человека может оказаться злое лицо и злое сердце, и он не захочет смотреть на красоту. Такого человека я и боюсь.

— Почему? Почему?

— Кто может сказать, что когда-нибудь такой человек не взлетит к небу в такой машине из бамбука и бумаги и не сбросит огромные каменные глыбы на Великую стену? — спросил император, и никто не смел шевельнуться, ни вымолвить слово.

— Отрубить ему голову! — приказал император.

Палач взмахнул блестящим ножом.

— Сожгите дракона и его создателя и пепел обоих скрохоните вместе, — сказал император.

Слуги кипулись исполнять приказание.

Император обратился к своему слуге, который первым увидел летающего человека:

— Обо всем этом молчи. Все это было сном, очень грустным и прекрасным сном. Крестьянину, которого мы видели в поле, скажи, что ему будет заплачено, если он сочтет это видением. Но если вы скажете хоть слово, вы оба умрете.

— Ты милосерден, господин.

— Нет, я не милосерден, — возразил император. Он смотрел, как за садовой оградой слуги сжигают прекрасную, пахнущую утренним ветром машину из бумаги и тростника. Видел темный дым, поднимающийся к небу. — Нет, я в отчаянии и очень испуган. — Он смотрел, как слуги роют яму, чтобы скрохонить пепел. — Что такое жизнь одного человека в сравнении с жизнью миллионов! Пусть эта мысль будет мне утешением.

Он снял ключик с цепочки на шее и снова завел механизм чудесного сада. Стоял и глядел вдали, на Великую стену, на миролюбивый город, на зеленые поля, на реки

и дороги. Вздохнул. Крохотный механизм зажужжал, и сад ожили. Под деревьями гуляли человечки, на залипых солнцем полянках мелькали зверьки в блестящих шубках, а в ветвях деревьев порхали голубые и золотистые птички и кружились в маленьком небе.

— Ах! — вздохнул император, закрывая глаза, — Ах эти птички, птички..

Станислав Лем

АЛЬФРЕД ЦЕЛЛЕРМАН „ГРУППЕНФЮРЕР ЛУИ XVI“

«Группенфюрер Луи XVI» — литературный дебют Альфреда Целлермана, известного историка литературы. Ему около шестидесяти лет, он доктор антропологии, в период гитлеризма находился в Германии, в деревне у родителей; будучи отстранен в то время от работы в университете, явился пассивным наблюдателем жизни «третьей империи». Мы берем на себя смелость назвать рецензируемый роман произведением выдающимся, добавив при этом, что, пожалуй, только такой немец, с таким капиталом жизненного опыта — и такими теоретическими познаниями в области литературы! — мог его написать.

Несмотря на название, перед нами отнюдь не чисто фантастическое произведение. Место действия романа — Аргентина первого десятилетия по окончании мировой войны.

Пятидесятилетний группенфюрер Зигфрид Таудлиц бежит из разгромленного и оккупированного рейха, добирается до Южной Америки, прихватив с собой окованый стальными полосами сундук, заполненный стодолларовыми банкнотами — малую толику сокровищ, накопленных печальной памяти академией СС (*«Ahnenegge»*). Сколотив вокруг себя группу других беглецов из Германии, различного рода бродяг и авантюристов, ангажировав для неизвестных пока что целей нескольких девиц сомнительного поведения (некоторых Таудлиц лично выкупает из публичных домов Рио-де-Жанейро), бывший генерал СС организует экспедицию в глубь

аргентинской территории, блестяще подтверждив тем самым свои способности штабного офицера.

В районе, удаленном на сотни миль от последних цивилизованных мест, экспедиция находит насчитывающие по меньшей мере двенадцать веков руины строений, никогда возведенных, вероятно, ацтекскими племенами, и поселяется там. Прельщенные возможностью заработать, в это место, с ходу названное Таудлицем (по неизвестным пока причинам) Паризией, съезжаются индейцы иmetisы со всей округи. Бывший группенфюрер разбивает их на хорошо организованные рабочие команды, за которыми присматривают его вооруженные люди. Проходит несколько лет, и понемногу начинают вырисовываться контуры режима, о котором возмечтал Таудлиц. Он объединяет в своей особе стремление к бескомпромиссному абсолютизму с полусумасшедшей идеей воспроизведения — в сердце аргентинских джунглей! — французского государства времен блистательной монархии. Себя же отводит роль новоявленного Людовика XVI.

Хотелось бы сразу же отметить, что мы не просто пересказываем содержание романа, мы сознательно сталяемся воссоздать как бы хронологию событий, поскольку таким образом исходный замысел, идея произведения предстают особенно ярко. Впрочем, мы постараемся в данной работе изложить также и кадрировку событий, которую осуществил Альфред Целлерман в своей эпопее.

Итак, возвращаемся к сюжету: возникает королевский двор с придворными, рыцарями, духовенством, челядью, дворцовой часовней, бальными залами, дворцами, окруженными изубренными крепостными стенами, в которые люди Таудлица преобразили почтенные ацтекские руины, перестроив их бессмысленным с точки зрения архитектуры образом. Опираясь на трех беззаветно преданных людей: Ганса Мерера, Йоганна Виланда и Эриха Палацки (они вскоре превращаются соответственно в кардинала Ришелье, герцога де Рогана и графа де Монбарона), — новый Людовик ухитряется не только удерживаться на своем поддельном троне, но и сформировать кипящую вокруг него жизнь в соответствии с собственными замыслами. При этом, что весьма существенно для романа, исторические познания экс-группенфюрера не просто фрагментарны и полны пробелов; он, собственно, вообще не обладает такими познаниями; его голова забита не столько обрывками истории Франции семнадца-

того века, сколько хламом, оставшимся с детского возраста, когда он зачитывался романами Дюма, начиная с «Трех мушкетеров», а потом, юношей с «монархическими» (по его собственному разумению, а в действительности лишь садистскими) наклонностями, поглощал книги Карла Мая. А так как впоследствии на воспоминания о прочитанном наложились без разбора поглощаемые бульварные романы, то он фактически воплощает в жизнь не историю Франции, а лишь ту грубо примитивизированную, откровенно кретинскую галиматью, которая заменила ему эту историю и стала его символом веры.

Собственно, насколько об этом можно судить по многочисленным деталям и упоминаниям, разбросанным по всему произведению, гитлеризм был для Таудлица не более чем выбором по необходимости: в тогдашней ситуации он максимально ему подходил, наиболее соответствовал его «монархическим» мечтам. Гитлеризм в его глазах приближался к средневековью, правда, не совсем так, как ему хотелось бы. Во всяком случае, нацизм был ему милее любой формы общественной демократии. Ну а тайно лелея и пестую в «третьем рейхе» свой собственный «сон о короне», Таудлиц никогда магнетизму Гитлера не поддавался, в его доктрину так и не уверовал, а посему и не собирался оплакивать падение «Великой Германии». Просто, будучи достаточно прозорливым, чтобы вовремя предвидеть поражение «тысячелетней империи», Таудлиц, никогда не отождествлявший себя с элитой «третьего рейха» (хотя он и принадлежал к ней), подготовился к разгрому как полагается. Широко афишируемый им культ Гитлера не был даже результатом самообмана; Таудлиц десять лет разыгрывал циничную комедию, потому что имел свой собственный «миф», придававший ему иммунитет против мифа гитлеровского, и именно это спасло его; ведь не секрет, что те приверженцы «Майн кампф», которые принимали всерьез доктрину, не раз, как это, например, случилось с Альбертом Шпеером, оказывались отстраненными от Гитлера. Таудлиц же, будучи человеком, который каждый день демонстративно исповедовал предписанные на этот именно день взгляды, никакой ересью заразиться не мог.

Таудлиц до конца и без оговорок верит только в силу денег и насилия; знает, что с помощью материальных благ людей можно склонить к тому, что запланирует достаточно щедрый хозяин, лишь бы он сам был твер-

дым и последовательным в проведении единожды установленных порядков. Таудлиц поставил свой фарс так, что любому непредубежденному зрителю с первого взгляда видна вся тупость, пошлость и безвкусица разыгрываемых сцен, но его абсолютно не интересует, в действительности ли его «придворные», эта пестрая толпа, состоящая из немцев, индейцев,metisов, португальцев, принимают представление всерьез. Ему безразлично, верят ли и в какой степени эти невольные актеры в разумность двора Людовиков или же только играют свои роли в комедии, рассчитывая на мзду, а может быть, и на то, что после смерти владыки удастся растащить «королевскую шкатулку». Такого рода проблемы вроде бы для Таудлица не существуют.

Жизнь придворного собрища столь явственно отдает такой бессталанной фальшью, что у наиболее прозорливых людей, прибывших в Парижю позже, а также у всех тех, кто собственными глазами видел становление псевдомонарха и псевдознати, не может в этом отношении оставаться никаких иллюзий. Поэтому, особенно в первое время, королевство напоминает как бы существо, шизофренически разодранное падвое: то, что болтают на дворцовых аудиенциях и балах, особенно вблизи Таудлица, никак не совпадает с тем, что говорят в отсутствие монарха и трех его наушников, сурово (даже пытками) проводящих в жизнь навязанную игру. А игра эта блестает великолепием отнюдь не фальшивым, потому что потоки караванов, оплачиваемых твердой валютой, позволяют за двадцать месяцев возвести дворцовые стены, украсить их фресками и gobеленами, покрыть паркет изумительными коврами, уставить покой зеркалами, золочеными часами, комодами, проделать тайные ходы и заложить тайники в стенах, оборудовать альковы, перголы, террасы, окружить замок огромным, великолепным парком, а затем — частоколом и рвом. Каждый немец здесь — надзиратель над индейцами-рабами (это их трудом и потом создано искусственное королевство), он одет как рыцарь семнадцатого века, однако при этом носит за золоченым поясом армейский пистолет системы «парабеллум» — окончательный аргумент в спорах между феодализованным долларовым капиталом и рабским трудом.

При этом монарх и его приближенные систематически ликвидируют все признаки, демаскирующие фиктив-

ность двора и королевства: прежде всего возникает специальный язык, на котором разрешено формулировать сведения, поступающие извне. Причем эти формулировки должны скрывать — иначе говоря, не называть — несуверенность монарха и трона. Например, Аргентину имеют не иначе, как «Испанией», и рассматривают как смежное государство. Понемногу все настолько вживаются в свои роли, привыкают так свободно чувствовать себя в роскошных одеяниях, так ловко пользоваться мечом и языком, что фальшивь как бы уходит вглубь, в основы и корни этого здания, этой живой картины. Она по-прежнему остается бредом, но теперь уже бредом, насыщенным кровью подлинных желаний, ненависти, споров, соперничества, ибо на фальшивом дворе разворачиваются подлинные интриги и сплетни; яд, донос, кинжал начинают свою скрытую, совершенно реальную деятельность. Однако монархического и феодального элемента во всем этом по-прежнему содержится ровно столько, сколько Таудлиц, этот новоявленный Людовик XVI, сумел втиснуть в свой сон об абсолютной власти, реализуемый ордой бывших эсэсовцев.

Таудлиц предполагает, что где-то в Германии живет племянник, последний отпрыск его рода — Бертран Гюльзенхирн, которому в момент поражения Германии было тринадцать лет. На поиски юноши (теперь ему двадцать один) Людовик XVI отправляет герцога де Рогана, то бишь Йоганна Виланда, единственного «интеллектуала» в свите: ведь Вилацд в свое время был эсэсовским врачом и в концлагере Маутхаузен проводил «научные работы». Сцена, в которой король дает врачу секретное поручение отыскать юношу и доставить его ко двору в качестве инфANTA, относится к одной из лучших в романе. Почти сумасшедший привкус ее состоит в том, что король сам себе не признается в обмане: правда, он не знает французского, но, пользуясь немецким, утверждает (как и все следом за ним), когда это надо, что говорит именно по-французски, на языке Франции семнадцатого века.

Это не самогипноз: теперь сумасшествием было бы признаться в том, что ты немец, пусть даже только по языку; Германии вообще не существует; единственным соседом Франции является Испания (то есть Аргентина)! Тот, кто отважится произнести что-либо по-немецки, дав при этом понять, что говорит именно на этом языке,

рискует жизнью: из беседы архиепискона Паризии и Дюка де Солиньяка можно понять (т. 1, стр. 311), что граф Шартрез, обезглавленный по обвинению в государственной измене, в сущности, по пьянике назвал дворец не просто борделем, но борделем немецким.

Обилие французских фамилий в романе, живо напоминающих названия коньяков и вин — взять, к примеру, маркиза Шатонеф дю Папа, церемониймейстера! — несомненно, является следствием того, что, хотя автор ни где об этом не говорит, в памяти Таудлица засело по вполне понятным причинам больше названий ликеров и водок, нежели фамилий французских дворян.

Обращаясь к своему посланцу, Таудлиц разговаривает с ним так, как, по его представлениям, обращался бы к доверенному лицу Людовик, отправляя его с подобной миссией. Он не приказывает скинуть фиктивные одежды герцога, но «рекомендует» нереодеться англичанином либо голландцем, что означает просто — постараться принять нормальный современный вид. Слово «современный», однако, не может быть произнесено — оно принадлежит к разряду тех, которые раскрывали бы фиктивность королевства. Даже доллары здесь всегда называют талерами.

Прихватив солидное количество наличных, Виланд едет в Рио, где действует торговый агент «двора»; достав добрые фальшивые документы, посланец Таудлица плывет в Европу. О перипетиях поисков племянника роман умалчивает. Мы узнаем только, что одиннадцатимесячные труды увенчиваются успехом, и роман в оригинале начинается именно со второй беседы между Виландом и молодым Гюльзенхирном, который работает кельнером в ресторане крупного гамбургского отеля. Берtrand (это имя будет ему разрешено носить: по мнению Таудлица, оно звучит «на уровне»), вначале слышит только о дяде-крезе, который готов усыновить его, и этого достаточно, чтобы он бросил работу и поехал с Виландом. Путешествие этой оригинальной пары, как интродукция романа, отлично выполняет свою задачу, поскольку речь идет о таком перемещении в пространстве, которое одновременно является как бы и отступлением во времени: путешественники пересаживаются с трансконтинентального реактивного самолета в поезд, потом в автомобиль, из автомобиля в конный экипаж и, наконец, последние 230 километров преодолевают верхом.

По мере того как ветшает одежда Бертрана, «исчезает» его запасное белье, он облачается в архаичные одежды, предусмотрительно припасенные и при случае подсовываемые ему Виландом, причем сам Виланд одновременно преображается в герцога де Рогана. По мере того как Виланд, явившийся в Европу под именем герра Ганса Карла Мюллера, трансформируется в вооруженного псевдорыцаря герцога де Рогана, аналогичное превращение, по крайней мере внешнее, происходит и с Берtrandом.

Бертран опшеломлен и ошарашен. Он ехал к дяде, о котором знает, что это хозяин огромных владений; он бросил профессию кельнера, чтобы унаследовать миллионы, а вместо этого ему приходится разыгрывать не то комедию, не то фарс, суть и цель которых он не в состоянии уразуметь. От поучений Виланда-Мюллера-де Рогана сумбур, царящий у него в голове, только возрастает. Ему кажется, что спутник просто смеется, приоткрывая перед ним небольшой фрагмент непонятной аферы, полный объем которой Бертран пока ни охватить, ни понять не может; придет час, когда юноша будет близок к сумасшествию. При этом поучения ничего не говорят «в лоб», не называют вещи по имени; эта инстинктивная мудрость является общим свойством двора.

«Надо, — говорит де Роган, — придерживаться формы, соблюдения которой требует дядя («ваш дядюшка», потом «его превосходительство», наконец, «его величество!»), имя его Людовик, а не Зигфрид — последнее запрещено произносить. Он отверг его — быть посему», — заявляет Мюллер, преображаясь в герцога. «Имение» превращается в «латифундии», а «латинфундия» в «государство» — так понемногу, в течение долгих дней верховой езды сквозь джунгли, а потом, в последние часы, проведенные в золоченом паланкине, который несут восемь нагих мускулистых метисов, видя из-за занавески колонну конных рыцарей в шишаках, Бертран убеждается в правильности слов загадочного спутника. Потом Бертран начинает подозревать в сумасшествии самого Мюллера и уповаet уже только на встречу с дядей, которого, кстати, почти не помнит — последний раз он видел его девятилетним мальчионкой. Но встреча оборачивается изумительным, эффектным торжеством, представляющим собой конгломерат церемоний, обрядов и ритуалов, еще в детстве пленивших Таудлиса.

Пост хор, играют серебряные фанфары, появляется король в короне, предваряемый лакеями, которые протяжно возглашают: «Король! Король!» — и распахивают перед ним резные двустворчатые двери. Таудлиса окружают двенадцать «пэров королевства» (которых он по описке позаимствовал не там, где следовало), и, наконец, наступает возвышенная минута — Луи XVI крестом осеняет племянника, нарекает его инфантом и дает ему облобызать кольцо, руку и скипетр. Когда же они усаживаются завтракать, обслуживающие выряженными в ливреи индейцами, Бертран, изумленно глядя на эту роскошь, на далекую полосу дивно зеленых джунглей, окружающих владения «короля», просто не решается спросить дядю о чем-либо и, выслушивая его мягкие поучения, начинает именовать дядю «его превосходительством».

«Так надо... того требуют высшие соображения... в этом заинтересованы и я и ты...» — милостиво обращается к нему группенфюрер СС в короне.

Разумеется, бывшие жандармы, концлагерные надзиратели и врачи, водители и башенные стрелки бронетанковой дивизии СС «Великая Германия», выступающие в качестве придворных, герцогов и духовенства двора Людовика XVI, — это такая кошмарная, такая сумасшедшая мешанина, в такой степени не соответствующая написанным ролям, в какой это только вообще возможно.

Впрочем, если гитлеровским живодерам и тошно было напяливать на себя кардинальский пурпур, епископские одеяния и золоченые доспехи, то уж с меньшим недовольствием — ибо это было забавно — они переименовывали проституток, взятых из матросских борделей, в своих графских супруг, когда речь шла о светских вельможах, либо в виконтесс и герцогинек-наложниц, когда дело касалось духовенства короля Людовика. В конечном итоге выбранные роли пришли по вкусу; купаясь в фальшивом величии, эти твари любовались, кичились собой и одновременно стремились приблизиться к собственному идеалу блестательной особы. Те страницы романа, где говорится об этих бывших палацах в кардинальских митрах и кружевных жабо, представляют собою изумительную по силе демонстрацию психологического мастерства автора. Эта голь ухитряется выжать из своего положения утехи, чуждые истинному аристократизму, и паслаждения, вдвойне усиленные оттенком узаконенной преступности. Известно, что преступник пожинает плоды

зла с наивысшим удовольствием только тогда, когда творит зло с сознанием своей правоты; именно поэтому, творя мерзости, все они уже по собственной воле стремятся к тому, чтобы хотя бы на словах не выйти из епископской или герцогской роли. Самые тупые из них, например Мерер, завидуют герцогу де Рогану, который ловко ухитряется объявить измывательство над индейскими детьми «действом», со всех точек зрения «придворным», в высшей степени приличествующим дворянину (кстати, в полном соответствии с основной идеей индейцев здесь именуют неграми, потому что раб-негр «лучше соответствует стилю»).

Нам понятно, почему Виланд (герцог де Роган) домогается кардинальской митры; только кардинальского сана этому выродку и недостает, чтобы иметь возможность заниматься своими вырожденческими «шалостями» — в качестве одного из наместников самого господа бога на земле. Правда, Таудлиц отказывает ему в посвящении, словно понимает, какая бездна мерзости стоит за мечтой Виланда. Таудлиц хотел бы забыть о своем давнем эсэсовском прошлом — ведь у него был «иной сон, иной миф», он жаждет истинного королевского пурпуря. Таудлиц ничуть не лучше Виланда, просто его занимает другое, ибо он стремится к — невозможной, но абсолютной — трансформации. Отсюда «пуританизм короля», который так не нравится его ближайшему окружению.

Что касается придворных, то вначале мы видим, как из различных побуждений они старались играть свою роль, а потом, как они вдесятером принялись плести сети заговора против монарха-группенфюрера, стремясь лишить его сундука, набитого долларами, а может быть, и убить. Убийство мотивировано: иначе им пришлось бы расстаться с сенаторскими креслами, титулами, орденами, положением. А это уж никак не входило в их планы. Безвыходный лабиринт. Ловушка. Порой они уже и сами верят в реальность своего немыслимого положения, поскольку немыслимость эта в высшей степени пришлась им по душе. Мешала же им попросту беспощадная жестокость Таудлица как монарха: не лезь из него ежеминутно группенфюрер СС, не давай он им — молча! — чувствовать, что все они зависят от него, от акта воли его и минутной милости, то, вероятно, дольше продержалась бы Франция Андегавенов на территории Аргентины. Итак, актеры уже ставили в вину режиссеру недо-

статочную аутентичность спектакля; эта банда хотела быть более монархичной, чем допускал сам монарх.

Естественно, все ошибались, потому что не могли сравнить себя в этих ролях с истинной пышностью подлинного блистательного двора. Разумеется, этих тварей немного утомляют спектакли, которые они вынуждены разыгрывать, а уж труднее всех достается тем, кто призван изображать высшее духовенство римско-католической церкви.

Католиков в колонии нет вообще, а о какой-либо религиозности бывших эсэсовцев нечего и говорить; поэтому повелось, что так называемые молебны в дворцовой часовне чрезвычайно коротки и сводятся к пению нескольких псалмов из библии; кое-кто предлагал монарху вообще ликвидировать службу божью, но Таудлиц оказался неумолим; впрочем, оба кардинала, архиепископ Паризии и остальные епископы именно тем и «оправдывают» свои высокие титулы, что несколько минут в неделю посвящают богослужению — чудовищной пародии на мессу. Это дает им основание, прежде всего в собственных глазах, занимать высокие духовные посты; они кое-как ухитряются проторчать за алтарями считанные минуты, чтобы потом часами компенсировать это в попойках и под балдахинами пышных супружеских лож. Сюда же относится и идея с кинопроекционным аппаратом, привезенным (без ведома короля!) из Монтевидео, с помощью которого в дворцовом подземелье показывают порнографические фильмы, причем функции кинооператора выполняет архиепископ Паризии (он же бывший шофер гестапо Ганс Шефферт), а в подручных у него ходит кардинал де Сутерн (экс-интендант); идея эта одновременно дьявольски комична и достоверна, как все остальные элементы трагифарса, который и существовать-то может только потому, что ничто не в состоянии разрушить его изнутри.

У этих людей уже попросту все со всем согласуется, все ко всему подходит, да это и неудивительно: достаточно вспомнить, например, о снах некоторых из них — разве комендант третьего блока из Маутхаузена не владел «самой большой коллекцией канареек во всей Баварии», о которой он теперь с тоской вспоминает, и разве не пробовал он кормить своих птичек так, как сонетовал один капо, утверждавший, что канарейки лучше всего поют, когда их кормят человеческим мясом? Итак, перед

иами преступность, доведенная до такой степени самоизвращения, что, собственно, следовало бы говорить о бывших невинных убийцах, если бы только критерий преступности человека основывался исключительно на самодиагнозе, на самостоятельном распознании вины. Быть может, кардинал де Сутерн в некотором смысле знает, что настоящий кардинал ведет себя не так, как он; настоящий — конечно же, верит в бога и скорее всего не глумится над индейскими детьми, прислуживающими в стихарях во время мессы, но, поскольку в радиусе четырехсот миль наверняка нет ни одного другого кардинала, такого рода мысли отнюдь не досаждают де Сутерну.

Эта система, поразительно ущербная, функционирует исключительно благодаря своей замкнутости, поскольку любое проникновение реального мира было бы для нее смертельной угрозой. Именно такую угрозу представляет собою юный Бертран, который, однако, не находит в себе достаточно сил, чтобы вслух назвать вещи своими именами. Бертран боится принять то — самое простое — объяснение, которое все ставит с головы на ноги. Ординарная, тянувшаяся годами, систематическая, насмехающаяся над здравым смыслом ложь? Нет, не может быть; уж скорее всеобщая паранойя либо какая-то непонятная таинственная игра с рациональной основой, имеющая реально обоснованные мотивы; все что угодно, только бы не чистая ложь, самоувличенная, самолюбующаяся, самораздувшаяся.

И тогда Бертран сразу капитулирует; позволяет вырядить себя в одежды наследника трона, выучить дворцовому этикету, то бишь томуrudиментарному набору поклонов, жестов, слов, который кажется ему поразительно знакомым, что неудивительно: ведь и он читал те же бульварные романы и псевдоисторические повести, которые были источником вдохновения короля и его церемониймейстера. Но все же Бертран сопротивляется, хотя и не отдает себе отчета в том, в какой степени его инертность, безразличие, раздражающие не только придворных, но и короля, являются выражением инстинктивного сопротивления ситуации, толкающей его к тихому помешательству. Бертран не хочет захлебнуться во лжи, хотя и сам не понимает, из каких источников исходит его сопротивление, а потому только зарабатывает насмешки, иронические замечания, величественно-креатинское обращение гостей, особенно во время второго

нирщества, когда король, разъяренный подтекстом внешне вялых речей Бертрана, речей, скрытый смысл которых не сразу понимает сам юноша, начинает в припадке истинного гнева кидать в него кусками жаркого, причем половина пирующих одобряет разъяренного монарха иоошрительным гоготом, бросая в бедолагу жирными костями, которые они хватают с серебряных подносов; другая же половина настороженно молчит, не зная, не пытается ли Таудлиц на свой излюбленный манер расставить на присутствующих какую-нибудь ловушку и не действует ли он в словоре с инфантом?

Труднее всего нам здесь показать то, что при всей тупости игры, при всей пошлости представления, которое, некогда начавшись «лишь бы как», обрело такую силу, что никак не желает кончаться, а не желает, потому что не может, а не может, потому что иначе невольных актеров ожидает уже только одно абсолютное ничто (они уже не могут перестать быть епископами, герцогами крови, маркизами, поскольку для них нет возврата на позиции шоферов гестапо, крематорских стражников, комендантов концлагерей, так же, как и король, даже пожелай он того, уже не мог бы вновь превратиться в группенфюрера СС Таудлица), при всей, повторяем, банальности и чудовищной пошлости этого государства и двора в нем одновременно выбирают единым чутким первом та беспрестанная хитрость, та взаимная подозрительность, которые только и позволяют разыгрывать в фальшивых декорациях истинные битвы, творить подвохи, подрывать положение фаворитов трона, строчить доносы и молча вырывать для себя милость господина; однако в действительности не сами по себе кардинальские митры, орденские ленты, кружева, жабо, латы являются целью всей этой кротовьей возни, интриг — ведь, в конце концов, какой прок этим участникам сотен битв и вершителям тысяч убийств от внешних знаков фиктивной славы? Нет, именно сами эти подкопы, маниенничества, капканы, само стремление дискредитировать противников в глазах короля, заставить их сбросить настипнутые на себя одежды, становится наивеличайшей всеобщей страстью...

Берtran — еще одна заслуга автора! — понемногу превращается в Гамлета этого спятившего двора. Он инстинктивно чувствует себя здесь последним праведником («Гамлета» он не читал никогда), поэтому считает,

что должен сойти с ума. Он не обвиняет всех в цинизме — для этого в нем слишком мало интеллектуальной отваги; Бертран, сам того не ведая, хочет лишь одного: говорить то, что постоянно жжет ему язык и просится на уста. И он уже понимает, что для нормального это не сойдет безнаказанно. А вот если он спятит — о, тогда другое дело. И Бертран начинает симулировать сумасшествие с холодным расчетом, словно шекспировский Гамлет; не как простак, наивный, немного истеричный — нет, он пытается сойти с ума, искренне веря в необходимость собственного помешательства! Только тогда он сможет высказывать слова правды, которые его душат... Но герцогиня де Клико, старая проститутка из Рио, у которой слюнки текут при виде молодого человека, затачивает его в постель и, обучая тонкостям любовной игры, которые она запомнила еще со временем негерцогского прошлого и переняла у некой бордель-маман, сурово предостерегает его, чтобы он не говорил того, что может стоить ему жизни. Она-то ведь отлично знает, что ничего похожего на снисхождение к безответственности душевнобольного здесь не найдешь; по сути дела, как мы видим, старуха желает добра Бертрану. Однако беседа под периной, естественно, не может разрушить планов уже дошедшего до предела Бертрана. Либо он сойдет с ума, либо сбежит; вскрытие подсознания бывших эсэсовцев, вероятно, показало бы, что память о реальном мире с его заочными приговорами, тюрьмами и трибуналами является той невидимой силой, которая заставляет их продолжать игру; но Бертран, у которого такого прошлого нет, этого продолжения не желает.

Меж тем уже упоминавшийся заговор переходит в фазу действия; уже не десять, а четырнадцать придворных, готовых на все, нашедших сообщника в начальнике дворцовой стражи, после полуночи врываются в королевскую опочивальню. И здесь, в кульминационный момент — мина замедленного действия! — оказывается, что настоящие-то доллары давным-давно истрачены, остались только под прославленным «вторым дном» одни фальшивки. Король отлично знал об этом. Выходит, не за что и копья ломать, но мосты сожжены: заговорщики вынуждены убить короля, связанного и бессильно глядящего со своего ложа, как убийцы перетряхивают извлеченнную из-под ложка «сокровищницу». Вначале они собирались его убить, чтобы избежать погони, не допустить расплаты,

теперь же убивают из ненависти, за то, что он соблазнил их фальшивыми сокровищами.

Если б это не было так мерзко, я сказал бы, что сцена убийства написана изумительно; по совершенству рисунка виден мастер. Чтобы отыграться на старике, доить его как можно болезненней, они, прежде чем удушить его шнурком, принимаются рычать на него языком концлагерных поваров и гестаповских шоферов, тем самым языком, который был проклят, обречен на вечное изгнание из королевства. И пока тело удушающего еще бьется в конвульсиях на полу, убийцы, постыдив, возвращаются к придворному языку лишь потому, что у них уже нет иного выхода: доллары фальшивые, не с чем и незачем убегать. Таудлиц спутал их по рукам и ногам и не выпустит никого из своего королевства. Им не остается ничего иного, как продолжать игру в соответствии с изречением: «Король умер. Да здравствует король!» — и тут же сразу над трупом они выбирают нового короля.

Следующая глава (Берtran, укрытый у своей «герцогини») значительно слабее. Лишь последняя глава, описывающая, как разъезд копной аргентинской полиции добирается до дворцовых стен, — эта гигантская немая сцена, заключительная в романе, — представляет собою отличное его завершение. Разводной мост, полицейские в измятых мундирах с кольтами на ремнях, в широкополых шляпах, загнутых с одной стороны, а напротив них стражи в полупанцирях и кольчугах, с алебардами, в изумлении глядящие одни на других, словно два времени, два мира, противоестественно сождшиеся в одном месте... по двум сторонам решетки, которая начинает медленно, тяжело, с адским скрежетом подниматься... Финал, достойный произведения! Но своего Гамлета — Берtrана — автор, увы, потерял, не использовав больших возможностей, заложенных в этой фигуре. Я не говорю, что его следовало умертвить — в этом Шекспир не может быть непререкаемым образцом, — но жаль утерянной возможности: неосознанного величия, которое спит в каждом нормальному, доброжелательном человеческом сердце. Очень жаль.

КОЛЫБЕЛЬ НА ОРБИТЕ

Прежде чем мы начнем, хотелось бы подчеркнуть одно — то, что многие, похоже, забывают. Двадцать первый век наступит не завтра — он начнется годом позже, 1 января 2001 года. Хотя календари после полуночи будут отсчитывать 2000 год, старый век продлится еще двенадцать месяцев. Каждые сто лет пам, астрономам, приходится снова и снова объяснять это, но все напрасно. Стоит в счете веков появиться двум нулям, как уже идет пир горой!

Что говорить, я оказался свидетелем великих событий в истории космонавтики, начиная с запуска первого спутника. В двадцать пять лет я был вычислителем в Капустном Яру — недостаточно значительной личностью, чтобы присутствовать в контрольном центре, когда шел отсчет последних секунд. Но я слышал старт. Только однажды за всю жизнь я слышал звук, который поразил меня сильнее. (Что это было, скажу потом.) Как только стало известно, что спутник вышел на орбиту, один из ведущих ученых вызвал свой ЗИЛ, и мы покатали в Волгоград отмечать событие. Шестьдесят миль одолели за то же время, за какое спутник совершил первый оборот вокруг Земли — неплохая скорость!

Большинство учебников истории утверждает, что именно тогда, 4 октября 1957 года, начался Космический век. Я не спорю с ними, но, по-моему, самое увлекательное было потом. Что может сравниться по драматизму с тем случаем, когда военные корабли США мчались на выручку Дмитрию Калинину и в последний

миг выловили его капсулу из Южной Атлантики! А радиорепортаж Джерри Уингейта, его красочные эпитеты, на которые ни один цензор не посмел покуситься, когда он обогнул Луну и увидел воочию ее обратную сторону! А всего пять лет спустя — телевизионная передача из кабины «Германа Оберта», когда корабль прилунился на плато в Заливе Радуг. Он и сейчас там стоит вечным памятником людям, которых схоронили рядом с ним...

Все это были великие вехи на пути в космос, но вы ошибаетесь, если думаете, что я буду говорить о них. Больше всего меня поразило совсем другое. Я даже не уверен, сумею ли хорошо рассказать, а если и сумею — как вы это подадите? Ведь нового ничего не будет, газеты тогда только об этом и писали. Но большинство из них упустило самую суть, для прессы это была просто выигрышная человечная черточка, только и всего.

Было это через тридцать лет после запуска первого спутника, вместе с другими я находился тогда на Луне. Правда, к тому времени я стал уже слишком важной персоной, чтобы заниматься наукой. Прошло больше десятка лет с тех пор, как я составлял программы для электронной машины; теперь моя задача была несколько сложнее — «программировать» людей, ведь я отвечал за проект АРЕС, готовил первую экспедицию на Марс.

Стартовать, понятно, решили с Луны, там тяготение намного слабее и для запуска нужно в пятьдесят раз меньше горючего, чем на Земле. Хотели было собирать корабли на орбите спутника, но, когда продумали все как следует, эта идея отпала. Не так-то просто устраивать в космосе заводы и мастерские; невесомость скорее мешает, чем помогает, когда вам нужно, чтобы все предметы беспрекословно слушались вас. К тому времени, в конце восьмидесятых годов, Первая Лунная База работала полным ходом. Химические заводы и всякие мелкие предприятия производили все для поселка. И мы решили использовать их, вместо того чтобы ценой огромных усилий и затрат сооружать в космосе новые.

«Альфу», «Бету» и «Гамму» — три корабля экспедиции — собирали на дне Платона. Здесь, в кольце гор, простерлась, пожалуй, самая гладкая равнина этой стороны Луны и настолько обширная, что наблюдателю, стоящему в ее центре, и не придет в голову, что он находится на дне кратера: горы скрыты далеко за горизон-

том. Герметичные купола базы стояли в шести милях от стартовой площадки и были связаны с ней канатной дорогой; эти дороги очень нравятся туристам, но, на мой взгляд, сильно уродуют лунный пейзаж.

В первые дни освоения жизнь на Луне была далеко не сладкой, мы не могли и мечтать об удобствах, которые теперь стали обычными. Центральный Купол с его парками и озерами тогда существовал только на ватмане, впрочем, мы все равно не смогли бы насладиться — проект АПЕС всецело поглощал нас. Человек готовился совершить первый прыжок в большой космос; уже в ту пору мы рассматривали Луну всего лишь как предмет Земли, камень в реке, на который можно опереться и прыгнуть, куда тебе надо. Наши мысли можно лучше всего выразить словами Циолковского — они висели у меня в кабинете на стене, чтобы каждый мог видеть:

«Земля — колыбель разума, по нельзя вечно жить в колыбели».

(Что вы сказали? Нет, нет, я никогда не встречался с Циолковским. В 1935 году, когда он умер, мне было всего четыре года!)

После многих лет секретности было очень приятно работать рука об руку с людьми всех наций над проектом, осуществлять который помогал весь мир. Из моих четырех заместителей один был американец, другой — индеец, третий — китаец, четвертый — русский. И хотя ученые разных стран всячески старались перешеголять друга друга, это было полезное соперничество, оно шло на благо нашему делу. Посетителям, не забывшим старые недобрые времена, я не раз с гордостью напоминал: «На Луне нет секретов».

Ну так вот, я описался: секрет был, притом у меня под носом, в моем собственном управлении. Возможно, я бы и заподозрил что-нибудь, если бы бесчисленные детали проекта АПЕС не заслонили от меня все прочее. Теперь-то, оглядываясь назад, я вижу, что было вдоволь всевозможных намеков и признаков, но тогда я ничего не заметил. Правда, от моего внимания не ускользнуло, что Джим Хатчинс, мой молодой заместитель, американец, становится все более рассеянным, словно его что-то заботило. Раз или два пришлось даже сделать ему выговор за небольшие упущения; он обижался и заверял, что это не повторится. Хатчинс был типичный, ярко выраженный колледж-бой, каких Соединенные Штаты поставляют в

изрядном количестве, очень добросовестный, хотя звезд с неба не хватал. Он уже три года был на Луне и едва ли не первым, как только отменили ограничения, забрал с Земли свою жену. Я так и не выяснил, каким образом он оказался замешанным в эту историю; видимо, сумел нажать тайные пружины, хотя уж его-то никак нельзя было представить себе главным действующим лицом международного заговора. Да что там международного — тут и Луна участвовала, десяток людей, вплоть до высшего начальства в Управлении Астронавтики.

Мне до сих пор кажется чудом, что они сумели все сохранить втайне.

Восход солнца начался уже два дня назад по земному времени, но, хотя четкие тени заметно укоротились, до лунного полудня было еще пять дней. Мы готовились провести первое статическое испытание двигателей «Альфы»; силовая установка была вся смонтирована, корпус корабля собран. Стоя на равнине, «Альфа» напоминала скорее часть нефтеперегонного комбината, чем космический корабль, но нам она казалась прекрасной, символом будущих завоеваний. Момент ответственный: еще ни разу не делали таких мощных термоядерных двигателей, и, несмотря на все старания, никогда нельзя быть уверенным... Если теперь что-нибудь не сработает, осуществление проекта АРЕС будет отложено не на один год.

Отсчет времени уже начался, когда ко мне подбежал Хатчинс, бледный и озабоченный.

— Мне нужно немедленно доложить на Базу! — выпалил он. — Это очень важно!

— Важнее испытания? — язвительно осведомился я, сдерживая досаду.

Он помялся, словно хотел мне что-то объяснить, потом коротко ответил:

— Да, пожалуй...

— Хорошо, — сказал я.

Он тотчас исчез. Я мог бы потребовать у него объяснения, но подчиненным надо доверять. Возвращаясь к центральному пульту, я раздраженно говорил себе, что сыр по горло этим взбалмошным юнцом. И ведь он не меньше других волновался, как пройдет испытание, а сам вдруг умчался по канатной дороге на Базу. Пузатый цилиндр кабины скользил по едва заметным тросам подобно невиданной птице.

Пять минут спустя я совсем разозлился. Целая группа приборов-самописцев вдруг забастовала, пришлось отложить испытания на три часа. Я метался в контрольном центре, твердя всем и каждому (поскольку бежать от меня им было некуда), что у нас в Капустном Яру такого не случалось. Наконец после второй чашки кофе я слегка успокоился; и тут в динамиках прозвучал сигнал «Слушайте все». Только один сигнал считался еще важнее — вой аварийных сирен. За все мои годы в Лунном поселке я дважды слышал его и надеюсь больше никогда не услышать. Голос, который затем раздался в каждом помещении на Луне и в наушниках каждого рабочего на безмолвных равнинах, принадлежал генералу Стайну, председателю Управления Астронавтики. (Тогда еще существовали всякие почетные титулы, хотя уже никто не придавал им значения.)

— Я говорю из Женевы, — начал генерал Стайн. — На мою долю выпало сделать важное сообщение. Последние девять месяцев проходил ответственныйейший эксперимент. Мы держали его в секрете, считаясь с непосредственными участниками опыта и не желая пробуждать ненужных надежд или опасений. Вы помните, еще недавно многие специалисты не верили, что человек сможет жить в космосе. И на сей раз нашлись пессимисты, они сомневались, удастся ли сделать следующий шаг в покорении вселенной. Теперь доказано, что они ошибались: разрешите представить вам Джорджа Джонатана Хатчина, первого Уроженца Космоса.

Последовал щелчок, затем пауза, непонятные шорохи и шепот. И вдруг всю Луну и половину Земли облетел звук, о котором я обещал вам рассказать, — самый поразительный звук, какой мне довелось слышать за всю свою жизнь.

Это был слабый плач новорожденного ребенка, первого в истории человечества, который родился вне Земли! В полной тишине, воцарившейся в контрольном центре, мы поглядели сначала друг на друга, потом на корабли на сияющей равнине. Всего несколько минут назад нам казалось, что на свете нет ничего важнее их. И вот им пришлось отступить перед тем, что произошло в Медицинском Центре и что будет в грядущих веках происходить миллиарды раз в бесчисленных мирах.

Вот тогда-то, уважаемые друзья, я почувствовал, что человек действительно утвердился в космосе.

Джон Уиндем

ПОИСКИ НАУГАД

Звук затормозившей по гравию машины заставил доктора Харшома взглянуть на часы. Он захлопнул блокнот, положил его в ящик стола и стал прислушиваться поджидая. Наконец Стефан открыл дверь и произнес:

— Мистер Трэффорд, сэр!

Доктор встал с кресла и внимательно посмотрел на вошедшего молодого человека. Мистер Колин Трэффорд оказался представительным тридцатилетним мужчиной со слегка вьющимися каштановыми волосами и чисто выбритыми щеками. На нем были хорошо спитый из дорогого твида костюм и соответствующая обувь. Внешность располагающая, но довольно обычная. Наверное, он похож на каждого второго из тех молодых людей, которых мы встречаем ежедневно. Притгядевшись поближе, доктор заметил следы усталости на его лице, выражение тревоги и напряженного упорства в складке рта.

Они пожалили руки друг другу.

— Вы, наверное, долго добирались сюда, — сказал доктор. — Я думаю, вы не против глотка виски. До обеда еще полчаса.

Молодой человек поблагодарил, сел и сказал:

— Вы были очень любезны, пригласив меня сюда, доктор Харшом.

— Я сделал это небескостью: по мне, лучше поговорить с человеком, чем заводить переписку. Более того, отказавшись от нудной сельской практики, я стал доцентом, мистер Трэффорд, а уж в тех редких случаях,

когда мне удается столкнуться с настоящей тайной, я не отвяжуясь, пока мое любопытство не будет удовлетворено до конца, — сказал доктор Харшом и тоже сел.

— С тайной? — повторил молодой человек.

— С тайной, — сказал доктор.

Молодой человек отпил виски.

— Но наводимые мною справки такого свойства, что... они под стать любому юристу, не правда ли?

— Но вы же не юрист, мистер Трэффорд, — сказал доктор.

— Да, — согласился тот.

— Что тогда заставило вас наводить эти справки? Нужда или досужее любопытство? В этом-то и заключается тайна — искать человека, в существовании которого вы и сами не уверены и о котором нет никаких данных, даже в Сомерсет Хаусе.

Молодой человек с интересом разглядывал доктора, который продолжал:

— Откуда мне известно, что вы не уверены в существовании разыскиваемого лица? Да просто подобные поиски предпринимаются только в этом случае. Будь у вас свидетельство о рождении данного человека, вы бы так не поступали. В самом деле, откуда эта непонятная решимость найти того, кто официально не существует? И тут я сказал себе: «Когда этот упрямец обратится ко мне, я попытаюсь разгадать его тайну».

Молодой человек нахмурился.

— Вы хотите сказать, что это пришло вам в голову еще до того, как вы получили мое письмо?

— Мой дорогой, Харшом — это не обычная фамилия, она происходит еще от Харвестов, если это вас интересует, — и действительно, я никогда не слышал о Харшоме, который бы не имел отношения к этой древней фамилии. Поэтому в той или иной степени все мы, Харшомы, связаны друг с другом, и вторжение молодого неизвестного нам человека, настойчиво перебирающего всех нас и пристающего к каждому со своими расспросами относительно какой-то таинственной мисс Харшом, вполне естественно, возбуждает наш интерес.

Поскольку я сам, как мне кажется, нахожусь в конце вашего списка Харшомов, то я и решил, со своей стороны, заняться некоторыми исследованиями.

— Но почему вы считаете, что находитесь в конце моего списка? — прервал его Колин Трэффорд.

— Потому что вы, очевидно, придерживаетесь определенного принципа, в данном случае — географического. Вы начали поиски Харшомов в центральном районе Лондона и продолжали расширять их от центра, пока не добрали до Хирфордшира. Теперь в вашем списке осталось только два Харшома: Питер, который живет на крайнем мысу Корнуэлла, и Гарольд — в нескольких милях от Дургамала, не так ли?

Колин Трэффорд кивнул с чувством недовольства.

— Верно, — согласился он.

Доктор Харшом улыбнулся.

— Так я и думал. Предположим... — начал он, но молодой человек прервал его опять:

— В своем письме вы пригласили меня сюда, но при этом не ответили на мой вопрос.

— Это верно. Но я ответил на него теперь, заявив, что лицо, которое вы разыскиваете, не только не существует, но никогда и не существовало.

— Если вы так уверены в этом, зачем вы вообще позвали меня сюда?

— Затем, чтобы... — Слова доктора прервал звук гонга. — Простите, Филиппс дает нам десять минут на туалет перед обедом. Позвольте мне показать вам вашу комнату, и мы продолжим беседу за столом.

Чуть позже, когда суп был подан, доктор продолжал:

— Вы спрашивали меня, почему я пригласил вас сюда. Полагаю, ответ заключается в следующем. Если вы чувствуете право проявлять любопытство к моей гипотетической родственнице, я имею не меньшее право интересоваться причинами, вызвавшими ваше любопытство. Резонно, не правда ли?

— Едва ли, — ответил мистер Трэффорд, подумав. — Я допускаю, что выяснить мотивы моих поисков было бы оправданным, если бы вы знали, что объект поисков существует. Но поскольку вы уверяете меня, что его нет, то вопрос о мотивах становится чисто академическим.

— Но мой интерес и носит чисто академический характер, дружище, хотя и не лишен практического смысла. Возможно, мы продвинемся несколько вперед, если вы позволите осветить проблему так, как она мне представляется.

Трэффорд кивнул, и доктор продолжал:

— Итак, обрисуем обстановку: около семи или восьми

месяцев назад молодой человек, совсем неизвестный нам, начинает целую серию попыток завязать контакт с моими родственниками. Его намерения, по его словам, заключаются в выяснении всего, что касается Оттилии Харшом. Он полагает, что она родилась в 1928 году или около того. Конечно, она могла принять после замужества другую фамилию. Тон его первых писем был доверительным, что предполагало наличие чувств, которые легко можно понять. Но после того как один за другим Харшомы отказывались опознать среди родственников предмет розыска, тон писем стал менее доверительным, хотя и не менее настойчивым. В одном или двух случаях он встречался, видимо, с молодыми представительницами рода Харшомов, правда, не Оттилиями, тем не менее он пристально их изучал. Может быть, он так же не уверен в ее имени, как и во всем, что касается ее? Но, вероятно, ни одна из тех дам не отвечала его представлениям об Оттилии Харшом, потому что он продолжает свои поиски. Его решимость вывернуть наизнанку этих Харшомов все растет, и тут он преступает грань разумного. Кто он — сумасшедший, страдающий манией любопытства?

Однако, по крайней мере, до весны 1953 года он, видимо, был абсолютно нормальным молодым человеком. Его полное имя — Колин Вейланд Трэффорд. Он родился в 1921 году в Солихалле. Сын юриста. Поступил в школу в Чартоу в 1934 году. В 1939-м был призван в армию и в 1945 году демобилизовался в чине капитана. Поступил в Кембриджский университет. Получил в 1949 году диплом физика и в том же году занял ответственный пост в «Электро-Физикал индастри компании». Женился на Делле Стивенс в 1950-м. Овдовел в 1951-м. В начале 1953 года во время лабораторных опытов произошел несчастный случай, он пострадал и целых пять недель провел в больнице святого Мерруна. Примерно через месяц появляются его первые письма Харшомам относительно Оттилии Харшом.

Колин Трэффорд заметил:

— Вы очень неплохо осведомлены, доктор Харшом.

Доктор слегка покал плечами.

— Ваша собственная информация о Харшомах теперь должна быть почти исчерпывающей. Чего же вам обижаться на то, что и нам известно кос-что о вас?

Колин не ответил. Он пристально глядел на скатерть, как бы изучая ее. Доктор заключил:

— Я только что сказал: не мания ли это у него? Я ответил бы: да, это стало манией с марта прошлого года. До этого времени никаких расспросов относительно мисс Оттилии Харшом не было.

И вот, когда я уяснил себе эти обстоятельства, я почувствовал, что нахожусь в преддверии куда более удивительной тайны, чем можно было предположить ранее.

Доктор сделал паузу.

— Я хотел бы спросить вас, мистер Трэффорд, было ли вам известно имя Оттилии Харшом до прошлого года?

Молодой человек колебался. Затем с трудом произнес:

— Возможно ли и как вам на это ответить? Количество самых разных имен бесчисленно. Одни запоминаются, другие хранятся в подсознании, а некоторые, очевидно, проходят незамеченными. На этот вопрос нельзя ответить определенно.

— Допускаю. Но получается любопытная ситуация: до января Оттилия Харшом была вне вашего сознания, однако начиная с марта без видимых на то причин она овладела всеми вашими помыслами. Поэтому-то я и спрашиваю себя, что могло случиться между январем и марта?

Как известно, я занимаюсь музыкой. И я берусь связать воедино ряд внешних факторов чисто логически.

В конце января вас вместе с другими приглашают присутствовать при демонстрации опытов в одну из лабораторий вашей компании. Мне не объяснили деталей, да и сомневаюсь, что я понял бы их, если бы и рассказали. Но я знаю, что во время демонстрации произошло что-то неладное. Был взрыв или, может быть, подобие сировощированного излучения пучка электронов. Во всяком случае, в лаборатории была авария. Один был убит на месте, другой скончался позднее, несколько человек ранены. Вы пострадали не очень сильно: несколько синяков и порезов — ничего серьезного, но вас сбило с ног. Это был основательный удар: вы пролежали без сознания двадцать четыре дня... И когда вы наконец пришли в себя, у вас появились признаки значительного психического расстройства — более сильного, чем можно было ожидать от пациента вашего возраста и комплекции. Вам дали успокаивающее. Следующую ночь вы спали беспокойно, вы вновь и вновь звали кого-то по имени Оттилия.

В больнице пытались разыскать Оттилию, но никто из

ваших друзей и родственников не знал никакой Оттилии, имеющей к вам отношение. Вы начали поправляться, но было ясно: какие-то серьезные изменения произошли в вашем сознании.

Вы отказались дать разъяснения, но уговорили одного из врачей попросить секретаршу поискать имя Оттилии Харшом в справочнике. Когда имя обнаружить не удалось, вы впали в депрессию. Однако вы опять не объяснили причины. После выхода из больницы вы пустились на поиски Оттилии Харшом, которые вы продолжаете, несмотря на явную их безнадежность. Итак, какое же заключение можно сделать из этого?

Доктор замолчал, чтобы взглянуть на своего гостя. Левая бровь его вопросительно приподнялась.

— Заключение? — недовольно буркнул Колин. — Что вам известно больше, чем я предполагал. И что вам пристало бы заниматься подобными расспросами, если бы я лечился у вас, но, поскольку я не пациент ваш и не имею ни малейшего желания консультироваться у вас как профессионала, ваши действия представляются мне вмешательством в чужие дела, что неэтично.

Если он предполагал, что хозяин будет выбит из седла сказанным, то ему пришлось разочароваться.

Доктор все так же заинтересованно разглядывал его.

— Я не убежден еще, что вы можете обойтись без наблюдения врача, — заметил он. — Однако позвольте мне сказать, почему именно я, а не кто-либо другой из Харшомов серьезно занялся всем этим. Может, тогда вы не будете считать мои усилия столь неуместными. Но я заранее предупреждаю во избежание ложных надежд: вы должны понять, что Оттилии Харшом, которую вы ищете, нет и не было, это определенно.

Тем не менее во всем этом есть одно обстоятельство, которое сильно интригует и удивляет меня и которое я не могу отнести к разряду совпадений. Видите ли, имя «Оттилия Харшом» не совсем безызвестно мне. Нет!.. — он поднял руку. — Повторяю — без ложных надежд! Оттилии Харшом нет, но была — или скорее были в прошлом две Оттилии Харшом.

Обида и недовольство Колина полностью улетучились. Он сидел, слегка наклонясь вперед, внимательно следя за хозяином.

— Но, — подчеркнул доктор, — это было очень давно. Первой из Оттилий была моя бабушка. Она родилась

в 1832 году, вышла замуж за дедушку Харшома в 1861 году и умерла в 1866 году. Второй была моя сестра: она, бедняжка, родилась в 1884-м и умерла в 1890 году.

Он прервал рассказ. Колин молчал. Доктор продолжал:

— Я единственный, кто остался в живых из нашей ветви Харшомов, поэтому неудивительно, что другие забыли о том, что в нашем роду было имя Оттилия. Но, когда я услышал о ваших поисках, я сказал себе: в этом есть что-то необычное. Оттилия не самое редкое из имен, но потребовалось бы очень много поколений, чтобы появилась еще одна Оттилия Харшом — согласитесь, фамилия Харшом встречается крайне редко. Вероятность такого совпадения имени и фамилии ничтожна, и для выражения этой вероятности потребуются астрономические числа, настолько большие, что я не могу поверить в случай; где-то помимо случая должно быть звено связи, какая-то причина. Итак, я послал приглашение, чтобы выяснить, почему какой-то Трэффорд ссылается, более того, одержим таким невероятным совпадением имени и фамилии. Не поможете ли вы мне разобраться в этом?

Колин смотрел на доктора в упор, но молчал.

— Не хотите? Ну ладно. Так вот, я собрал все доступные данные и пришел к такому заключению: в результате несчастного случая и травмы вы пережили потрясение небывалой силы и необычного свойства. Что потрясение было сильное, явствует из того упорства, с которым вы добиваетесь определенной цели; необычность же его проявилась в том, что вы пришли в себя уже в состоянии умопомешательства, и в том, с каким упрямством вы отказывались вспомнить хоть что-нибудь из того, что с вами было с момента удара до пробуждения.

Почему же в момент пробуждения вы оказались в состоянии умопомешательства? Объяснить это можно воспоминаниями, возникшими в тот самый момент у вас в голове. И если эти воспоминания не более чем отражение снов, то почему вы не хотите о них говорить?

Очевидно, потому, что все, связанное с именем Оттилии Харшом, имеет для вас огромное значение — и в настоящем и в будущем.

Итак, мистер Трэффорд, что вы скажете о моих рассуждениях и выводах? Как врач, я полагаю, что подобные задачи можно решать лишь сообща.

Колин задумался, но, поскольку все еще медлил с ответом, доктор добавил:

— Вы уже у филиша ваших поисков. Осталось только два неопрошенных Харшома, и, я уверяю, они не смогут помочь вам. И что тогда?

— Наверное, вы правы, — вяло ответил Колин. — Вам виднее. Но все равно я должен повидать их. Может быть, хоть что-нибудь... Я не могу пренебречь ни единой возможностью. Я и так почти ни на что не рассчитывал, когда вы пригласили меня. Я знал, что у вас была семья...

— Была, — тихо сказал доктор. — Мой сын Малкольм убит в 1927 году. Он не был женат. Дочь была замужем, но не имела детей. Она погибла в 1941 году во время бомбежки Лондона... Вот и все... — Доктор медленно опустил голову.

— Простите... — сказал Колин. — Вы не разрешите взглянуть на портрет вашей дочери?

— Но ведь она далеко не ровесница той, кого вы ищете!

— Я понимаю, но все-таки...

— Хорошо, я покажу фотографию, когда вернемся в кабинет. А пока что вы не сказали, что вы думаете о ходе моих рассуждений.

— О, они вполне логичны!

— Но вы все еще отмалчиваетесь? Тогда я еще немного порассуждаю. Судя по всему, то, что произошло с вами, не должно было оставить у вас в душе осадок стыда или отвращения. Иначе вы любым способом постарались бы приукрасить это событие. Вы этого явно не делаете. Поэтому скорее всего причиной вашего молчания является страх. Что-то пугает вас, мешает вам говорить о случившемся. К счастью, вы не боитесь моих рассуждений. Вам страшно поделиться своими мыслями с другими, ибо это может привести к каким-то осложнениям. И осложнения эти коснутся в первую очередь вас самого, а не того, другого, человека...

Колин продолжал безучастно рассматривать доктора, затем откинулся на спинку кресла и впервые слабо улыбнулся.

— Ну вот вы и высказались, доктор, не так ли? Извините меня, но ваши рассуждения по-немецки тяжеловесны. На самом деле все гораздо проще и сводится к следующему. Любой человек, утверждающий истин-

пость чувств и восприятий, не соответствующих общепринятым, будет признан не совсем нормальным, верно? А если он не совсем нормальный, разве можно на него вообще полагаться? Вы скажете, можно, но не разумнее ли будет передать ключевые позиции в руки нормального человека? Это лучше и надежней. И вот он уже обойден. Его неудачи замечают. Над ним сгущаются тучи. Все это еще несущественно, малозаметно для него, но постоянно омрачает его существование.

Вообще-то, мне кажется, что людей совсем нормальных нет, есть лишь распространенное убеждение, что они должны быть. В любом организованном обществе существует понятие человека, который необходим данному обществу. Представление о таком человеке и выдается за эталон «нормального человека». И каждый член общества стремится соответствовать данному эталону, и всякий человек, который в частной ли жизни или на службе в значительной мере отстуает от него, грозит испортить себе карьеру. В этом-то и заключается мой страх: я просто боюсьсложнений.

— Пожалуй, верно, — согласился доктор. — Но вы ведь не пытаетесь скрыть своих странных поисков Оттилии Харшом?

— А зачем? Что может быть обычнее положения «мужчина разыскивает девушку»? Я подвел под это такую базу, которая удовлетворяет не только моих любопытных друзей, но и некоторых Харшомов.

— Пожалуй. Но никто из них не знает о «счастливом» совпадении имени «Оттилия» с фамилией «Харшом». Об этом знаю только я.

Доктор подождал ответа Колина Трэффорда, но, так и не дождавшись, продолжал:

— Послушайте, дорогой мой. Эта проблема тяжелым бременем лежит у вас на сердце. Нас тут только двое. У меня с вашей фирмой нет абсолютно никаких контактов. Моя профессия должна убедить вас в том, что все останется между нами, и, если хотите, я дам вам особые гарантии. В результате вы сбросите тяжкое бремя со своей души, а я наконец доберусь до сути...

Но Колин покачал головой.

— Ничего у вас не получится. Если бы даже я решил рассказать вам все, непонятного для вас стало бы больше. Я это знаю по себе.

— Одна голова хорошо, а две лучше. Давайте по-

пробуем, — сказал доктор и снова поглядел на Колина. Некоторое время Колин размышлял, потом поднял глаза и уверенно встретил взгляд доктора.

— Ну хорошо. Я пытался разобраться во всем сам. Теперь попытайтесь и вы. Но прежде покажите мне портрет вашей дочери. Когда ей было двадцать пять лет. Есть у вас такой?

Они встали из-за стола и вернулись в кабинет. Доктор жестом предложил Колину сесть, а сам направился в дальний угол комнаты, к шкафу. Достал пачку фотографий, просмотрел их бегло, отобрал три. Несколько секунд он внимательно гляделся в них, затем протянул Колину. Пока Колин изучал фотографии, доктор разливал бренди.

Но вот Колин кончил рассматривать фотографии.

— Нет, — сказал он. — Но все-таки что-то в них есть...

Он попробовал закрывать рукой на фотографии сначала лоб, потом нос, губы.

— Похожи разрез и постановка глаз, но не совсем. Может быть, брови... Но прическа другая, это мешает определить точно... — Он еще немного подумал, затем вернулся фотографии. — Спасибо, что позволили мне взглянуть на них.

Доктор вытащил из пачки еще одну фотографию и протянул ее Колину.

— Это Малкольм, мой сын.

На ней молодой человек стоял, смеясь, возле машины, окутанной выхлопными газами, и пытался ремнями стянуть капот.

— Он любил эту машину, — сказал доктор. — Но для старой дороги у нее была слишком большая скорость. Машина перелетела через барьер и ударила в дерево.

Он положил фотографии на место и протянул Колину стакан с бренди.

Некоторое время оба молчали. Потом Колин отпил бренди и закурил сигарету.

— Ну что ж, — произнес он. — Попробую рассказать. Было ли это в действительности или только в моем воображении, неважно, но это случилось со мной. Подробности мы рассмотрим позже, если вы захотите...

— Хорошо, — согласился доктор. — Но прежде скажите: все началось с того несчастного случая или было что-то еще раньше?

— Нет, — ответил Колин. — С него все и началось.

Это был самый обычный день. Если что и отличало этот день от других, так это тот самый эксперимент в лаборатории. В чем он заключался, не стоит говорить. Это не мой личный секрет, да и к делу никакого отношения не имеет. Все мы собирались вокруг установки. Дикин — он дежурил — врубил ток. Что-то загудело, потом взвыло, будто мотор, набирающий обороты. Вый постепенно перешел в визг, потом секунду или две казалось, что не вынесешь этого звука, достигшего порога слышимости. И вдруг чувство облегчения, потому что он прекратился, и все вроде опять успокоилось. Я смотрел на Дикина, наблюдавшего за поведением приборов, готового в любой момент отключить их, когда в лаборатории ярко и омынуло огнем. Я ничего не услышал и не почувствовал: зафиксировал только поразительную белую вспышку... Потом — ничего, сплошная чернота... Я слышал, как кричали люди, и женский голос, истеричный женский голос...

Что-то очень тяжелое придавило меня. Я открыл глаза и был ослеплен острой болью. Я постарался освободиться от придавившей меня тяжести и тут обнаружил, что лежу на земле и на меня навалились два или три человека. Мне удалось сбросить с себя двоих и сесть. Вокруг валялись люди; несколько человек уже подымалось. В двух футах слева от себя я увидел огромное колесо. Посмотрев вверх, я понял, что это колесо автобуса, автобуса, который возвышался надо мной как красный небоскреб и, более того, стоял наклонно и явно собирался свалиться на меня. Это заставило меня подхватить молодую женщину, лежавшую на моих ногах, быстро вскочить и убраться вместе с нею в безопасное место. Она была без сознания, лицо ее было смертельно бледным.

Я огляделся. Нетрудно было попять, что здесь случилось. Автобус, шедший с большой скоростью, видимо, потерял управление, въехал на переполненный тротуар и в витрину магазина. Переднюю часть его верхнего яруса сплющило стеной здания, и именно оттуда раздавался истеричный женский крик. Несколько человек все еще оставались на земле: женщина подавала слабые признаки жизни, стонал мужчина, а двое или трое лежали совсем неподвижно. Три струйки крови медленно текли по асфальту среди кристалликов разбитого стекла. Движение

на улице остановилось, и я заметил два полицейских шлема, медленно продвигающихся над собравшейся толпой.

Я пробовал попевелить руками, ногами. Они действовали безупречно и безболезненно. Но я чувствовал головокружение, и в голове стучало. Я ощущал голову и нашел крошечную ранку на левом виске: падая, я, видимо, ударился обо что-то острое.

Полицейские прорыгались сквозь толпу к автобусу. Один из них стал расталкивать орущих зевак, второй занялся пострадавшими, оставшимися лежать на дороге. Появился третий и полез на второй ярус автобуса узнать, кто там кричит.

Я осмотрелся. Мы находились на Риджент-стрит, недалеко от Пиккадилли; разбитая витрина принадлежала Остину Риду. Я опять посмотрел на автобус. Он действительно наклонился, но не было опасения, что он упадет: его накрепко заклинило в витрине в каком-нибудь ярде от слова «Дженерал», золотыми буквами горевшего на алом боку автобуса.

В этот момент до меня дошло, что если я сейчас же отсюда не уберусь, то буду вовлечен в это дело в качестве свидетеля; не то чтобы я вообще не считал для себя возможным выступать свидетелем, но только при обычных обстоятельствах и если это было кому-нибудь на пользу. А тут я вдруг ясно осознал, что обстоятельства далеко не обычные. Во-первых, единственное, свидетелем чего я был, это печальные последствия катастрофы, а во-вторых, что я тут делал?.. Только что я наблюдал демонстрацию опыта в Уотфорде и вдруг оказался на Риджент-стрит... Какого черта я здесь делаю?

Потихоньку я смешался с толпой. Петляя среди остановившихся машин, перешел на другую сторону улицы к кафе Ройал. Кажется, с тех пор как я был у них года два назад, они здорово перестроились, но моей главной задачей было отыскать бар, что я и сделал без особого труда.

— Двойной бренди с содой, — заказал я бармену.

Он налил мне бренди и пододвинул сифон. Я выпнул из кармана деньги — оказалась какая-то мелочь, серебро и медь. Полез за чековой книжкой.

— Полкроны, сэр, — как бы предупреждая мой жест, сказал бармен.

Я выпутил на него глаза. Но цену назначил он.

Я протянул ему три шиллинга. Он с благодарностью принял их.

Я разбавил бренди содовой и с наслаждением выпил.

Это случилось в тот момент, когда я ставил стакан на прилавок: в зеркале за спиной бармена я увидел свое отображение.

Было время, я носил усы. Когда я вернулся из армии, например. Но, поступив в Кембридж, я сбривал их. А теперь — вот они, может быть, не такие пышные, но вновь воскресшие. Я потрогал их. Никакого обмана, усы настоящие. Почти тут же я заметил, какой на мне костюм. В таком костюме я ходил несколько лет назад, но мы, служащие «Электро-Физикал индастри К°», не носили ничего подобного.

Все поплыло у меня перед глазами, я поспешил выпить бренди и немного неуверенно полез в карман за сигаретой. Из кармана я вытащил пачку совершенно незнакомых мне сигарет. Слышали вы когда-нибудь о сигаретах «Маринер»? Нет? Не слышал о них и я, но достал одну и трясущейся рукой закурил. Головокружение не проходило, напротив, оно быстро нарастало.

Я пощупал внутренний карман. Кошелька в нем не было. Хотя он должен был находиться там, если только какой-нибудь паршивец в толпе возле автобуса не прихватил его... Я проверил остальные карманы: вечное перо, связка ключей, две квитанции от Гарроди, чековая книжка — в ней чеки на Найтбриджское отделение Уэстминстерского банка. Так, банк мой, но почему Найтбриджское отделение? Я живу в Гэмпстеде...

Чтобы найти объяснение всему этому, я начал восстанавливать в памяти события, начиная с того мгновения, когда я открыл глаза и увидел возвышающийся надо мной автобус. Я вспомнил острое ощущение опасности от нависшего надо мной алого автобуса с золотыми буквами «Дженерал», ярко пылающими на его боку... Да, да, золотыми буквами, а вы должны знать, что слово «Дженерал» исчезло с лондонских автобусов еще в 1933 году, когда оно было заменено словами «Лондон транспорт».

Тут я, признаюсь, испугался немного и стал искать что-нибудь в баре, что помогло бы мне вернуть равновесие. На столике я заметил оставленную кем-то газету. Я пересек бар, чтобы взять газету, и вернулся на свое место к стойке, не взглянув на нее. Только после этого

я сделал глубокий вдох и посмотрел на первую страницу. Сначала я испугался: всю страницу занимали рекламы и объявления. Но некоторым утешением для меня послужила строчка на верху страницы: «Дейли Мейл, Лондон. Суббота 27 января 1953 года». Ну хотя бы дата была соответствующая: именно на этот день намечалась демонстрация опыта в лаборатории.

Я перевернул страницу и прочитал: «Беспорядок в Дели. Одно из грандиознейших гражданских волнений в Индии за последнее время имело место сегодня в связи с требованием немедленного освобождения из тюрьмы Неру. На целый день город замер».

Мое внимание привлек заголовок соседней колонки: «Отвечая на вопросы оппозиции, премьер-министр Батлер заверил палату представителей в том, что Правительство проводит серьезное рассмотрение...»

Голова кружилась. Я взглянул на верхнюю рамку газеты — та же дата, что и на первом листе: 27 января 1953 года, и тут же, под рамкой, фото с подписью «Сцена из вчерашней постановки театра Лаутон «Ее любовники», в которой мисс Аманда Коуворд играет главную роль в последней музыкальной постановке ее отца. «Ее любовники» была подготовлена к постановке за несколько дней до смерти Ноэля Коуворда в августе прошлого года. После представления мистер Айвор Новелло, руководивший постановкой, произнес трогательную речь в честь усопшего».

Я прочел еще раз. Затем для уверенности осмотрелся по сторонам. Мои соседи по бару, обстановка, бармен, бутылки были несомненно реальны.

Я положил газету на стойку и допил остаток бренди.

Я хотел повторить заказ, но было бы неловко, если бы бармен вдумал назначить большую, чем раньше, цену — денег осталось в обрез.

Я взглянул на свои часы — и опять что за чертовщина! Это были хорошие золотые часы с ремешком из крокодиловой кожи, стрелки показывали половину первого, но никогда раньше я не видел этих часов. Я снял часы и посмотрел снизу. Там было выгравировано «К. павеки от О. 10.X.50». Это поразило меня, ведь в 1950 году я женился, хотя и не в октябре, и не знал никого, чье имя начиналось бы с буквы «О». Мою жену звали Деллой. Я механически застегнул часы на руке и вышел из бара.

Виски и эта маленькая передышка подействовали к лучшему. Вернувшись на Риджент-стрит, я чувствовал себя менее растерянным. Боль в голове стихла, и я мог осмотреться вокруг более внимательно.

Кольцо Пиккадилли на первый взгляд было обычным, и тем не менее казалось, будто что-то тут не так. Я догадался, что необычны люди и машины. Много мужчин и женщин были в поноженных костюмах, цветочницы под статуей Эроса были тоже в каких-то лохмотьях. Я посмотрел на прилично одетых дам и удивился. Почти все без исключения носили плоские широкополые шляпы, приколотые булавками к прическам. Юбки были длинные, почти до лодыжек. Был полдень, но дамы почему-то вырядились в меховые накидки, производившие впечатление вечерних туалетов.

Узконосые туфли на тонких каблуках-шпильках с излишними украшениями выглядели на мой вкус уродливо. Крик моды всегда смешон для неподготовленного, к нему приходят исподволь, постепенно. Я чувствовал бы себя Рипом ван-Винклем после пробуждения, если бы не эти вполне современные заголовки в газетах... Автомашины, короткие, высокие, без привычной обтекаемости форм, тоже казались смешными.

Присмотревшись, я понял, что, кроме двух явных «ройсов», все остальные марки машин мне незнакомы. Нока я удивленно таращил глаза, одна из дам в плоской шляпе и поноженных мехах встала передо мной и мрачно обратилась ко мне, назвав «дорогушей». Я сбежал от нее на Пиккадилли. Между прочим, я обратил внимание на церковь святого Джеймса. Когда я видел ее в последний раз, она вся была в лесах. Материалы для перестройки и укрепления фундамента были подвешены в сад и огорожены временным забором. Это было две недели назад. Но теперь все исчезло, будто церковь вовсе не пострадала в свое время от бомбажек. Я пересек дорогу, присмотрелся внимательнее и крайне удивился мастерству реставраторов.

Я остановился перед витриной магазина Хатгарда и посмотрел выставленные книги. Некоторых авторов я знал: Пристли, Льюис, Бертран Рассел, Т. С. Элиот, но редкие из заглавий их книг были мне знакомы. Тут вдруг внизу, в центре витрины, я увидел книжонку в суперобложке розовых тонов «Юные дни жизни», роман Колина Трэффорда.

Я уставился на книгу, наверное, с открытым ртом. Признаться, у меня были одно время потуги самолюбия в литературном направлении. Если бы не война, я бы, вероятно, получил образование в области искусства и попробовал бы в нем свои силы. Но случилось так, что мой приятель по полку убедил меня заняться наукой, а потом я поступил на работу в ЭФИ.

Поэтому, увидев свое имя на обложке книги, минуту или две я пытался разобраться в сумбурном потоке своих мыслей и ощущений. Любопытство заставило меня зайти в магазин.

На столе я заметил в стопке полдюжины экземпляров «Юных дней жизни». Я взял верхнюю и раскрыл. На обложке четко стояло имя автора, на обороте титула — перечень семи других его произведений. Затем шло незнакомое мне название издательства. Рядом отмечалось: «Первое издание — январь 1953 года».

Я взглянул на заднюю сторону суперобложки и чуть не уронил книгу: там красовался портрет автора, несомненно мой портрет, и с усами! Пол у меня под ногами дрогнул...

Где-то у себя за плечом я услышал показавшийся мне знакомым голос:

— Рад встрече, Нарцисс! Смотришь, как идет продажа? Ну и как?

— Мартин! — вскрикнул я от неожиданности. Никогда в жизни я так не радовался встрече с приятелем. — Мартин, сколько мы не виделись с тобой?

— Сколько? Да для три, старик! — услышал я слегка удивленный голос.

Три дня! Я встречался с Мартином, и не раз, в Кембридже. Но это было не меньше двух лет назад. Однако он продолжал:

— Как насчет перекуса, если ты не занят?

И опять — странно: я уже много лет не слышал, чтобы кто-нибудь говорил «перекус». Я постарался убедить себя, что все в порядке вещей.

— Отлично, — согласился я, — по платить тебе, у меня стащили кошелек.

Он щелкнул языком.

— Надеюсь, в нем было не так уж много. А если пойти в клуб? Они примут к оплате чек.

Я положил книгу, которую все еще держал в руках, и мы вышли.

— Забавная штука, — сказал Мартин. — Только что встретил Томми — Томми Вестхауза. Он вроде порхающего мотылька — надеется на своего американского издателя. Ты помнишь его дурацкую вещь «Розы в шишах»? Как Бен-Гур встречает Клеопатру, а им мешает Синяя Борода? Так вот его издатель не лучше...

Он болтал, пересыпая рассказ профессиональными шутками и неизвестными мне именами. И я его, признаться, почти не понимал. Мы прошли так несколько кварталов почти до Пол-Мола. Он спросил:

— Ты так и не сказал мне, как идут «Юные дни жизни». Кое-кто говорит, что книгу переоценили. Видел «Вечлит»? Там тебя поругивают. Самому прочесть книгу не привелось: хлопот куча!

Я предпочел отвечать уклончиво и сказал, что распродажа идет, как и ожидали, средне.

Мы пришли в клуб. Это оказался «Сэвидж-клаб». И хоть я не член его, швейцар приветствовал меня по имени, как будто я был их ежедневным посетителем.

Меня мучили сомнения, но все обошлось хорошо, и во время завтрака я старался быть на высоте и придерживаться принципа: веди себя как все, потому что если что-то кажется людям необычным, то они скорее посчитают тебя сумасшедшим, чем помогут тебе.

Боясь, мне это не всегда удавалось. Я не раз замечал, что Мартин странно поглядывает на меня. Один раз даже спросил меня:

— Как ты себя чувствуешь, старик?

Но самое страшное случилось позднее, когда он потянулся левой рукой за сельдереем. Я увидел золотое кольцо-печатку у него на безымянном пальце, и это поразило меня. Дело в том, что у Мартина на левой руке не было мизинца и безымянного пальца. Он их потерял во время войны в 1945 году где-то в боях у Рейна.

— Боже мой! — невольно воскликнул я.

Он повернулся ко мне.

— Какого черта, старик, что стряслось? Ты побелел как полотно!

— Твоя рука... — пролепетал я.

Он с удивлением посмотрел на руку, потом на меня.

— По-моему, все в порядке, — сказал он, и глаза его испытующе сузились.

— Но... Но ведь ты потерял два пальца на войне!

У него брови поползли вверх от удивления, затем он нахмурился. В глазах еввозила озабоченность.

— Ты что-то путаешь, старик! Ведь война кончилась еще до моего рождения.

Ну после этого в моей голове поплыл туман, а когда он прошел, я полулежал в большом кресле. Мартин сидел рядом и наставлял меня такими словами:

— Итак, старик, прими мой совет. Топай-ка ты к врачу сегодня же. Наверное, ты перебрал малость. Как ни смешно — за мозгами тоже нужно присматривать. А теперь мне надо бежать, обещал. Только смотри не откладывай! Дай мне знать, как пойдут дела.

И он ушел.

Я расслабился в кресле. Как ни странно, я чувствовал себя самим собой в большей степени, чем за все время после того, как пришел в сознание на тротуаре Риджент-стрит. Как будто сильнейший удар выбил меня из состояния замешательства, и теперь мозги приходили в порядок. Я был рад, что отделался от Мартина и мог спокойно подумать.

Я осмотрелся вокруг. Я не был членом клуба и плохо представлял расположение и обстановку дома. И все же обстановка казалась мне несколько необычной. Ковры, освещение — все было другим, чем я видел в последний раз.

Народу было немного. Двое беседовали в углу зала, трое дремали, и еще двое читали газеты. Никто не обратил на меня внимания. Я подошел к столу с газетами и журналами и вернулся в кресло, взяв «Нью Стейшн», датированную 22 января 1953 года. Передовая призывала для прекращения безработицы национализировать средства транспорта в качестве первого шага по передаче в руки народа средств производства. Это вызвало во мне чувства, похожие на ностальгию. Я перевернул страницу и, просматривая статьи, был удивлен скучностью их содержания. Я обрадовался, найдя раздел «Современное обозрение». Среди других вопросов, которых касался обзор, было упоминание о важных физических экспериментальных работах, проводимых в Германии. Опасения обозревателя, разделляемые, видимо, некоторыми видными учеными, сводились к следующему: в настоящее время почти нет сомнений в теоретической возможности ядерного расщепления. Предлагаемые же методы управления этой реакцией слабы и ненадежны. Имеется угроза цепной реакции, кото-

рая может вызвать катастрофу космических масштабов. Консорциум, в котором принимают участие знаменитые ученые, писатели и деятели искусства, собирается обратиться в Лигу наций с жалобой на правительство Германии, которое во имя всего человечества должно прекратить свои безрассудные эксперименты...

Так, так!..

Мало-помалу, словно в тумане, кое-что начинало проясняться... Совсем неясными оставались все «как» и «почему», — я еще не имел своей разумной концепции о случившемся. Но я уже понимал, что предположительно могло произойти. Даже мне все представлялось противоречивым, может быть, оттого, что я знал, что случайный нейтрон при одних условиях захватывается атомом урана, а при других — нет... Это, конечно, противоречит Эйнштейну и его теории относительности, которая, как вы знаете, отрицает возможность абсолютного определения движения и, следовательно, приводит к идею четырехмерной пространственно-временной системы измерений. И поскольку вы не можете определить движение элементов континуума, любой образ или картина движения должна быть по сути своей иррациональной или иллюзорной, а потому и последствия не поддаются строгому определению и могут быть различны.

Однако там, где исходные факторы близки или похожи, то есть состоят из одинаковых элементов, скажем, атомов, находящихся в примерно одинаковых соотношениях, можно ожидать и похожих последствий. Они, конечно, никогда не будут идентичными, в противном случае определение движения было бы возможно.

Но они могут оказаться весьма схожими и, выражаясь языком специальной теории относительности Эйнштейна, — «доступными для рассмотрения и могут быть в дальнейшем описаны с помощью системы близких друг к другу определителей».

Иными словами, хотя бы одно из бесконечных обстоятельств, которое мы относим по времени, например, к 1953 году, должно произойти еще где-то в континууме. Оно существует только относительно определенного наблюдателя и появляется в одинаковых опосредствованиях с окружающим для нескольких наблюдателей, занимающих похожий (в комбинации пространства и времени) угол зрения или координаты отсчета. Однако заметим, что, поскольку два наблюдателя не могут быть совсем

идентичными, каждый из них должен по-разному воспринимать прошлое, настоящее и будущее. Следовательно, все, что воспринимает каждый наблюдатель, возникает на базе его отношений к континууму и действительно существует только для него одного. Таким образом, я пришел к пониманию того, что произошло, а именно: каким-то образом — я еще не догадывался каким — я был переведен в положение другого наблюдателя, координаты и угол зрения которого были отличными от моих, но не настолько, чтобы окружающее было совсем недоступно моему пониманию. Другими словами, мой двойник жил в мире, реальном для него, так же как я жил в своем мире, пока не случилась эта удивительная рокировка, позволившая мне наблюдать его мир со свойственным ему восприятием прошлого и будущего, вместо тех, к которым привык я. Поймите, ведь это кажется так просто, когда все обдумаешь, но я, конечно, не мог сначала охватить все в целом и сформулировать это для себя сразу. Но в своих рассуждениях близко подошел к пониманию отношений меня и моего двойника и решил, что, несмотря на всю невероятность происшедшего, мои мозги, по крайней мере, в порядке. Беда была в том, что они попали в непривычную обстановку, что они воспринимали то, что не было адресовано им, — как приемник, настроенный на чужую волну. Это было неудобно, плохо, но все же намного лучше, чем испорченный приемник. И я понял наконец хотя бы это.

Я сидел там довольно долго, пытаясь сообразить, что мне делать, пока не кончилась пачка сигарет «Маринер». Тогда я поднялся и пошел к телефону.

Сначала я позвонил в «Электро-физикал индастри К⁰». Никакого ответа. Я заглянул для верности в телефонный справочник. Номер оказался совсем другим. Я набрал номер, попросил «4-33», но, подумав, назвал свой отдел. «О! Вам нужен 59!» — ответила телефонистка и соединила меня. Кто-то ответил, и я сказал: «Позвоните мистера Колина Трэффорда!» — «Простите, — ответила девушка, — я не могу найти этой фамилии в списках».

Я повесил трубку. Стало очевидно, что я не работаю в институте. Поравмислив минуту, я позвонил к себе на Уормстер. Бодрый голос ответил тут же: «Уникальные пояса и корсеты». Я опустил трубку.

Я поискал в справочнике себя. Нашел: «Трэффорд, Колин У. 54 Хогарт Корт, Дачис Гарденс, С.У.7. СЛАВА

67024». Я набрал номер. Телефон на том конце звонил, но никто не снимал трубку.

Я вышел из телефонной будки, соображая, что делать дальше. Странно чувствовать себя иностранцем в своем городе, потерять ориентировку и не иметь даже комнаты в гостинице.

Подумав еще с минуту, я решил, что вернее и логичней всего поступать так, как поступил бы здешний Колин Трэффорд.

Если он не работает в институте, то, по крайней мере, у него есть дом, куда он может направить свои стопы!..

Хогар Корт — прекрасный жилой квартал. Упругий ковер и цветочные узоры по потолку и стенам украшали вестибюль моего дома. Швейцара не оказалось, и я прошел прямо в лифт. Дом производил впечатление маловатого для того, чтобы вместить в себя пятьдесят четыре квартиры, и я нажал верхнюю кнопку, предполагая попасть на свой этаж. Выйдя из лифта, я увидел прямо перед собой квартиру № 54. Я вынул связку ключей, выбрал, на мой взгляд, подходящий и угадал.

Сразу же за дверью оказалась маленькая передняя. Ничего особенного: белые с давленым рисунком обои. Коричневый на весь пол ковер, столик с телефоном и вазой, в ней немного цветов. Зеркало в приятной золоченой оправе. Рядом со столиком жесткое кресло. В коридорчик выходило несколько дверей. Я подождал.

— Алло! — позвал я громко и повторил несколько типе: — Алло, есть кто дома?

Никто не ответил. Я закрыл за собой дверь. Что дальше? А, да что там, ведь я был, да и есть, Колин Трэффорд! Я снял пальто. Оказалось, что положить его некуда. Заметил стенной шкаф. Там висело несколько вешней — мужских и женских. Повесил пальто туда же.

Я решил посмотреть, что собой представляет квартира. Не буду описывать всю обстановку, но в целом это была славная квартира и по размерам больше, чем мне сначала показалось. Хорошо и продуманно обставленная, без излишней экстравагантности, но и не бедно, — все в ней свидетельствовало о вкусе хозяев. Правда, отличном от моего. Но что такое вкус? Либо дань времени, либо утонченное отклонение от нормы. Я почувствовал здесь второе. Но стиль показался странным, и потому не очень привлекательным.

Забавно выглядела кухня. Под краном в нише раковина без отделения для мойки посуды, без обычной сушилки, никакого распылителя на кране. Пакет с мыльным порошком. Нет пластмассовых щеток для мытья посуды или других приспособлений для смещивания напитков. Электрическая старомодная плита, забавная панель освещения в три квадратных фута, вделанная в стену...

Гостиная просторная, с удобными креслами. В конструкции мебели ни единой тонкой детали в виде прута или рейки. Большая, витиевато украшенная радиола. На панели управления никаких признаков приема частотно-модулированных радиопередач. Освещение, как и в кухне, световыми, плоскими, похожими на стеклянные вафли панелями, установленными на стойках или вделанными в стены. Телевизора нет.

Я обошел всю квартиру. Женская спальня обставлена строго. Двуспальные кровати, ванная в мягких светлых тонах, дополнительная спальня с небольшой двуспальной кроватью. И так далее. Больше всего меня заинтересовала комната в конце коридора. Подобие кабинета. Одна стена силошь занята полками с книгами. Некоторые книги, особенно старые, я знал, другие видел впервые. Просторное кресло, кресло поменьше, у окна — широкий, покрытый кожей письменный стол. В окно сквозь голые ветви деревьев смотрело огромное пространство облаков и неба. На столе пишущая машинка, прикрытая легким чехлом, передвижная настольная лампа, несколько пачек бумаги, пачка сигарет, металлическая пепельница, пустая и чистая, и фотопортрет в кожаной рамке.

Я внимательно рассмотрел фотографию. Очаровательная женщина. Ей можно было дать двадцать четыре — двадцать пять лет. Интеллигентное, совсем незнакомое жизнерадостное лицо, на которое хотелось смотреть и смотреть.

Слева у стола стояла тумбочка, а на ней застекленная этажерка с восемью вертикальными секциями для книг. Книги были в ярких суперобложках и выглядели новыми. Справа стояла та самая, что я видел утром в магазине Хатгарда — «Юные дни жизни».

Остальные также принадлежали перу Колина Траффорда. Я сел в кресло и некоторое время рассматривал их сквозь стекло. Затем с трепетным любопытством взял и открыл «Юные дни жизни»...

Звук открываемой ключом двери я услышал примерно через полчаса. Я решил, что лучше показаться самому, чем быть неожиданно обнаруженным. Я открыл дверь кабинета: в конце коридора у столика я увидел женщину в замшевом полудлинном плаще, она складывала на столик принесенные свертки. На звук шагов она повернула ко мне голову. Это была она, правда, не в том настроении, что на фото. Когда я подошел, она взглянула на меня с удивлением. В выражении ее лица не было и подобия доброго приветствия любящей жены.

— О! — сказала она. — Ты дома? Что случилось?

— Случилось? — повторил я, пытаясь поддержать разговор.

— Ну насколько я понимаю, у тебя в это время назначена одна из столь важных встреч с Дикки, — сказала она с усмешкой.

— О! Ах это... да. Ему пришлось отложить это свидание, — растерянно промямлил я в ответ.

Она спокойно осмотрела меня. Очень странно, подумал я.

Я стоял, уставившись на нее. Не зная, что делать, сожалея о том, что не подумал заранее о неизбежной встрече. Дурак, не пощадился даже узнать ее имя, вместо того чтобы читать «Юные дни жизни». Было ясно, что и сказал я что-то не то и невпопад. Кроме того, ее реакция на мой ответ совсем выбила меня из равновесия. Такого со мной никогда не случалось... Когда тебе тридцать три, попасть в такое безнадежно дурацкое положение нелегко и далеко не так приятно.

Так мы стояли, уставившись друг на друга: она недобродушно-хмуро, я — пытаясь совладать со своей растерянностью и не в силах вымолвить слова.

Она начала медленно расстегивать плащ. Уверенности тоже не хватало.

— Если... — начала она.

Но в этот момент зазвонил телефон. Казалось, довольная отсрочкой, она подняла трубку. В тишине я различил женский голос, спрашивающий Колина.

— Да, — сказала она. — Он здесь.

И она протянула мне трубку, с любопытством глядя на меня.

— Хэлло, Колин слушает, — произнес я.

— О, в самом деле, — ответил голос. — Разрешите спросить почему?

— Э-э... я не вполне... — начал я, но она прервала.

— Слушай, Колин. Я уже битый час жду тебя, полагая, что если ты не можешь прийти, то догадаешься хоть позвонить. Теперь выясняется, что ты торчишь дома. Очень мило, дорогой!

— Я... Кто это? Кто говорит? — Это все, что я мог сказать. Я скорее почувствовал, чем увидел, как молодая женщина рядом замерла, наполовину сняв плащ.

— О, ради бога, — в трубке звучало раздражение. — Что это за глупая игра? Кто это, как ты думаешь?

— Это я как раз и пытаюсь выяснить! — сказал я.

— О, перестань паясничать, Колин... Это ты потому, что Оттилия рядом? Готова спорить, что это так, а ты идиот. Она первая подняла трубку, так что прекрасно знает, что это я.

— Так, может, мне лучше спросить ее, кто вы? — предложил я.

— О, ты и впрямь туп как олух. Иди и отоспись. — Она, очевидно, бросила трубку, и телефон замолк.

Я, в свою очередь, положил трубку. Молодая женщина смотрела на меня в замешательстве. Она, разумеется, слышала все, что говорилось по телефону, почти так же ясно, как я. Она отвернулась, медленно сняла плащ и не спеша повесила его в шкаф. Когда с этим было покончено, она снова повернулась ко мне.

— Не могу понять, — сказала она, — может быть, ты и в самом деле обалдел? Что все это значит? Что натворила драгоценная Дикки?

— Дикки? — спросил я, желая узнать побольше. Легкая морщинка между ее бровей стала глубже.

— О Колин, неужели ты думаешь, что я до сего времени не узнаю голос Дикки по телефону?

Это была моя грубейшая ошибка. Действительно, трудно представить себе, что можно не отличить по голосу мужчину от женщины. И поскольку мне не хотелось казаться спящим, я должен был разрядить обстановку.

— Слушай, не пройти ли нам в гостиную. Мне нужно кое-что рассказать тебе! — предложил я.

Я сел в кресло и задумался — с чего начать? Если бы даже мне самому было ясно все, что произошло, — задача была не из легких. Но как доказать ей, что, хоть я и обладаю физической оболочкой Колина Трэффорда и сам являюсь Колином Трэффордом, все же я не тот Колин Трэффорд, который написал книги и женат на ней,

что я всего лишь разновидность Колина Трэффорда из другого альтернативного мира? Необходимо было придумать какой-то подход, чтобы объяснение не привело к немедленному вызову врача-психиатра.

— Итак, что ты скажешь? — снова спросила она.

— Это трудно объяснить. — Я сознательно медлил.

— Конечно, трудно! — сказала она без тени одобрения и добавила: — Было бы, наверное, легче, если бы ты не смотрел на меня. Так. И мне было бы лучше.

— Со мною произошли весьма странные превращения, — начал я.

— О дорогой, опять?! — воскликнула она. — Чего ты хочешь — моего счастья или еще чего-нибудь?

Я остановился, несколько смешавшись.

— А что, разве с ним это случалось и раньше? — спросил я.

Она холодно взглянула на меня.

— «С ним»? С кем «с ним»? Мне казалось, ты говорил о себе? А я имела в виду на этот раз Дикки, а перед этим — Фрэнсис, а перед ней Люси... А теперь самый странный и удивительный отказ от Дикки... Потому, мне нечему удивляться?

Я быстро и много узнавал о своем двойнике. Но что мне до него — он из другого мира. Я сделал попытку продолжить объяснение:

— Нет, ты не понимаешь. Речь идет совсем о другом.

— Конечно, я не понимаю. Разве жены способны понимать? У вас всегда все другое. Ну да ладно, если все это для вас так важно... — и она начала подниматься с кресла...

— О, не уходи, пожалуйста! — с волнением сказал я.

Она сдерживалась, рассматривая меня. Морщинка появилась снова.

— Нет! Я думаю, мне тебя не понять. Наконец, я не смогу...

Она продолжала вглядываться в меня с тревогой и, как мне показалось, с некоторой неуверенностью.

Когда вы ищете понимания, счастья, обращаться к человеку в безличной форме нельзя. Но если вы не знаете, как обратиться — «дорогая», «моя хорошая», просто по имени или ласково, с детским уменьшительным именем — ваше дело совсем дрянь, особенно если вы и раньше не понимали друг друга.

— Оттилия, милая, — начал я и сразу понял, что это

была непривычная для нее форма обращения. Ее глаза мгновенно расширились, но я пошел напролом: — Это совсем не то, о чем ты думаешь, ни капельки. Дело в том, что я, ну, в общем, не совсем тот человек...

Она снова приняла свой тон.

— Довольно странно, но мне порой казалось то же самое, — сказала она, — и я припоминаю, что ты говорил что-то подобное не раз и раньше. Ну хорошо, позволь продолжить вместо тебя. Итак, ты не тот человек, за кого я вышла замуж, и тебе нужен развод, и ты, наверное, боишься, что муж Дикки подаст в суд и будет скандал? Или... О господи, как мне надоело все это...

— Нет, нет! — в отчаянии воскликнул я. — Совсем, совсем не то. Наберись, пожалуйста, терпения. Эти вещи объяснить чрезвычайно трудно...

Я помолчал, наблюдая за ней. Она смотрела на меня, и, хотя морщина не разгладилась, глаза выражали скорее усталость, чем недовольство.

— Что же случилось с тобой?.. — напомнила она.

— Это я и хочу рассказать тебе.

Но я сомневался, слушает ли она. Глаза ее вдруг расширились, она отвела взгляд.

— Нет! — словно выдохнула она. — Нет и нет!

Казалось, она вот-вот заплачет. Она плотно сжала коленями свои ладони и прошептала:

— О нет, о, будь милостив, боже — нет! Только не нужно опять... Да хватит же терзать меня!.. Не надо... не надо!

Она вскочила и, прежде чем я успел подняться с кресла, выбежала из комнаты.

Колин Трэффорд умолк, закурил новую сигарету и по-временил немного, прежде чем продолжать:

— Итак, вы, наверное, уже поняли, что миссис Трэффорд была урожденной Оттилией Харшом. Родилась она в 1928 году, а замуж вышла в 1949-м. Ее отец погиб в авиационной катастрофе в 1938 году. Я не помню, к сожалению, чтобы она называла отца по имени. Если бы я знал, что вернусь в этот мир, я бы спросил и записал массу событий и имен. Но, увы, я не мог предполагать, что подобное невероятное превращение может случиться дважды...

Я сделал все возможное, и не только для удовлетворе-

ния своего любопытства, чтобы установить время, когда произошел раскол миров. Должна была быть, как я понимаю, некоторая исходная точка, когда, может быть, случайно произошли основные события. Поиск этой точки приблизил бы нас к определению того момента, когда был расщеплен сам элемент времени и время стало течь уже по двум различным каналам.

Может, такое происходит всегда, но мы этого просто не замечаем. Непрерывное раздвоение одного измерения на неопределенное количество каналов приводит к незаметным вариациям обстановки в одних случаях и к заметным — в других. Может быть, такие случайные разветвления в истории и привели к поражению Александра Македонского, разбитого персами, к победе Ганнибала, к тому, что Цезарь не перешел Рубикон. Бесконечное множество случайных расхождений и обратных самопротивольных соединений потоков времени... Кто знает? Может, и вся вселенная, которую мы теперь знаем, — это результат комбинации случайных совпадений. А почему бы и нет? Но я не смог достаточно точно определить, когда произошло расщепление времени в моем случае.

Это было, представляется мне, где-то в конце 1926-го, начале 1927 года. Позднее не могло быть, исходя из сравнения дат различных событий, записи о которых имелись.

Именно в это время что-то произошло или, наоборот, не произошло из того, что должно было произойти. Это привело помимо всего прочего к тому, что Гитлер не пришел к власти, что не было второй мировой войны, и это задержало осуществление расщепления ядра.

Для меня, как я уже сказал, все это было тогда не более чем любопытство. Все мои непосредственные действия и мысли были заняты главным для меня, вы понимаете — Оттилией.

Вы знаете, я был женат и обожал свою жену. Мы были, как говорится, счастливой парой, и я никогда не сомневался в этом, пока... пока со мною не случилось всего этого.

Я не хочу ничего сказать против Деллы, и, думаю, она была вполне счастлива, но я нескончально благодарен одному — что все это случилось уже не при ее жизни. Она так никогда и не узнала, что была для меня «не той женщиной».

И Оттилия вышла замуж не за того человека... Или лучше сказать — она не встретила «предназначенного

именно ей человека. Она влюбилась в другого. Изначально, нет сомнения, он тоже любил ее. Но через год она почувствовала не только любовь, но и ненависть к нему. Ее Колин Траффорд выглядел совершенно как я — вплоть до шрама на большом пальце левой руки, изуродованной электрическим вентилятором. Это доказывало, что до 1926—1927 годов он был собственно мной.

Я понимал, что общими у нас были и некоторые манеры, и голос. Мы отличались запасом слов и произношением, как я заметил, прослушивая его голос на матнитофоне. Была разница и в других незначительных деталях — манере причесываться, подстригать усы. Не было ясно, что я — это он и он — это я. У него были те же родители, та же наследственность, та же биография. И, если я правильно определил время превращения, мы должны были иметь одинаковые воспоминания, по крайней мере, до пятилетнего возраста. Позднее уже прослеживались различия. Окружение или жизненный опыт привели постепенно к заметной разнице.

Мне кажется это объяснение логичным, как по-вашему? Ведь жизнь всегда начинается похоже, и только позднее человек меняется под воздействием среды. Как все происходило с этим, другим, Колином Траффордом, я не знаю, но мне было немного больно прослеживать развитие моего второго «я», как будто я разглядывал себя в постепенно и неожиданно искривляющихся зеркалах.

Была какая-то сдержанность и осторожность, ожидание чего-то в глазах и голосе Оттилии, когда она рассказывала мне о нем. Более того: через несколько дней я внимательно прочел книги, написанные Траффордом. Ранние произведения не вызывали неприязни. Но последующие нравились все меньше и меньше.

Без сомнения, все растущее внимание к извращениям и описание все большего числа жестокостей свидетельствовали о расчете на сенсацию, а следовательно, на успех книги.

Более того, с каждой книгой мое имя на обложках печаталось все более крупным шрифтом.

Я обнаружил и последние рукописи. Я бы мог издать их, но я знал, что не стану этого делать. Уж если бы я решил продолжать литературную карьеру, я написал бы свою книгу. В любом случае мне не нужно было беспокоиться о куске хлеба на жизнь: все, что касалось войны, могло дать большие доходы. Достижения в области фи-

зики, известные мне, обгоняли их знания на целое поколение. Если они и имели радар, то он, видимо, пока что был засекречен военными. Моих знаний было достаточно, чтобы прослыть гением и обеспечить свое будущее, как я хотел. Стоило захотеть.

Он улыбнулся, встряхнув головой и продолжал:

— Поскольку первый шок прошел, и я начал разбираться в происшедшем, причин для особых тревог не было, я наконец встретил Оттилию и потому ни о чем не жалел. Нужно было лишь приспособиться к обстановке. В общем, было полезно настроиться в поведении на предвоенные годы. В деталях трудно было разобраться: тут и неизвестные тебе знакомые, и приятели, которые не узнавали тебя. У всех неизвестное тебе прошлое: кое у кого из них мужья и жены, которых я знал, у некоторых — совсем неожиданные партнёры.

Бывали удивительные случаи. За стойкой бара в отеле Гайд-парка я встретил бармена — кудрявого весельчака, которого я видел в последний раз мертвым с простреленной навылет головой. Я видел и Деллу, мою жену, выходящей из ресторана под руку с каким-то долговязым типом. Она выглядела веселой, и мне было не по себе, когда она безучастно посмотрела на меня как на постороннего. Мне казалось в тот момент, что оба мы привидения. Но было радостно, что она жива-здорова и пережила свой смертный час 1951 года хотя бы в этом измерении.

Наибольшую неловкость я испытывал, когда встречался с незнакомыми людьми, которых, как потом оказывалось, я должен был знать. Круг знакомых моего двойника был обширен и удивителен. Я уже подумывал, не объявить ли себя психически нездоровым, перетрудившимся — это бы мне помогло при встречах с людьми.

И единственная вещь, которая не пришла тогда мне в голову, — это возможность еще одного сдвига времен, но на этот раз в обратном направлении.

Впрочем, я рад, что тогда не додумался до этого. Иначе были бы испорчены три самых счастливых недели моей жизни.

Я пытался объяснить Оттилии, что произошло со мной, но для нее это ничего не значило, и я оставил свои объяснения. По-моему, она решила про себя, что со мною что-то случилось на почве переутомления и что теперь я опять чувствую себя лучше и снова становлюсь самим со-

бою... каким она знала меня... что-то в этом роде... Но, впрочем, объяснение не очень занимало ее — важны были последствия...

И я согласен с нею. Как она была права! В жизни нет ничего значительнее, чем любовь двух людей друг к другу. По-моему, ничего. А я любил. Неважно, как я нашел единственную незнакомку, о которой мечтал всю жизнь. Я ее нашел, я был так счастлив, как раньше и представить себе не мог. Поверьте, обычными словами этого не объяснишь, но на моей «вершине мира» стало все удивительно светло и ярко. Я был полон легкости и уверенности, как будто слегка опьянен. Я мог справиться с чем угодно. Я думаю, и она чувствовала то же. Да, я в этом уверен. Она быстро освобождалась от тяжелых воспоминаний прошлых лет. Ее вера в счастливое будущее росла с каждым днем... Если бы я знал! Но разве мог я знать? И что я мог поделать?..

Он снова прервал свой рассказ, глядя в огонь камина. На этот раз он молчал долго. Доктор, чтобы привлечь его внимание, заерзая в кресле и спросил:

— Что же случилось потом?

Колин Трэффорд посмотрел на него отсутствующим взглядом.

— Случилось? — повторил он. — Если бы я знал, я бы, может быть... Но я не знаю... Нечего тут знать... Все это беспричинно, вдруг... Однажды я уснул вечером рядом с Оттилией, а проснулся утром на койке в больнице снова в этом мире... Вот и все... Все это... да, случайно, необъяснимо, все наугад.

Во время длительной паузы доктор Харшом не спеша набил табаком трубку, тщательно раскурил ее, поудобнее уселся в кресле и сказал тоном, не допускающим возражений:

— Жаль, что вы не верите мне. Иначе вы никогда не затеяли бы этих поисков.

Нет, вы полагаете, что существует модель или, по-вашему, две модели, весьма похожие между собой вначале, которые логически и последовательно развиваются в большее число вариантов... и что вы с вашей психикой, называйте ее как вам угодно, были не более чем случайным отклонением.

Однако давайте не будем вдаваться в философию или метафизику того, что вы назвали расщеплением реальности: объяснения могут быть различны.

Допустим, я не только уверен в реальности случившегося и полностью разделяю ваши убеждения, но еще имею собственные суждения о их причине.

Я разделяю ваши убеждения по ряду причин, и среди них не последней является, как я уже говорил, астрономически малая вероятность сочетания имени Оттилия с фамилией Харшом. Разумеется, вы могли случайно увидеть или услышать то и другое, и они подсознательно запечатлелись в вашей памяти. Но это настолько маловероятно, что я отбрасываю такой вариант.

Тогда давайте рассуждать далее. Мне кажется, вы делаете несколько совершенно беспочвенных предположений. Например, вы считаете, что, поскольку Оттилия Харшом существует, как вы говорите, в «том измерении», она должна быть и в нашем, реальном для нас с вами мире. Я так не думаю, исходя из сказанного вами же. Допускаю, что она могла существовать, тем более что имя Оттилия встречалось и в моей родне. Но вероятность того, что ее нет, во много раз больше. Не вы ли рассказывали, что видели знакомых, которые были женаты на других женщинах? А поэтому не вероятнее ли всего то, что условия, породившие ребенка Оттилию в одном мире, не повторились в иском, и другой Оттилии там вообще не появилось? Так, наверное, и случилось.

Поверьте, я сочувствую вам. Я понимаю ваши искренние стремления. Но не находитесь ли вы в положении нищущего молодую женщину-идеал, которой, увы, никогда не рождалось? Вы должны понять одно: если бы она существовала сейчас или в прошлом, я бы знал об этом — справочная фирмы Сомерсет имела бы ее в списках и тогда ваши собственные поиски не были бы столь безнадежны.

Я советую вам, мой мальчик, согласиться с этим, это в ваших интересах. Все против вас, и у вас нет ни одного шанса.

— Только моя внутренняя убежденность, — вставил Колин. — Может, это и против логики, тем не менее это так.

— Вам следует отделаться от этой убежденности. Неважели вы не понимаете, что помимо всего есть законы права и морали? Если она и существует в этом мире, она, вероятно, уже давно замужем.

— Да, но не за тем человеком, — мгновенно парировал Колин.

— И даже это не обязательно. Ваш двойник оказался не похожим на вас. Ее двойник, если он существует, вероятно, также отличается от нее, от той, которую вы знаете. Остается вероятность лишь внешнего сходства. Вы должны согласиться, дружище, что в вашей затее «куда ни кинь — всюду клин», стоит только здраво поразмыслить. — Доктор внимательно посмотрел на Колина и, кивнув головой, сказал: — Где-то в глубине души вы остали место для надежды на успех. Кончайте с этим.

Колин улыбнулся:

— Как это все по-ньютоновски у вас, доктор! Я не согласен. Случайные величины всегда случаи, а потому шансы все же есть.

— Вы неисправимы, молодой человек, — сказал Харшом. — Если бы существовала хоть малейшая надежда на успех, ваша решимость заслуживала бы самых добрых пожеланий. Но так уж сложились обстоятельства, что я советую обратить вашу настойчивость к другим, более достижимым целям.

Его трубка погасла, и он снова раскурил ее.

— Это, — продолжал он, — мои рекомендации врача-профессионала. А теперь, если у вас есть еще время, мне бы хотелось услышать, что вы думаете. Не пытайтесь утверждать, что мне понятно все с вами случившееся, я признаюсь, что даже размышления о том, что могло бы еще быть, необычайны и увлекательны. Нет ничего противоестественного в желании удовлетворить свое любопытство, узнать, как ваш собственный двойник выйдет из такого положения и как будут себя вести при этом другие. Например, наш нынешний премьер-министр и его двойник — получили бы они в том, другом, мире работу? Возьмем сэра Уинстона* — или там он уже не сэр Уинстон? Как бы он в другом мире обошелся без второй мировой войны, как бы расцвели его таланты? А что было бы с нашей доброй старушкой — лейбористской партией? Возникают бесчисленные вопросы...

На следующее утро после позднего завтрака доктор Харшом, подавая пальто Колину, проводил гостя словами напутствия:

* Имеется в виду Уинстон Черчилль. (Прим. ред.)

— Я провел остаток ночи, обдумывая все произошедшее с вами, — признался он. — Какое бы ни было объяснение, вам следует все записать, каждую деталь, которую вы помните. Если хотите, без указания на действительных лиц, но обязательно зашифруйте. Возможно, со временем это уже не будет казаться чудом и подтвердит еще чьи-нибудь опыты или теоретические разработки. Так что запишите все, а уж потом выкиньте из головы. Постарайтесь забыть ваши идилические предположения. Ее не существует. Существовавшие в этом мире Оттилии Харшом давным-давно скончались. Забудьте ее. Спасибо вам за доверие. Я хоть и любознательен, но умею хранить секреты. Если понадобится, я готов помочь вам...

Он проводил взглядом отъезжающую машину. Колин помахал ему рукой у поворота за угол. Доктор Харшом покачал головой. Он понимал, что мог бы сдержаться при расставании, промолчать, но чувство долга оказалось сильнее. Он нахмурился и направился в дом. Как ни фантастична эта одержимость молодого человека, было почти ясно: рано или поздно он загонит себя вконец.

В течение нескольких последующих недель доктор Харшом не имел известий о Колине, он узнал только, что Колин Трэффорд не последовал его советам и продолжает поиски. Питер Хариом на Корнуэлле и Горольд Харшом в Дургаме получили запросы относительно мисс Оттилии Харшом, которой, по их сведениям, не существует.

Прошло еще несколько месяцев. И вдруг — почтовая открытка из Канады. На одной стороне — вид на здание Парламента в Оттаве, на обороте — краткое сообщение: «Нашел. Поздравляйте. К. Т.».

Доктор Харшом разглядывал открытку и улыбался. Было приятно. Значит, он правильно оценил Колина — этого милого молодого человека. Было бы жаль, если бы он плохо кончил со своими бесполезными поисками. Конечно, трудно поверить даже на минуту... но если нашлась разумная молодая женщина, сумевшая убедить его, что она и есть перевоплощение его любимой, то это хорошо для них обоих... Навязчивая идея развеялась. Доктор хотел немедленно откликнуться поздравлением, но на открытке не было обратного адреса.

Через несколько недель пришла еще открытка из Ве-

нечии с изображением площади святого Марка. Письмо было опять лаконичным, но с обратным адресом гостиницы: «Медовый месяц. Можно потом привезти ее к вам?»

Доктор Харшом колебался. Как врач, он готов был отказать. Не следовало напоминать молодому человеку о его прошлом состоянии. С другой стороны, отказ прозвучал бы не только странно, но и бесчеловечно. В конце концов он ответил на открытке с изображением Хирфордского собора: «Приезжайте. Когда?»

Только в конце августа появился Колин. Он приехал на машине, загорелый и бодрый. Выглядел он гораздо лучше, чем в первый свой визит. Доктор Харшом был рад ему, но удивился, что в машине он один.

— Как я понял из вашей открытки, вы собирались прибыть сюда с невестой, — запротестовал он.

— Да, да, так было, так оно и есть, — заверил Колин. — Она в отеле. Я... я просто хотел сначала кое-что рассказать вам...

— Располагайтесь свободно, — пригласил доктор.

Колин сел на край кресла, локти на колени, кисти рук свесил между колен.

— Главное для меня — это поблагодарить вас, доктор. Правда, я никогда не сумею отблагодарить вас как надо. Если бы вы не пригласили меня тогда, я едва ли нашел бы ее.

Доктор Харшом нахмурился.

— По-моему, все, что я делал, — это слушал и предлагал, как мне казалось, для вашей же пользы то, что было вам неприятно и что вы отвергли.

— И мне тогда так казалось, — согласился Колин. — Казалось, вы захлопнули передо мной все двери и выхода не оставили. И именно тогда я осмотрелся и увидел один-единственный путь, сулящий надежду.

— Я не помню, чтобы я оставил вам какую-либо лазейку, — ответил доктор.

— Конечно, нет, вы правы... и все-таки выход был. Вы наметили мне самую последнюю и узенькую тропинку, и я пошел по ней... Сейчас вы узнаете, если немного потерпите. Когда я понял, как ничтожно малы мои возможности, я прибегнул к помощи профессионалов. Они — дальний народ, они отметут все, что не обещает делового

успеха. Они мне и не сказали ничего по сути, кроме того, что один из потерянных следов ее родителей ведет в Канаду. Тогда я обратился к профессионалам в Канаде. Это большая страна. Много людей туда переселилось. В ней ежедневно ведутся самые разнообразные поиски. Появились безнадежные ответы, и стало совсем грустно. Но вот они нашли путь, а уже на следующей неделе мне сообщили, что очень похожая женщина работает секретарем в одной из юридических контор в Оттаве. Тогда я сообщил в ЭФИ, что мне нужен отпуск за свой счет, а позже, с новыми силами...

— Минутку, — прервал его доктор, — если бы вы спросили меня, то я бы сказал вам, что в Канаде нет никого из семейства Харшомов. Иначе я бы знал, поскольку...

— О, я так и думал. Ее фамилия была не Харшом, она носила фамилию Гейл, — прервал Колин, как бы извиняясь.

— Ах вот как! Надеюсь, и звали ее не Оттилией? — мрачно спросил доктор.

— Нет, ее звали мисс Белиндой, — ответил Колин.

Доктор поморгал, открыл было рот, но решил прощурить. Колин продолжал:

— И тогда я перелетел через океан, чтобы убедиться. Это был самый сумасшедший перелет из всех, что я помню. Но там все обернулось хорошо. Стоило мне увидеть ее издали. Я не мог ошибиться — это была она. Я мог бы узнать ее и среди десятков тысяч. Даже если бы ее волосы и одежда были совсем другими. — Он на мгновенно остановился, следя за выражением лица доктора. — Как бы то ни было, — продолжал он, — я знал! И было чертовски трудно остановить себя, чтобы не броситься к ней. Но у меня хватило ума воздержаться. Нужно было подумать, как ей представиться. Потом нас представили, или что-то в этом духе.

Любопытство вынудило доктора спросить:

— Так, так! Все это легко и забавно, как в кино! А что же ее муж?

— Муж? — мгновенно насторожился Колин.

— Ну да, вы же сказали, что фамилия ее Гейл, — заметил доктор.

— Я же, кажется, сказал мисс Белинда Гейл. Она была однажды обручена, но никогда не выходила замуж.

Уверяю вас — в этом было веление судьбы, как говорят греки.

— Ну а если... — начал доктор Харшом и сразу же замедлил, контролируя свои слова.

— Ничего бы не изменилось, если бы она и была замужем, — заявил с беспардонной уверенностью Колин. — Он был все равно был не тем человеком для нее.

Доктор не стал возражать, и Колин продолжал свой рассказ:

— Никаких затруднений или сложностей не было. Она жила в квартире с матерью. Вполне прилично зарабатывала. Мать ее была одинока. Она получала пенсию за мужа, канадского военного летчика, погибшего в войну под Берлином. Так что материально их жизнь была хорошо обеспеченной.

Ну вот, как видите, ничего особенного. Ее мать не слишком радостно встретила меня. Но она оказалась благородной женщиной и, очевидно, поняла, что мы поладим. Так что и эта часть моего представления прошла проще, чем можно было ожидать.

Колин сделал паузу, и доктор успел заметить:

— Конечно, мне приятно это слышать. Но признаюсь, мне не совсем ясно, почему вы приехали без жены?

Колин посерезнел.

— Видите ли, по-моему, и она так думает... я еще не все рассказал... Это деликатный вопрос...

— Не спешите, я сдаюсь! — дружелюбно сказал доктор.

Колин колебался.

— Ладно. Так будет честнее перед миссис Гейл. Я сам расскажу.

Я не намерен рассказывать пока об Оттилии, то есть о том, почему я отправился в Оттаву. Это потом. Поскольку вы единственный, кому я рассказал все, так будет лучше.

Мне не хотелось, чтобы они думали, что я слегка чокнутый. Все шло как надо, пока я не проговорился. Это случилось накануне нашей помолвки. Белинды в комнате не было. Она занималась последними приготовлениями. Мы были наедине с моей будущей тещей, и я старался всячески успокоить ее разговорами.

И, помнится, вот что я сказал: «Моя работа в институте вполне устраивает меня, весьма перспективна и имеет неоспоримое отношение к Канаде, а поэтому

смею уверить вас, что, если Оттилии не понравится жизнь в Англии...»

Я сразу остановился, так как миссис Гейл вздрогнула, выпрямилась в кресле и уставилась на меня с отвисшей от изумления челюстью. Затем она неуверенно спросила: «Что вы сказали?»

Я заметил свою ошибку, но слишком поздно. Чтобы исправиться, я пояснил: «Я сказал, что если Белинде не понравится...» Она прервала меня: «Вы не сказали «Белинде», вы сказали «Оттилии». — «Э-э, может быть, я оговорился, — заметил я, — но я имел в виду, что если ей не понравится...» — «Но почему вы назвали ее Оттилией?» — настаивала она.

Она настаивала, и мне некуда было деваться.

«Знаете ли, просто так я называю ее про себя», — признался я.

«Но почему, почему вы называете ее про себя Оттилией?» — добивалась она.

Я вгляделся в нее внимательнее. Она побледнела, и рука ее дрожала. Она была потрясена и напугана. Я перестал водить ее за нос.

«Я не думал, что так получится», — сказал я.

Она посмотрела на меня испытующе и немного спокойней.

«Но почему — вы должны сказать мне. Что вы знаете о нас?» — «Просто при других обстоятельствах она бы не была Белиндой Гейл. Она была бы Оттилией Харшом».

Она продолжала всматриваться в мое лицо, в мои глаза, долго и пристально, все еще бледная и встревоженная.

«Я не могу понять, — сказала она как бы про себя. — Вы могли знать о Харшоме — да, вы могли это узнать от кого-то или угадать... Или она вам сказала?»

Я отрицательно покачал головой.

«Неважно, вы могли узнать, — продолжала она, — но имя Оттилия... Никто, кроме меня, не знает истории этого имени... — И она покачала головой. — Я даже не говорила об этом Регги, моему мужу. Когда он спросил меня, не назвать ли ее Белиндой, я согласилась с ним. Он был так добр ко мне... Ему и в голову не приходило, что я хотела назвать ее Оттилией. И я никому не говорила об этом: ни раньше, ни потом... Так как же вы узнали?...»

Я взял ее руку, сжал ее, стараясь успокоить.

«Нет причин волноваться. Считайте, что это я увидел во сне, просто во сне, ну представилось мне, что ли... Просто я, мне кажется, знаю...»

Она качнула головой, не соглашаясь, и после короткой паузы сказала уже спокойно: «Никто, кроме меня, не знал... Это было летом 1927 года. Мы были на реке, в лодке, привязанной под ивой. Белый катер скользил мимо нас, мы посмотрели ему вслед и прочитали имя у него на борту. Малcolm сказал...»

Если Колин и заметил, как неожиданно вздрогнул доктор Харшом, то выдал это только тем, что повторил два последних слова: «Малcolm сказал: «Оттилия — отличное имя, не так ли? Оно уже есть в нашей семье. У моего отца была сестра Оттилия, она умерла, когда была еще маленькой девочкой. Если бы у меня была дочь, я хотел бы назвать ее Оттилией...»

Колин Трэффорд прервал рассказ и посмотрел на доктора. Затем продолжил:

— После этого она долго молчала, потом сказала: «Он так никогда и не узнал этого. Бедный Малcolm, он погиб прежде, чем я поняла, что у нас будет ребенок, мне так хотелось, помня его, назвать ее Оттилией. Он этого хотел... И я бы хотела...» И она тихо заплакала...

Доктор Харшом оперся на стол локтем одной руки, второй рукой прикрыл глаза. Он оставался некоторое время неподвижным.

Наконец он вытащил носовой платок и решительно прочистил нос:

— Я слышал, что там была девочка, и даже наводил справки, но мне сказали, что она вскоре вышла замуж. Я думал о ней, но почему она не обратилась ко мне? Я бы позаботился о них.

— Она не знала об этом. Она обожала Регги Гейла. И он ее любил и хотел, чтобы ребенок носил его имя! — заключил Колин. Он встал и подошел к окну. Оностоял там спиной к доктору довольно долго, больше минуты, пока не услышал движение позади себя. Доктор Харшом поднялся и направился к буфету.

— Мне бы хотелось выпить ромашку. Предлагаю тост за восстановление порядка и гибель случайного.

— Согласен, — сказал Колин. — Мне хочется лишь добавить, что вы были в конце концов правы. Оттилии Харшом не существует, и пора мне представить вам вашу внучку, миссис Колин Трэффорд.

КОЛЕСО

Старик сидел на стуле, прислонившись к побеленной стене. Это был его стул. Он аккуратно обил его заячьими шкурками. Слишком уж невелико было расстояние между его собственной шкурой и костями. Никто другой на ферме не осмелился бы сесть на стул старика. Длинные полоски кожи, из которых он собирался сплести кнут, по-прежнему свисали у него между пальцами, но стул был таким удобным, что руки старика опустились и он начал мерно кивать головой в старческой дреме.

Двор был совершенно пуст. Лишь несколько кур копались в пыли, скорее из любопытства, чем в надежде что-либо отыскать, однако звуки, доносившиеся отовсюду, свидетельствовали о том, что здесь есть люди, которые не могут позволить себе соснуть после обеда. Из-за дома слышались звонкие удары пустого ведра о воду, скрип ворота, когда ведро вытягивали из колодца, и снова удар о воду. В сарайчике в конце двора что-то толкли в ступне, и мертвые, монотонные звуки совсем убаюкали старика. Его голова склонялась все ниже.

Вдруг из-за невысокой стены, окружавшей двор, послышался какой-то новый, медленно приближавшийся звук. Страшный грохот и дребезжание, чередовавшиеся с пронзительным скрипом. Старик по-прежнему дремал, но уже через мгновение он открыл глаза и удивленно посмотрел на калитку, пытаясь определить, откуда доносятся эти звуки. Над стеной показалась голова мальчика. Глаза его восторженно сияли, он не окликнул деда, а поспешил к калитке и вошел во двор. Он гордо катил перед собой ящик на четырех деревянных колесах.

Старик испуганно вскочил со стула. Он замахал обеими руками, как бы выталкивая мальчика со двора. Мальчик остановился. Выражение ликующей радости на его лице сменилось удивлением, и он молча уставился на старика, который так грубо прогонял его. И пока мальчик стоял в нерешительности, старик, по-прежнему прогоняя его одной рукой, приложил палец другой руки к губам и медленно пошел к калитке. Мальчик неохотно повернулся назад. Но было слишком поздно. Стук в сарайчике прекратился, и на пороге появилась немолодая женщина. Рот у нее раскрылся в беззвучном крике, глаза выпучились. Нижняя челюсть вяло отвисла, она перекрестилась и лишь затем закричала.

Крик ее расколол мирную послеобеденную тишину. Ведро в последний раз упало в колодец, из-за угла дома появилась молодая женщина с широко раскрытыми удивленными глазами. Она закрыла рот тыльной стороной ладони и тоже перекрестилась. Из дверей конюшни выбежал парень и замер на месте. Еще одна молодая женщина выскочила из дома и остановилась, будто наткнулась на невидимую стену. Маленькая девочка, которая выбежала вслед за ней, в безотчетном испуге зарылась лицом в ее юбку.

Мальчик застыл под их взглядами. Удивление в его глазах сменилось страхом. Он переводил взгляд с одного испуганного лица на другое до тех пор, пока не встретился глазами со стариком, и это немного ободрило его. Он глотнул и заговорил со слезами в голосе:

— Дедушка, почему они все так на меня смотрят?

Слова мальчика, казалось, разрядили напряжение и вернули к жизни немолодую женщину. Она схватила вилы, прислоненные к стене сарайчика, нацелила их в ребенка, быстро прошла к калитке, чтобы отрезать ему путь, и резко приказала:

— Иди в сарай! Быстрее!

— Мама!.. — испугался мальчик.

— Я тебе больше не мама! — услышал он в ответ.

В выражении ее возбужденного лица мальчик почувствовал ненависть. Он заплакал.

— Иди, иди! — повторяла она безжалостно. — Иди в сарай!

Насмерть перепуганный мальчик понялся было от нее, но вдруг резко повернулся и побежал в сарай. Женщина закрыла за ним дверь и задвинула засов. Она обвела глазами окружающих, словно бросая им вызов, приглашая высказаться, но все молчали. Парень скрылся в спасительном сумраке конюшни, обе молодые женщины как сквозь землю провалились, прихватив маленькую девочку с собою. Женщина осталась с глазу на глаз со стариком, который молча рассматривал ящик, стоявший на колесах.

Вдруг женщина закрыла лицо руками, у нее вырвался приглушенный стон и слезы потекли между нальцами. Старик повернул к ней лицо, лишенное всякого выражения. Женщина немного успокоилась.

— Никак не могу поверить, чтобы мой маленький Дэйви мог такое сделать, — сказала она.

— Если бы ты не кричала, никто бы не узнал, — ответил старик.

Когда до женщины дошли его слова, лицо ее снова приобрело суровое выражение.

— Это ты его научил? — спросила она подозрительно.

Старик покачал головой.

— Я старик, но я еще не выжил из ума. И я люблю Дэйви, — добавил он.

— Ты вредный, — возразила женщина. — Зачем ты это сказал?

— Но это правда.

— Во мне еще остался страх божий. Я не потерплю дьявола в своем доме, в каком бы виде он ни явился. А когда я вижу его, я знаю свой долг.

Старик вздохнул, собираясь ответить, но передумал. Он только покачал головою, повернулся и побрел к своему стулу. Казалось, что этот разговор еще больше его состарил.

В дверь легонько постучали, послышалось предостерегающее «ш-ш-ш!», и Дэйви увидел на мгновение клочок ночного неба. Потом дверь снова закрылась.

— Ты ужинал? — спросил голос.

— Нет, дедушка, никто не приходил.

Старик хмыкнул.

— Еще бы. После того, как ты всех их так напугал. Держи. Это курица.

Дэйви протянул руку и нашупал протянутый сверток. Пока он расправлялся с куриной ножкой, старик искал в темноте, на что бы сесть. Наконец он уселся с глубоким вздохом.

— Плохо дело, малыш. Они послали за священником. Он завтра приедет.

— Дедушка, ну скажи хоть ты, что я такого сделал?

— Дэйви! — укоризненно протянул старик.

— Честное слово, я не виноват.

— Ладно. Послушай, Дэйви. Каждое воскресенье ты ходишь в церковь. Как ты молишься?

Мальчик начал бормотать молитву.

— Вот это, — прервал его дед. — Последняя строчка.

— «Сохрани нас от колеса»? — удивленно повторил мальчик. — Дедушка, а что такое колесо? Я знаю, что это что-то очень плохое, потому что, когда я спрашивал, все

говорили, что это мерзость и об этом нельзя говорить. Но никто мне не сказал, что это такое.

Старик помолчал, прежде чем ответить.

— Вот этот ящик, который ты сюда притащил... Кто научил тебя прицепить к нему эти штуки?

— Никто, дедушка, я сам. Просто я подумал, что так будет легче его тащить. И так действительно легче.

— Дэйви, штуки, которые ты приделал по бокам ящика, это колеса.

Когда из темноты наконец раздался голос мальчика, в нем звучало недоверие:

— Эти круглые деревяшки? Ну какие же это колеса?! Просто круглые деревяшки, и все. А колесо — это что-то страшное, опасное, его все боятся.

— И все-таки это колеса. — Старик задумался. — Дэйви, я расскажу тебе, что будет завтра. Утром священник приедет посмотреть на твой ящик. Он так и будет стоять здесь, потому что никто не осмелится до него дотронуться. Священник окропит его святой водой и прочтет молитву, чтобы прогнать дьявола. Затем они унесут твой ящик и сожгут его в поле. Они будут стоять вокруг и распевать гимны, пока он не сгорит.

Потом они вернутся за тобой и уведут тебя в деревню. Они будут спрашивать тебя, как выглядел дьявол, когда он к тебе пришел, и что он тебе пообещал за то, что ты возьмешь у него колесо.

— Но я не видел никакого дьявола!

— Это неважно. Если они решат, что ты его видел, то рано или поздно ты признаешься, что видел, и расскажешь, как он выглядел. У них есть свои способы... Но ты должен притвориться, что ничего не понимаешь. Ты должна говорить, что нашел этот ящик таким, как он есть, что ты не знал, что это, и решил, что он пригодится на дрова. Вот что ты должен им говорить. Стой на своем, что бы они с тобою ни делали, тогда, может быть, ты спасешься.

— Но, дедушка, что же такого плохого в колесе? Хоть убей, не понимаю.

Старик снова помолчал, еще долине, чем в первый раз.

— Это длинная история, — начал он. — Все это случилось много, много лет назад. Говорят, что тогда все были добрыми, счастливыми и так далее. Но однажды дьявол пришел к одному человеку и сказал, что он может дать ему что-то такое, от чего тот станет сильнее ста человек,

будет бегать быстрее ветра и летать выше птиц. «Это здорово, — решил человек, — но что за это попросишь?» Дьявол сказал, что ему ничего не нужно. И он дал этому человеку колесо.

Время шло, и этот человек, играя с колесом, понял, что с его помощью можно сделать другие колеса, а потом еще другие, а потом сделать все то, что пообещал дьявол, и еще многое другое.

— А что, колесо может летать? — спросил мальчик.

— Да. Колесо может сделать все, что угодно. И оно начало убивать людей разными способами. Люди стали соединять друг с другом все больше и больше колес, так, как их научил дьявол, и они убедились, что колеса могут делать еще больше разных штук и убивать еще больше людей. И они уже не могли отказаться от колеса, потому что тогда они бы умерли с голоду. А старому дьяволу только этого и нужно было. Из-за этого колеса они все попали к нему в когти. И во всем мире не осталось ни одной вещи, которая бы не зависела от колеса, и мир становился все хуже и хуже, и старый дьявол хохотал, глядя на то, что натворили его колеса. А потом все стало совсем плохо. Я не знаю, как именно это произошло. Но мир стал таким ужасным, что немногим удалось уцелеть. Осталась только горстка людей, как после потопа.

— И все из-за этого колеса?

— Во всяком случае, не будь колеса, этого бы не произошло. Но те, что уцелели, понемногу приспособились. Они начали строить хибарки, сеять хлеб. Прошло немного времени, и дьявол встретил другого человека и снова начал болтать о своем колесе. Но на этот раз ему попался старый, мудрый, богобоязненный человек, и он сказал дьяволу: «Сгинь, нечистая сила! Убрайся в преисподнюю!» Потом этот человек начал ходить повсюду и всех предостерегать против дьявола и его колеса. И все испугались.

Но старого дьявола трудно победить. У него хватает всяких хитростей. Время от времени какому-нибудь человеку приходит в голову сделать что-нибудь похожее на колесо. Пусть это будет вал, или винт, или что-нибудь в этом роде, по этот человек пойдет дальше, если его не остановить сразу. А иногда дьяволу удается соблазнить какого-нибудь человека сделать колесо. Тогда приходят священники, сжигают колесо и забирают этого человека

с собою. И чтобы он больше не делал колес и не подавал плохого примера другим, они его тоже сжигают.

— Они его тоже сжигают?

— Да. Поэтому ты должен говорить, что нашел этот ящик, и упорно стоять на своем.

— Может быть, если я дам честное слово, что больше не буду...

— Это не поможет, Дэйви. Они все боятся колеса, а когда люди испуганы, они становятся злыми и жестокими. Нет, ты должен говорить, что нашел ящик.

Мальчик задумался.

— А как же мама? Ведь она все знает. Я вчера взял у нее этот ящик. Это плохо?

Старик снова хмыкнул.

— Да. Очень плохо. Вообще-то женщины не слишком пугливы, но, когда они вправду боятся, они боятся куда сильнее, чем мужчины.

В темноте сарая наступило долгое молчание. Когда старик снова заговорил, у него был очень спокойный, ласковый голос:

— Дэйви, малыш, я хочу тебе что-то рассказать. Но обещай, что ты никому ни слова не скажешь, по крайней мере до тех пор, пока не станешь таким же стариком, как я.

— Хорошо, дедушка, раз ты так говоришь...

— Я рассказываю это тебе потому, что ты сам придумал колесо. И такие мальчики будут всегда. Должны быть. Потому что нельзя убить мысль. Ее можно спрятать, но она все равно прорвется. Я хочу, чтобы ты поплясал раз и навсегда: колесо — это еще не зло. Что бы тебе ни говорили перепуганные люди — не верь им. Ни одно изобретение не может быть само по себе плохим или хорошим. Таким его делают люди. Запомни это, малыш. Когда-нибудь они снова начнут пользоваться колесом. Я не надеюсь дождаться этого, но ты, наверное, доживешь. Это будет. И когда это случится, не будь среди перепуганных. Будь среди тех, кто научит их использовать колесо лучше, чем те люди, которые от него погибли. Нет, колесо — не зло. Единственное зло — это страх. Не забывай этого.

Старик двинулся сквозь тьму, гулко ступая по земляному полу.

— Мне пора. Где ты, малыш? — Он на ощупь нашел плечо Дэйви и положил ладонь ему на голову. — Благослови тебя господь, Дэйви, — сказал старик. — И не ду-

май о завтрашнем дне. Все будет в порядке. Ты мне веришь?

— Верю, дедушка.

— Ну вот и хорошо. Ложись спать. Там в углу осталось немного сена.

Мальчик снова увидел клочок ночного неба. Шаги старика замерли во дворе, и опять наступила тишина.

Утром, когда прибыл священник, он увидел кучку бледных, испуганных людей, толпившихся вокруг старика и удивленно глядевших на его работу. Старик, держка в одной руке молоток, а в другой гвозди, неторопливо возвился с тележкой Дэйви.

Священник остался.

— Прекрати это! — закричал он. — Во имя господа прекрати!

Старик повернулся к нему. В его глазах светилась старческая хитрость.

— Вчера я свалил дурака, — сказал он. — Я приделал только четыре колеса. Но сегодня я умнее. Сейчас я приделаю еще два, и она поедет вдвое быстрее.

...Они сожгли ящик точно так, как предсказал старик, а его увезли с собою. В полдень мальчик, о котором все позабыли, с трудом оторвал глаза от поднявшегося за селом столба дыма и спрятал лицо в ладонях.

— Я запомню, дедушка, — сказал он. — Я запомню. Единственное зло — это страх. Я...

Слезы не дали ему кончить.

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий

НИКНИК НА ОБОЧИНЕ

(Отрывок из повести)

«...— И что же, по вашему мнению, является самым важным открытием за все эти тринадцать лет?..

— Сам факт Посещения является наиболее важным открытием не только за истекшие тринадцать лет, но и за все время существования человечества. Не так уж важно, кто были эти пришельцы. Неважно, откуда они прибыли, зачем прибыли, почему так недолго пробыли и куда девались потом. Важно то, что теперь человечество твердо знает: оно не одиноко во Вселенной...»

(Из интервью, которое специальный корреспондент Хармонтского радио взял у доктора Валентина Пильмана по случаю присуждения последнему Нобелевской премии по физике за 19... год.)

1. Рэдрик Шухарт, 23 лет, холост, лаборант Хармонтского филиала МИВК

Накануне стоим это мы с ним в хранилище — уже вечером, остается только спецовки сбросить и можно заскочить в «Боржч», принять в организм капельку-другую крепкого. Я стою просто так, стену подпираю, свое отработал и уже держу паготове сигаретку, курить хочется дико — два часа не курил, а он все возится со своим добром: один сейф загрузил, запер и опечатал, теперь другой загружает — берет с транспортера «пустышки», каждую со всех сторон осматривает (а она тяжелая, шесть с по-

ловиной кило, между прочим) и с кряхтением аккуратенько водворяет на полку.

Сколько уже времени он с этими «пустышками» бьется и, по-моему, без всякой пользы для человечества. На его месте я давным-давно бы уже плонул и чем-нибудь другим занялся за те же деньги. Хотя, с другой стороны, если подумать, «пустышка» действительно штука загадочная и какая-то невразумительная, что ли. Сколько я их на себе перетаскал, а все равно, каждый раз как вижу — не могу, поражаюсь. Всего-то в ней два медных диска с чайное блюдце толщиной миллиметров пять, и расстояние между дисками миллиметров четыреста, и, кроме этого расстояния, ничего между ними нет. То есть совсем ничего, пусто. Можно туда просунуть руку, можно и голову, если ты совсем обалдел от изумления, — пустота и пустота — один воздух. И при всем при том что-то между ними, конечно, есть, сила какая-то, как я это понимаю, потому что ни прижать их, эти диски, друг к другу, ни растащить их никому еще не удавалось.

Нет, ребята, тяжело эту штуку описать, если кто не видел, очень уж она проста на вид, особенно когда приглядишься и поверишь наконец своим глазам. Это все равно что стакан кому-нибудь описывать или, не дай бог, рюмку: только пальцами шевелишь и чертыхаешься от полного бессилия. Ладно, будем считать, что вы все поняли, а если кто не понял, возьмите институтские «Доклады» — там в любом выпуске статьи про эти «пустышки» с фотографиями...

В общем, Кирилл бьется с этими «пустышками» уже почти год. Я у него с самого начала, но до сих пор не понимаю толком, чего он от них добивается, да, честно говоря, и понять особенно не стремлюсь. Пусть он сначала сам поймет, сам разберется, вот тогда я его, может быть, послушаю. А пока мне ясно одно: надо ему во что бы то ни стало какую-нибудь «пустышку» раскурочить, кислотами ее пропарить, под прессом распллющить, расплавить в печи. И вот тогда станет ему все понятно, будет ему честь и хвала, и вся мировая наука аж содрогнется от удовольствия. Но покуда, как я понимаю, до этого еще очень далеко. Ничего он покуда не добился, замучился только вконец, серый какой-то стал, молчаливый, и глаза у него сделались как у больного пса, даже слезятся. Будь на его месте кто еще, потаскал бы я его по ночным кабакам и иным злачным местечкам, и стал бы

он у меня через неделю как новенький — уши торчком, хвост пистолетом. Только Кириллу это лекарство не подходит, не стоит и предлагать, не та порода.

Стоим, значит, мы с ним в хранилище, смотрю я на него, какой он стал, как у него глаза запали, и жалко мне его сам не знаю как. И тогда я решился. То есть даже не сам я решился, а словно меня кто-то за язык потянул.

— Слушай, — говорю, — Кирилл...

А он как раз стоит, держит на весу последнюю «пустышку» и с таким видом, словно так бы в нее и залез.

— Слушай, — говорю, — Кирилл. А если бы у тебя была полная «пустышка», а?

— Полная «пустышка»? — переспрашивает он и брови сдвигает, будто я с ним по-тарабарски заговорил.

— Ну да, — говорю. — Эта твоя гидромагнитная ловушка, как ее... объект семьдесят семь-бэ. Только с начинкой какой-то внутри, с синенькой.

Вижу, начало до него доходить. Поднял он на меня глаза, прищурился, и появился у него там за собачьей слезой «проблеск разума», как он сам обожает выражаться.

— Постой, — говорит он. — Полная? Вот такая же штука, только полная?

— Ну да.

— Где?

Вылечился мой Кирилл. Уши торчком, хвост пистолетом.

— Пойдем, — говорю, — покурим.

Он живо сунул «пустышку» в сейф, прихлопнул дверцу, запер на три с половиной оборота, и пошли мы с ним обратно в лабораторию. За пустую «пустышку» Эрнест дает четыреста монет наличными, а за полную я бы из него, сукина сына, всю его поганую кровь выпил, но хотите — верьте, хотите — нет, а я об этом даже не подумал, потому что Кирилл у меня ну просто ожил, снова стал как струна, аж звенит весь, и по лестнице скакет через четыре ступеньки, закурить человеку не дает. В общем, все я ему рассказал: и какая она, и где лежит, и как к ней лучше всего подобраться. Он сразу же вытащил карту, нашел этот гараж, пальцем его прижал, и посмотрел на меня, и, ясное дело, сразу все про меня понял, да и чего здесь было не понять...

— Ай да ты! — говорит он, а сам улыбается. — Ну что же, надо идти. Давай прямо завтра утром. В де-

вять я закажу пропуска и «галопшу», а в десять благословясь выйдем. Давай?

— Давай, — говорю. — А кто третий?

— А зачем нам третий?

— Э, нет, — говорю. — Это тебе не пикник с девочками. А если что-нибудь с тобой случится? Зона, — говорю. — Порядок должен быть.

Он слегка усмехнулся, пожал плечами.

— Как хочешь. Тебе виднее.

Еще бы не виднее! Конечно, это он свеликодушничал, для меня старался: третий лишний, сбегаем вдвоем, и все будет шито-крыто, никто про тебя не догадается. Да только я знаю, институтские вдвоем в Зону не ходят. У них такой порядок: двое дело делают, а третий смотрит и, когда его потом спросят, — расскажет.

— Лично я бы взял Остина, — говорит Кирилл. — Но ты его, наверно, не захочешь. Или ничего?

— Нет, — говорю. — Только не Остина. Остина ты в другой раз возьмешь.

Остин парень неплохой, смелость и трусость у него в нужной пропорции, но он, по-моему, уже отмеченный. Кириллу этого не объяснишь, но я-то вижу: вообразил человек о себе, будто Зону знает и понимает до конца, значит, скоро гробанется. И пожалуйста. Только без меня.

— Ну хорошо, — говорит Кирилл. — А Тендер?

Тендер — это его второй лаборант. Ничего мужик, спокойный.

— Староват, — говорю я. — И дети у него...

— Ничего. Он в Зоне уже бывал.

— Ладно, — говорю. — Пусть будет Тендер.

Он остался сидеть над картой, а я поскакал прямиком в «Боржч», потому что жрать хотелось и в глотке пересохло.

Ладно. Являюсь я утром, как всегда, к девяти, предъявляю пропуск, а в проходной дежурит этот дылда сержант, которого я в прошлом году отметелил, когда он по пьяному делу стал приставать к Гуте.

— Здорово, — он мне говорит. — Тебя, — говорит, — Рыжий, по всему институту ищут...

Тут я его так вежливенько прерываю:

— Я тебе не Рыжий, — говорю. — Ты мне в приятели не набивайся, шведская оглобля.

— Господи, Рыжий! — говорит он в изумлении. — Да тебя же все так зовут.

Я перед Зоной взвинченный, да еще трезвый вдобавок — взял я его за портупею и во всех подробностях выдал, кто он такой есть и почему от своей родительницы произошел. Он плонул, вернул мне пропуск и уже без всех этих нежностей:

— Рэдрик Шухарт, — говорит, — вам приказано немедленно явиться к капитану Херцогу.

— Вот то-то, — говорю я. — Это другое дело.

А сам думаю: «Это еще что за новости? Какого это лешего донадобился я капитану Херцогу в служебное время?» Ладно, иду являться. У него кабинет на третьем этаже, хороший кабинет, и решетки на окнах, как в полиции. Сам Вилли сидит за своим столом, сипит своей трубкой и разводит себе писанину на машинке, а в углу копается в железном шкафу какой-то сержанттик, новый какой-то, не знаю я его. У нас в институте этих сержантов больше, чем в дивизии, да все такие дородные, румяные, кровь с молоком, им в Зону ходить не надо, и на мировые проблемы им наплевать.

— Здравствуйте, — говорю я. — Вызывали?

Вилли смотрит на меня как на пустое место, отодвигает машинку, кладет перед собой толстенную папку и принимается ее листать.

— Рэдрик Шухарт? — говорит.

— Он самый, — отвечаю, а самому смешно — сил нет. Первое такое хихиканье подмывает.

— Сколько времени работаете в институте?

— Два года, третий.

— Состав семьи?

— Один я, — говорю. — Сирота.

Тогда он поворачивается к своему сержанттику и строго ему приказывает:

— Сержант Луммер, ступайте в архив и принесите дело номер сто пятьдесят.

Вилли захлопнул папку и сумрачно так спрашивает:

— Опять за старое взялся?

— За какое такое старое?

— Сам знаешь за какое. Опять на тебя материал пришел.

«Так...» — думаю.

— И откуда материал?

Он нахмурился и стал в раздражении колотить своей трубкой по пепельнице.

— Это тебя не касается, — говорит. — Я тебя по ста-

рой дружбе предупреждаю: брось это дело, брось навсегда. Ведь во второй раз сцепают — шестью месяцами не отделаешься. А из института тебя вышибут немедленно и навсегда, понимаешь?

— Понимаю, — говорю. — Это я понимаю.

Но он уже опять смотрит на меня оловянными глазами, сипит пустой трубкой и зная себе листает папку. Это, значит, вернулся сержант Луммер с делом номер сто пятьдесят.

— Спасибо, Шухарт, — говорит капитан Вилли Херцог по прозвищу Боров. — Это все, что я хотел выяснить. Вы свободны.

Ну я пошел в раздевалку, натянул спецовку, закурил, а сам все время думаю: «Откуда же это звон идет? Ежели из института, то ведь это все вранье, никто здесь про меня ничего не знает и знать не может. А если из полиции, опять-таки что они там могут знать, кроме моих старых дел? Может, Стервятник попался, эта сволочь, чтобы себя выгородить, кого хочешь утопит... Но ведь и Стервятник обо мне теперь ничего не знает». Думал я, думал, ничего полезного не придумал и решил наплевать. Последний раз ночью я в Зону ходил три месяца назад, хабар почти весь уже сбыл и деньги почти все растратил. С поличным не поймали, а теперь черта с два меня возьмешь, я скользкий.

Но тут, когда я уже поднимался по лестнице, меня вдруг осенило, да так осенило, что я вернулся в раздевалку, сел и снова закурил. Получалось, что в Зону-то мне идти сегодня нельзя. И завтра нельзя, и послезавтра. Получалось, что я опять у этих легавых жаб на заметке, не забыли они меня, а если и забыли, то им кто-то напомнил. И теперь уже неважно, кто именно. Никакой же сталкер, если он совсем не свихнулся, на пушечный выстрел к Зоне не подойдет, когда знает, что за ним следят. Мне сейчас в самый темный угол залезть надо. Каякая, мол, Зона? Я туда, мол, и по пропускам-то не хожу который месяц. Что вы, понимаешь, привязались к честному лаборанту?

Обдумал я все это и вроде бы даже облегчение почувствовал, что в Зону мне сегодня идти не надо. Только как это все поделикатнее сообщить Кириллу?

Я ему сказал прямо:

— В Зону не иду. Какие будут распоряжения?

Сначала он, конечно, выпустил на меня глаза. Потом,

видно, что-то сообразил: взял меня за локоть, отвел к себе в кабинетик, усадил за свой столик, а сам примостился рядом, на подоконнике. Закурили. Молчим. Потом он осторожно так меня спрашивает:

— Что-нибудь случилось, Рэд?

Ну что я ему скажу?

— Нет, — говорю, — ничего не случилось. Вчера вот в покер двадцать монет продул — здорово этот Нунан играет, шельма...

— Подожди, — говорит он. — Ты что, раздумаешь?

Тут я даже закряхтел от натуги.

— Нельзя мне, — говорю ему сквозь зубы. — Нельзя мне, понимаешь? Меня сейчас Херцог к себе вызывал.

Он обмяк. Опять у него несчастный вид сделался, и сиять у него глаза стали как у больного пуделя. Передохнул он этак судорожно, закурил новую сигарету от окурка старой и тихо говорит:

— Можешь мне поверить, Рэд, я никому ни слова не сказал.

— Брось, — говорю. — Разве о тебе речь?

— Я даже Тендеру еще ничего не сказал. Пропуск на него выписал, а самого даже не спросил, пойдет он или нет...

Я молчу, курю. Смех и грех, ничего человек не понимает.

— А что тебе Херцог сказал?

— Да ничего особенного, — говорю. — Настучал кто-то на меня, вот и все.

Посмотрел он на меня как-то странно, соскочил с подоконника и стал ходить по своему кабинетику взад-вперед. Он по кабинетику бегает, а я сижу, дым пускаю и помалкиваю. Жалко мне его, конечно, и обидно, что так по-дурацки получилось; вылечил, называется, человека от меланхолии. А кто виноват? Сам я и виноват. Поманил дитятю пряником, а пряник-то в заначке, а заначку сердитые дяди стерегут... Тут он перестает бегать, останавливается около меня и, глядя куда-то вбок, неловко спрашивает:

— Слушай, Рэд, а сколько она может стоить — полная «пустышка»?

Я сначала его не понял, подумал сначала, что он ее еще где-нибудь купить рассчитывает, да только где ее такую купишь, может быть, она всего одна такая на свете, да и денег у него на это не хватило бы: откуда у него

деньги — у иностранного специалиста, да еще русского? А потом меня словно обожгло: что же это он, поганец, думает — я из-за зелененьких эту бодягу развел? Ах ты, думаю, стервец, да за кого же ты меня принимаешь?.. Я уже рот раскрыл, чтобы обложить его в бога, в сердце, в печень. И осекся. Потому что действительно, а за кого ему меня принимать? Сталкер — он сталкер и есть, ему бы только зелененьких побольше, он за зелененькие жизнью торгует. Вот и получалось, что вчера я, значит, удочку забросил, а сегодня приманку вожу, цену набиваю.

У меня даже язык отнялся от таких мыслей, а он на меня смотрит пристально, глаз не сводит, и в глазах его я вижу не презрение даже, а понимание, что ли. И тогда я спокойно ему объяснил.

— К гаражу, — говорю, — еще никто никогда с пропуском не ходил. Туда еще трасса не провешена, ты это знаешь. Теперь возвращаемся мы назад, и твой Тендер начинает хвастаться, как махнули мы прямо к гаражу, взяли что надо — и сразу обратно. Словно бы на склад сходили. И каждому будет ясно, — говорю, — что заранее мы знали, за чем идем. А это значит, что кто-то нас навел. А уж кто из нас троих навел — здесь комментарии не нужно. Понимаешь, чем это для меня пахнет?

Кончил я свою речь, смотрим мы друг другу в глаза и молчим.

Потом он вдруг хлопнул ладонью о ладонь, руки потер и бодрячком этаким объявляет:

— Ну что ж, нет так нет. Я тебя понимаю, Рэд, и осуждать не могу. Пойду сам. Авось обойдется. Не в первый раз...

Расстелил он на подоконнике карту, уперся руками, сгорбился над ней, и вся его бодрость прямо-таки на глазах испарилась. Слыши — бормочет:

— Сто двадцать метров... даже сто двадцать два... и что там еще в самом гараже... Нет, не возьму я Тендера. Как ты думаешь, Рэд, может, не стоит Тендера брать? Все-таки у него двое детей...

— Одного тебя не выпустят, — говорю я.

— Ничего, выпустят... — бормочет он. — Не нравятся мне эти грузовики. Тринадцать лет под открытым небом стоят, а все как новенькие... В двадцати шагах бензовоз — ржавый, как решето, а они будто только что с конвейера... Ох уж эта Зона!

Поднял он голову от карты и уставился в окно. И я тоже уставился в окно. Стекла в наших окнах толстые, свинцовые, а за стеклами — Зона-матушка, вон она, рукой подать, вся как на ладони с девятого этажа...

Так вот посмотришь на нее — земля как земля. Солнце на нее как на всю остальную землю светит, и ничего вроде бы на ней не изменилось, все вроде бы как тринацать лет назад. Батя, покойник, посмотрел бы и ничего бы особенного не заметил, разве что спросил бы: чего это завод не дымит, забастовка, что ли?.. Желтая порода конусами, кауперы на солнышке отсвечивают, рельсы, на рельсах паровозик с платформами... Индустримальный пейзаж, одним словом. Только людей нет. Ни живых, ни мертвых. Вон и гараж виден: длинная серая киш카, ворота нараспашку, а на асфальтовой площадке грузовики стоят. Тринадцать лет стоят, и ничего им не делается. Упаси бог между двумя машинами сунуться, их надо стороной обходить... там одна трещина есть в асфальте, если только с тех пор колючкой не заросла... Сто двадцать два метра — это откуда же он считает? А, наверное, от крайней вешки считает. Правильно, оттуда больше не будет. Все-таки продвигаются очкарики. Смотри, до самого отвала дорогу провесили, да как ловко провесили! Вон она, та канавка, где Слизняк гробанулся, всего в двух метрах от ихней дороги... А ведь говорил Мослатый Слизняку: «Держись, дурак, от канав подальше, а то ведь и хоронить нечего будет...» Как в воду глядел — нечего хорошить... С Зоной ведь так: с хабаром вернулся — чудо; живой вернулся — удача; патрульная цуля — везенье, а все остальное — судьба...

Тут я посмотрел на Кирилла и вижу: он за мной исcosa наблюдает. И лицо у него такое, что я в этот момент снова все пережил. Ну их, думаю, всех к черту, что они, в конце концов, сделать могут? Он бы мог вообще ничего не говорить, но он сказал:

— Лаборант Шухарт, — говорит. — Из официальных — подчеркиваю: из официальных источников я получил сведения, что осмотр гаража может принести большую пользу науке. Есть предложение осмотреть гараж. Премиальные гарантирую. — И сам улыбается что твоя майская роза.

— Из каких же это официальных источников? — спрашиваю я и тоже улыбаюсь ему как дурак.

— Это конфиденциальные источники, — отвечает

он. — Но вам я могу сказать... — Тут он перестал улыбаться и насупился. — Скажем, от доктора Дугласа.

— А, — говорю, — от доктора Дугласа... От какого же это Дугласа?

— От Сэма Дугласа, — говорит он сухо. — Он погиб в прошлом году.

У меня мурашки по коже пошли. Так и так тебя! Кто же перед выходом говорит о таких вещах! Хоть кол им, очкарикам, на голове теши — ничего не соображают... Ткнул я окурок в пепельницу и говорю:

— Ладно. Где твой Тендер? Долго мы его еще ждать будем?

Словом, больше мы на эту тему не говорили. Кирилл позвонил в ППС, заказал «летучую галошу», а я взял карту и посмотрел, что у них там нарисовано. Ничего себе нарисовано, в норме. Фотографическим путем — сверху и с большим увеличением. Даже рубчики видны на покрышке, которая валяется у ворот гаража. Нашему брату сталкеру такую карту... а впрочем, черта от нее толку ночью-то, когда собственных рук не видно...

А тут и Тендер заявился. Красный, запыхался. Дочка у него заболела, за доктором бегал. Извиняется за опоздание. Ну мы ему и поднесли подарочек — в Зону идти. Сперва он даже запыхиваться забыл, сердяга. «Как так в Зону? — говорит. — Почему я?» Однако, услыхав про двойные премиальные и про то, что Рэд Шухарт тоже идет, оправился и задышал снова.

В общем, спустились мы в «будуар», Кирилл смотался за пропусками, предъявили мы их еще одному сержанту, и выдал нам этот сержант по спецкостюму. Вот это полезная вещь. Перекрасить бы ее из красного в какой-нибудь подходящий цвет — любой сталкер за такой костюм пятьсот монет отвалит, глазом не моргнет. Я уж давно поклялся, что изловчусь как-нибудь и сопру один обязательно. На первый взгляд ничего особенного, костюм такой вроде водолазного и шлем как у водолаза, с большим окном впереди. Даже не вроде водолазного, а скорее как у летчика-реактивщика или, скажем, у космонавта. Легкий, удобный, нигде не жмет, и от жары в нем не потеешь. В таком костюмчике и в огонь можно, и газ через него никакой не проникает. Пуля, говорят, и то не берет. Конечно, и огонь, и иприт какой-нибудь, и пуля — это все земное, человеческое. В Зоне ничего этого нет, в Зоне не этого надо опасаться. В общем, что там гово-

рить, и в спецкостюмах тоже мрут как миленькие. Другое дело, что без них мерли бы, может быть, еще больше. От «жгучего пуха», например, эти костюмы на сто процентов спасают. Или от плевков «чертовой капусты»... Ладно.

Натянули мы спецкостюмы, пересыпал я гайки из ме-щочка в набедренный карман, и побрали мы через весь институтский двор к выходу в Зону. Так здесь у них это заведено, чтобы все видели: вот, мол, идут герои науки живот свой класть на алтарь во имя человечества, знания и святого духа, аминь. И точно — во все окна аж до пятнадцатого этажа повышставлялись, только что платочками не машут и оркестра нет.

— Шире шаг, — говорю я Тендеру. — Брюхо подбери, слабосильная команда. Благодарное человечество тебя не забудет!

Посмотрел он на меня, и вижу я, что ему не до шуток. И правильно — какие уж тут шутки... Но когда в Зону выходишь, то уж одно из двух: либо плачь, либо шути, — а я сроду не плакал. Посмотрел я на Кирилла. Ничего держится, только губами шевелит, вроде молится.

— Молишься? — спрашиваю. — Молись, — говорю, — молись! Дальше в Зону — ближе к небу...

— Что? — спрашивает он.

— Молись! — кричу. — Сталкеров в рай без очереди пропускают!

А он вдруг улыбнулся и похлопал меня ладонью по спине: не бойся, мол, со мной не пропадешь, а если и пропадешь, то умираем, мол, один раз. Нет, смешной он парень, ей-богу.

Сдали мы пропуска последнему сержанту — на этот раз в порядке исключения это лейтенант оказался, я его знаю, у него напаша кладбищенскими оградами в Рексполе торгует, — а «летучая галоша» уже тут как тут, подогнали ее ребята из ППС и поставили у самой проходной. Все собрались: и «скорая помощь», и пожарники, и наша доблестная гвардия, бесстрашные спасатели — куча отъевшихся бездельников со своим вертолетом. Глаза б мои на них не глядели.

Поднялись мы на «галошу», Кирилл встал за управление и говорит мне:

— Ну, Рэд, командуй.

Я без всякой торопливости приспустил «молнию» на груди, достал из-за пазухи флягу, хлебнул как следует,

крышечку завинтил и сунул флягу обратно за пазуху. Не могу без этого. Который раз в Зону иду, а без этого — нет, не могу. Они оба на меня смотрят и ждут.

— Так, — говорю. — Вам не предлагаю, потому что иду с вами впервые и не знаю, как на вас действует спиртное. Порядок у нас будет такой. Все, что я сказал, выполнять мигом и беспрекословно. Если кто замешкается или там начнет вопросы задавать — буду бить по чёму попало, извиняюсь заранее. Вот я, например, тебе, господин Тендер, прикажу: на руки встань и иди, и в тот же момент ты, господин Тендер, должен зад свой толстый задрать и выполнить, что тебе сказано. А не выполнишь — дочку свою больную, может, и не увидишь больше. Понятно? Но уж я позабочусь, чтобы ты увидел.

— Ты, Рэд, главное приказать не забудь, — сипит Тендер, а сам весь красный, уже потеет и губами шлепает. — Уж я на зубах пойду, не то что на руках. Не новичок.

— Вы для меня оба новички, — говорю. — А уж приказать я не забуду, будь поконен. Кстати, ты «галошу» водить умеешь?

— Умеет, — говорит Кирилл. — Хорошо водит.

— Хорошо так хорошо, — говорю. — Тогда с богом. Опустить забрала! Малый вперед по вешкам, высота три метра! У двадцать седьмой вешки — остановка.

Кирилл поднял «галошу» на три метра и дал малый вперед, а я незаметно повернул голову и тихонько дунул через левое плечо. Смотрю — гвардейцы-сласатели в свой вертолет полезли, пожарники встали от почтительности, лейтенант в дверях проходной честь нам, дурак, отдает, а над всеми над ними — здоровенный плакат, уже выцвевший: «Добро пожаловать, господа пришельцы!» Тендер нацепился было им всем ручкой сделать, но я ему так в бок двинул, что у него сразу эти церемонии из головы вылетели. Я тебе покажу — прощаться.

Поплыли.

Справа у нас был институт, слева — Чумной квартал, а мы шли от вешки к вешке по самой середине улицы. Ох и давно же по этой улице никто не ходил и не ездил! Асфальт весь потрескался, трещины проросли травой, но это еще была наша трава, человеческая. А вот на тротуаре по левую руку росла уже черная колючка, и по этой колючке было видно, как четко Зона себя обозначает:

черные заросли у самой мостовой словно косой срезало. Нет, пришельцы эти все-таки порядочные ребята были. Ведь даже «жгучий пух» на нашу сторону из Зоны — ни-ни, хотя, казалось бы, его ветром как попало мотает...

Дома в Чумном квартале облупленные, мертвые, однако стекла в окнах почти везде целы, грязные только и потому как бы слепые. А вот ночью, когда проползаешь мимо, очень хорошо видно, как внутри светится, словно спирт горит, язычками такими голубоватыми. Это «ведьмин студень» из подвалов дышит. А вообще так вот посмотришь — квартал как квартал, дома как дома, ремонта, конечно, требуют, но ничего особенного нет, людей только не видно. Вот в этом кирпичном доме, между прочим, жил наш учитель арифметики по прозвищу Запятая. Зануда он был и неудачник, вторая жена у него ушла перед самым Посещением, а у дочки бельмо на глазу было, так мы ее, помню, до слез задразнивали. Когда паника началась, он со всеми прочими из этого квартала в одном белье до самого моста бежал — все шесть километров без передышки. Потом долго чумкой болел, кожа с него слезла, ногти. Почти все, кто в этом квартале жил, переболели, поэтому-то квартал и называется Чумным. А вот в тех трех кварталах люди слепли. Теперь эти кварталы так и называются: Первый Слепой, Второй Слепой... Не до конца слепли, а так, вроде куриной слепоты. Между прочим, рассказывают, что ослепли они будто бы не от вспышки какой-нибудь там, хотя вспышки, говорят, тоже были, а ослепли они от сильного грохота. Загремело, говорят, с такой силой, что сразу ослепли. Доктора им: да не может этого быть, вспомните хорошенъко, — нет, стоят на своем: сильнейший гром, от которого и ослепли. И при этом никто, кроме них, грома не слыхал...

Да, будто здесь ничего не случилось. Вон киоск стоит стеклянный, целехонек. Детская коляска в воротах — даже белышко в ней вроде бы чистое... Антенны вот только подвели — обросли какими-то волосами наподобие мочала. Очкарики наши на эти антенны давно уже зубы точат: интересно, видите ли, им посмотреть, что это за мочала — нигде такого больше нет, только в Чумном квартале и только на антенах. А главное — тут же, рядом ведь, под самыми окнами. В прошлом году догадались: спустили с вертолета якорь на стальном тросе, запечатали одну мочалку. Только он потянул — вдруг пиш-пиш! Смот-

рим — от антennы дым, от якоря дым, и сам трос уже дымится, да не просто дымится, а с ядовитым таким пинием, вроде как гремучая змея. Ну пилот, даром что лейтенант, быстро сообразил, что к чему, трос выбросил и сам деру дал... Вон он, этот трос, висит, до самой земли почти свисает и весь мочалом оброс...

Так потихоньку-полегоньку дошли мы до конца улицы, до поворота. Кирилл посмотрел на меня: сворачивать? Я ему махнул: самый малый. Повернула наша «галоша» и пошла самым малым над последними шагами человеческой земли. Тротуар ближе, ближе, вот уже и тень «галоши» на колючки упала... Все. Зона. И сразу такой озноб по коже. Каждый раз у меня этот озноб, и до сих пор я не знаю, то ли это так Зона меня встречает, то ли нервишки у сталкера шалят. Каждый раз думаю: вернусь и спрощу, у других бывает то же самое или нет? — и каждый раз забываю.

Ну ладно, ползем потихоньку над бывшими огородами, двигатель под ногами гудит ровно, спокойно — ему-то что, его не тронут. И тут мой Тендер не выдержал. Не успели мы еще до первой вешки дойти, как принялся он болтать. Ну, как обычно новички болтают в Зоне: зубы у него стучат, сердце захочится, себя плохо помнит, и стыдно ему, и удержаться не может. По-моему, это у них вроде поноса, от человека не зависит, а льет себе и льет. И чего только они не болтают! То начнет пейзажем восхищаться, то примется высказывать свои соображения по поводу пришельцев, а то и вообще к делу не относящееся — вот как Тендер сейчас: завел про свой новый костюм и уже остановиться не может. Сколько он заплатил за него, да какая шерсть тонкая, да как ему портной пуговицы менял...

— Замолчи, — говорю.

Он грустно так на меня посмотрел, губами пописпал — и опять: сколько шелку на подкладку попло. А огороды уже кончаются, под нами уже глинистый пустырь, где раньше городская свалка была, и чувствую я — ветерком здесь тянет. Только что никакого ветра не было, а тут вдруг потянуло, пылевые чертики побежали, и вроде бы я что-то слышу.

— Молчи, сволочь! — говорю я Тендеру.

Нет, никак не может остановиться. Теперь про конский волос завел. Ну тогда извини.

— Стой, — говорю Кириллу.

Он немедленно тормозит. Реакция хоропая, молодец. Беру я Тендера за плечо, поворачиваю его к себе и с размаху — ладонью ему по забралу. Треснулся он, бедняга, носом в стекло, глаза закрыл и замолчал. И как только он замолчал, я услышал: «тр-р-р... тр-р-р... тр-р-р...» Кирилл на меня смотрит, зубы стиснуты, рот оскален. Я рукой ему показываю — стой, мол, стой, ради бога, не шевелись. Но ведь он тоже этот треск слышит, и, как у всех новичков, у него сразу позыв — действовать, делать что-нибудь.

— Задний ход? — шепчет.

Я ему отчаянно головой мотаю, кулаком перед самым племом трясу — нишкни, мол. Эх, мать честная! С этими очкариками не знаешь, куда смотреть: то ли в поле смотреть, то ли на них. И тут я просто все забыл. По-над кучей старого мусора, надбитым стеклом и тряпьем разным поползло этакое дрожание, трепет какой-то, ну как горячий воздух в полдень над железной крышей, перевалило через бугор и попшло, попшло, попшло нам наперерез, рядом с самой вешкой, над дорогой задержалось, постояло с полсекунды — или это мне показалось только? — и уткнулось в поле, за кусты, за гнилые заборы, туда, к кладбищу старых машин.

Надо же, сообразили, где дорогу провесить: по выемке! Ну и я тоже хороши — куда это мои глаза дурацкие глядили, когда я их картой восхищался?

— Давай малый вперед, — говорю я Кириллу.

— А что это было?

— А хрен его знает... Было и нету, и слава богу. И заткнись, пожалуйста. Ты сейчас не человек, попял? Ты сейчас машина, рычаг мой...

Тут я спохватился, что меня, похоже, тоже словесный понос одолевать начинает.

— Все, — говорю. — Ни слова больше.

Ветерок вроде бы упал, и ничего дурного вокруг не слышно, только двигатель гудит спокойно так, сонно. А вокруг солнце, а вокруг жара... над гаражом марево. Все вроде бы нормально, вешки одна за другой мимо проплывают. Тендер молчит, Кирилл молчит. Ничего, ребята, в Зоне тоже дышать можно, если умеючи... А вот и двадцать седьмая вешка — железный шест и красный круг на нем с номером 27. Кирилл на меня посмотрел, кивнул я ему, и папа «галоша» остановилась.

Цветочки кончились, попшли ягодки. Теперь самое глав-

ное для нас — полнейшее спокойствие. Торопиться некуда, ветра нет, видимость хорошая, все как на ладони. Вон канава проходит, где Слизняк гробанулся, — пестрое там что-то виднеется, может, тряпье его. Паршивый был парень, упокой, господи, его душу, жадный, глупый, грязный, только такие вот со Стервятником и связываются, таких Стервятник Барбидж за версту видит и под себя подгребает... А вообще-то Зона не спрашивает, плохой ты или хороший, и спасибо тебе, выходит, Слизняк: дурак ты был, даже имени настоящего своего никто непомнит, а умным людям показал, куда ступить нельзя... Так. Конечно, лучше всего добраться бы нам теперь до асфальта. Асфальт ровный, на нем все виднее, и трещина там эта знакомая. Только вот не нравятся мне эти бугорочки. Если по прямой к асфальту идти, проходить придется как раз между ними. Ишь стоят, будто ухмыляются, ожидают. Нет, промежду вами я не пойду. Вторая заповедь сталкера: либо справа, либо слева все должно быть чисто на сто шагов. А вот через левый бугорочек перевалить можно... Правда, не знаю я, что там, за ним. На карте как будто ничего не было, но кто же картам верит?..

— Слушай, Рэд, — шепчет мне Кирилл. — Давай прыгнем, а? На двадцать метров вверх и сразу вниз — вот мы и у гаража, а?

— Молчи, дурак, — говорю я. — Не мешай, молчи. Вверх ему. А долбанет тебя там на двадцати метрах? Костей ведь не соберешь. Или «комариная плешица» где-нибудь здесь объявится — тут не то что костей, мокрого места не останется. Ох уж эти мне рискованные, не терпится ему, видишь ты: давай прыгнем... В общем, как до бугра идти — ясно, а там постоим посмотрим. Сунул я руку в карман, вытащил горсть гаек. Показал их Кириллу на ладони и говорю:

— Мальчика с пальчика помпишь? Проходили в школе? Так вот сейчас будет все наоборот. Смотри! — И бросил я первую гаечку. Недалеко бросил, как положено. Метров на десять. Гаечка прошла нормально. — Видел?

— Ну? — говорит.

— Не «ну», а видел, я спрашиваю?

— Видел.

— Теперь самым малым веди «галошу» к этой гаечке и в двух шагах до нее не доходя остановись. Понял?

— Понял. Гравиконцентраторы ищешь?

— Что надо, то и ищу. Подожди, я еще одну брошу. Следи, куда упадет, и глаз с нее больше не спускай.

Бросил я еще одну гайку. Само собой, тоже прошла нормально и легла рядом с первой.

— Давай, — говорю.

Тронул он «галошу». Лицо у него спокойное и ясное сделалось: видно, понял. Они ведь все, очкарики, такие. Им главное — название придумать. Пока не придумал — смотреть на него жалко, дурак дураком. Ну а как придумал какой-нибудь гравиконцентратор — тут ему словно все понятно становится, и сразу ему жить легче.

Прошли мы первую гайку, прошли вторую, третью. Тендер вздыхает, с ноги на ногу переминается и то и дело зевает от нервности с этаким собачьим прискуливанием — томно ему, бедняге. Ничего, это ему на пользу. Пяток кило он сегодня скинет, это лучше всякой диеты... Бросил я четвертую гаечку. Как-то она не так прошла. Не могу объяснить, в чем дело, но чувствую, не так, и сразу хвать Кирилла за руку.

— Стой, — говорю. — Ни с места...

А сам взял пятую и кинул повыше и подальше. Вот она, «плешь комариная»! Гаечка вверх полетела нормально, вниз тоже вроде нормально было пошла, но на попуги ее словно кто-то вбок дернул, да так дернул, что она в глину ушла и из глаз исчезла.

— Видал? — говорю я шепотом.

— В кино только видел, — говорит, а сам весь вперед подался, того и гляди с «галоши» сверзится. — Брось еще одну, а?

Смех и грех. Одну! Да разве здесь одной обойдешься? Эх, наука!.. Ладно, разбросал я еще восемь гаек, пока «плешь» не обозначил. Честно говоря, и семи хватило бы, но одну я специально для него бросил, в самую середину — пусть полюбуется на свой концентрат. Ахнула она в глину, словно это не гаечка упала, а пятипудовая гиря. Ахнула — и только дырка в глине. Он даже крякнул от удовольствия.

— Ну ладно, — говорю. — Побаловались — и хватит. Сюда смотри. Кидай проходную, глаз с нее не спускай.

Короче, обошли мы «комариную плешь» и поднялись на бугорочек. Бугорочек этот... Я его до сегодняшнего дня вообще не примечал. Да... Ну зависли мы над бугорчиком, до асфальта рукой подать, шагов двадцать. Место

чистейшее — каждую травинку видно, каждую трещинку. Казалось бы, ну что? Кидай гайку — и с богом.

Не могу кинуть гайку.

Сам не понимаю, что со мной делается, но гайку кинуть никак не решусь.

— Ты что? — говорит Кирилл. — Чего мы стоим?

— Подожди, — говорю. — Замолчи, ради бога.

Сейчас, думаю, кину гаечку, спокойненько пройдем, как по маслу проплырем, травинка не шелохнется, полминуты, а там и асфальт. И тут вдруг потом меня как прошибет! Даже глаза залило, и уж знаю я, что гаечку туда кидать не буду. Влево — пожалуйста, хоть две. И дорога туда длиннее, и камушки какие-то я там вижу нешибко приятные, но туда я гаечку кинуть берусь, а прямо — ни за что. И кинул я гаечку влево. Кирилл ничего не сказал, повернул «галошу», подвел к гайке и только тогда на меня посмотрел. И вид у меня, должно быть, был очень нехорош, потому что он тут же отвел глаза.

— Ничего, — я ему говорю. — Кривой дорогой ближе. — И кинул последнюю гаечку на асфальт.

Дальше дело попло проще. Нашел я свою трещинку, чистая она оказалась, милая моя, никакой дрянью не заросла, цвет не переменила, смотрел я на нее и тихо радовался. И довела она нас до самых ворот гаража лучше всяких вешек.

Я приказал Кириллу снизиться до полутора метров, лег на брюхо и стал смотреть в раскрытые ворота. Сначала, с солнца, ничего не было видно, черно и черно. Потом глаза привыкли, и вижу я, что в гараже с тех пор ничего вроде бы не переменилось. Тот самосвал как стоял на яме, так и стоит, целенъкий стоит, без дыр, без пятен, и на цементном полу вокруг все как прежде — потому, наверное, что «ведьминого студня» в яме мало скопилось, не выплескивался он с тех пор ни разу. Одно мне только не понравилось: в самой глубине гаража, где канистры стоят, серебрится что-то. Раньше этого не было. Ну ладно, серебрится так серебрится, не возвращаться же теперь из-за этого. Ведь не как-нибудь особенно серебрится, а чуть-чуть, самую малость, и спокойно так, вроде бы даже ласково... Поднялся я, отряхнул брюхо и поглядел по сторонам. Вон грузовики на площадке стоят, действительно, как новенькие, с тех пор, как я последний раз здесь был, они, по-моему, еще новее стали, а бензовоз — тот совсем,

бедняга, проржалев, скоро разваливаться начнет. Вон и покрышка валяется, которая у них на карте...

Не понравилась мне эта покрышка. Тень от нее какая-то ненормальная. Солнце нам в спину, а тень к нам протянулась. Ну да ладно, до нее далеко. В общем, ничего, работать можно. Только что это там все-таки серебрится? Или это мерещится мне? Сейчас бы закурить, присесть тихонечко и поразмыслить — почему над канистрами серебрится, почему рядом не серебрится... тень почему такая от покрышки... Стервятник Барбридж про тени что-то рассказывал, диковинное что-то, но безопасное... С тениями здесь бывает. А вот что это там все-таки серебрится? Ну прямо как паутина в лесу на деревьях. Какой же это паучок ее там сплел? Ох, ни разу я еще жучков-паучков в Зоне не видел. И хуже всего, что «пустышка» моя как раз там, шагах в двух от канистр, валяется. Надо мне было тогда же ее и упереть, никаких бы забот сейчас не было. Но уж больно тяжелая, стерва, полная ведь — поднять-то я ее мог, но на горбу тащить, да еще ночью, да на карачках... Кто «пустышек» ни разу не таскал, пусть попробует, это все равно что пуд воды без ведер нести. Так иди, что ли? Надо идти. Хлебнуть бы сейчас... Повернулся я к Тендеру и говорю:

— Сейчас мы с Кириллом пойдем в гараж. Ты останешься здесь за водителя. К управлению без моего приказа не притрагивайся, что бы ни случилось. Хоть земля под тобой загорится. Если струсишь — на том свете найду.

Он серьезно мне покивал — не струшу, мол. Нос у него — что твоя слина, здорово я ему врезал... Ну, спустил я тихонечко аварийные блок-тросы, посмотрел еще раз на это серебрение, махнул Кириллу и стал спускаться. Встал на асфальт, жду, пока он спустится по другому тросу.

— Не торопись, — говорю ему. — Не счиши. Меньше пыли.

Стоим мы на асфальте, «галоша» рядом с нами покачивается, тросы под ногами ерзают. Тендер башку через перила выставил, на нас смотрит, и в глазах у него отчаяние. Надо идти. Я говорю Кириллу:

— Иди за мной шаг в шаг, в двух шагах позади, смотри мне в спину, не зевай.

И пошел. На пороге остановился, огляделся. Все-таки до чего же проще работать днем, чем ночью. Помню я, как лежал вот на этом самом пороге. Темно, как у нег-

ра в желудке, из ямы «вёдьмин студень» языки высовывает, голубые, как спиртовое пламя, и ведь что обидно — ничего, сволочь, не освещает, даже темнее из-за этих языков кажется. А сейчас — что! Глаза к сумраку привыкли, все как на ладони, даже в самых темных углах пыль видна. И действительно, серебрится там, нити какие-то серебристые тянутся от канистр к потолку — очень на паутину похоже. Мне бы Кирилла рядом с собой поставить, подождать, пока и у него глаза к полуутыме привыкнут, и показать ему эту паутину, пальцем в нее ткнуть. А я привык один работать, у самого глаза пригляделись, а про Кирилла я и не подумал.

Шагнул это я внутрь — и прямо к канистрам. Присел над «пустышкой» на корточки, к ней паутина вроде бы не пристала. Взялся я за один конец и говорю Кириллу:

— Ну берись, да не урони — тяжелая...

Поднял я на него глаза, и горло у меня перехватило: ни слова не могу сказать. Хочу крикнуть: стой, мол, замри! — и не могу. Да и не успел бы, наверное, слишком уж быстро все получилось. Кирилл шагает через «пустышку», поворачивается задом к канистрам и всей спиной — в это серебрение. Я только глаза закрыл. Все во мне обмерло, ничего не слышу — слышу только, как эта паутинка рвется. Со слабым таким сухим треском, словно обыкновенная паутинка лопается, но, конечно, погромче. Сижу я с закрытыми глазами, ни рук, ни ног не чувствую, а Кирилл говорит:

— Ну, что ты? — говорит. — Взяли?

— Взяли, — говорю.

Подняли мы «пустышку» и понесли к выходу, боком идем. Тяжеленная, стерва, даже вдвоем ее тащить нелегко. Вышли мы на солнышко, остановились у «галоши», Тендер к нам уже лапы протянул.

— Ну, — говорит Кирилл, — раз, два...

— Нет, — говорю, — погоди. Поставим сначала.

Поставили.

— Повернись, — говорю, — спиной.

Он без единого слова повернулся. Смотрю я — ничего у него на спине нет. Я и так, я и этак — нет ничего. Тогда я поворачиваюсь и смотрю на канистры. И там ничего нет.

— Слушай, — говорю я Кириллу, а сам все на канистры смотрю. — Ты паутину видел?

— Какую паутину? Где?

— Ладно, — говорю. — Счастлив наш бог. — А сам про себя думаю: сие, впрочем, пока неизвестно. — Да-вай, — говорю, — берись.

Взвалили мы «пустышку» на «галошу» и поставили ее на пошá, чтобы не каталась. Стоит она, голубушка, новенькая, чистенькая, на меди солнышко играет, и синяя начинка между медными дисками туманно так переливается, струйчато. И видно теперь, что не «пустышка» это, а именно вроде сосуда, вроде стеклянной банки с синим сиропом. Полюбовались мы на нее, вскарабкались на «га-лошу» сами и без лишних слов — в обратный путь.

Лафа этим ученым! Во-первых, днем работают. А во-вторых, ходить им тяжело только в Зону, а из Зоны «га-лоша» сама везет — есть у нее такое устройство, курсограф, что ли, которое ведет «галошу» точно по тому же курсу, по какому она сюда шла. Плыvем мы обратно, все маневры повторяем, останавливаемся, повисим немножко — и дальше, и над всеми моими гайками проходим, хоть со-бирай их обратно в мешок.

Спутники мои, конечно, сразу воспрянули духом. Головами вертят вовсю, страха у них почти не осталось, одно любопытство да радость, что все благополучно обошлось. Принялись болтать. Тендер руками замахал и грозится, что вот сейчас победает и сразу обратно в Зону — дорогоу к гаражу провешивать, а Кирилл взял меня за рукав и принялся мне объяснять про этот свой гравиконцентрат, про «комариную плеши» то есть. Ну, я их не сразу, правда, но укротил. Спокойненько так рассказал им, сколько дураков гробанулось на радостях на обратном пути. «Молчите, — говорю, — и глядите-ка как следует по сторонам, а то будет с вами как с Линдоном Коротышкой». Подействовало. Даже не спросили, что случилось с Линдоном Коротышкой. Плыvем в тишине, а я об одном думаю: как буду свинчивать крышечку. Так и этак представляю себе, как первый глоток сделаю, а перед глазами нет-нет да паутинка и блеснет.

Короче говоря, выбрались мы из Зоны, загнали нас с «галошней» вместе в «воншебойку», или, говоря по-научному, в сапитарный ангар. Мыли нас там в трех кипятках и трех щелочах, облучали какой-то дрянью, обсыпали чем-то и снова мыли, потом высушили и сказали: «Валите, ребята, свободны». Тендер с Кириллом поволокли «пустышку». Народу набежало смотреть — не протолкнешься, и ведь что характерно: все только смотрят и издают привет-

ственные возгласы, а взяться и помочь усталым людям тащить — ни одного смельчака не нашлось. Ладно, мсия это все не касается. Меня теперь ничего не касается.

Стянул я с себя спецкостюм, бросил его прямо на пол — сержанты подберут, — а сам двинул в душевую, потому что мокрый я был весь с головы до ног. Заперся в кабинке, вытащил флягу, отвинтил крышечку и присосался к ней, как клоп. Сижу на лавочке, в коленках пусто, в голове пусто, в душе пусто, знай себе глотаю крепкое как воду. Живой. Отпустила Зона. Отпустила, поганка. Подлая. Живой. Очкарикам этого не понять. Никому, кроме сталкера, этого не понять. И текут у меня по щекам слезы — то ли от крепкого, то ли не знаю отчего. Высосал флягу досуха, сам мокрый, фляга сухая. Одного последнего глотка, конечно, не хватило. Ну ладно, это поправимо. Теперь все поправимо. Живой. Закурил сигарету, сижу. Чувствую — отходить начал. Премиальные в голову пришли. Это у нас в институте поставлено четко. Прямо хоть сейчас иди и получай конвертик. А может, и сюда принесут, прямо в душевую.

Стал я потихоньку раздеваться. Снял часы, смотрю — а в Зоне-то мы пробыли пять часов с минутами, господа мои! Пять часов. Мсия аж передорнуло. Да, господа мои, в Зоне времени нет. Пять часов... А если разобраться, что такое для сталкера пять часов? Плюнуть и растереть. А двенадцать часов не хочешь? А двое суток не хочешь, когда за ночь не успел, целый день в Зоне лежишь рылом в землю, и уже не молишься даже, а вроде бы бредишь, и сам не знаешь, живой ты или мертвый... а на вторую ночь дело сделал, подобрался с хабаром к кордону, а там патрули-пулеметчики, они же тебя ненавидят, им же тебя арестовывать никакого удовольствия нет, они тебя боятся до смерти, что ты заразный, они тебя шлепнуть стремятся, и все козыри у них на руках — иди потом доказывай, что шлепнули тебя незаконно... И значит, снова рылом в землю — молиться до рассвета и опять до темноты, а хабар рядом лежит, и ты даже не знаешь, то ли он просто лежит, то ли он тебя тихонько убивает. Или как Мослатый Исхак — сбился с дороги и на рассвете застрял между двумя канавами, ни вправо, ни влево. Два часа по нему стреляли, попасть не могли. Два часа он мертвым притворялся. Слава богу, поверили, ушли наконец. Я его потом увидел — не узнал, сломали его, как не было человека...

Отер я слезы и включил воду. Долго мылся. Горячий мылся, холодной мылся, снова горячей. Мыла целый кусок извел. Потом надоело. Выключил душ и слышу: барабанят в дверь, и Кирилл весело орет:

— Эй, сталкер, вылезай! Зелененькими пахнет!

Зелененькие — это хорошо. Открыл я дверь, стоит Кирилл в одних трусах, веселый, без никакой меланхолии и конверт мне протягивает.

— Держи, — говорит, — от благодарного человечества.

— Кашлял я на твоё человечество. Сколько здесь?

— В виде исключения и за геройское поведение в опасных обстоятельствах — два оклада!

Да. Так жить можно. Если бы мне здесь за каждую «пустышку» по два оклада платили, я бы Эрнеста давным-давно подальше послал.

— Ну как, доволен? — спрашивает Кирилл, а сам смеется, рот до ушей.

— Ничего, — говорю. — А ты?

Он ничего не сказал. Обхватил меня за шею, прижал к потной своей груди, притиснул, оттолкнул и скрылся в соседнюю кабину.

— Эй! — кричу я ему вслед. — А Тендер что? Подштанники небось стирает?

— Что ты! Тендера там корреспонденты окружили, ты бы на него посмотрел, какой он важный... Он им так компетентно излагает...

— Как, — говорю, — излагает?

— Компетентно.

— Ладно, — говорю, — сэр. В следующий раз захвату словарь, сэр. — И тут меня словно током ударило. — Подожди, Кирилл, — говорю. — Ну-ка выйди сюда.

— Да я уже голый, — говорит.

— Выйди, я не баба!

Ну он вышел. Взял я его за плечи, повернул спиной. Нет. Показалось. Чистая脊на. Струйки пота засохли.

— Чего тебе моя脊на далась? — спрашивает он.

Отвесил я ему пинка, нырнул к себе в душевую и заперся. Нервы, черт бы их подрал. Там мерещилось, здесь мерещится... К дьяволу все это! Нашлось сегодня, как зюзя. Ричарда бы ободрать, вот что! Надо же, стервец, как играет... Ну ни с какой картой его не возьмешь. Я уж и передергивать пробовал, и карты под столом крестил, и по-всякому...

— Кирилл! — кричу. — В «Боржч» сегодня придешь?

— Не в «Борж», а в «Борщ», сколько раз тебе говорить...»

— Брось! Написано «Борж». Ты к нам со своими порядками не суйся. Так придешь или нет? Ричарда бы ободрать...

— Ох, не знаю, Рэд. Ты ведь, простая твоя душа, и не понимаешь, какую мы штуку притащили...

— А ты-то понимаешь?

— Я, впрочем, тоже не понимаю. Это верно. Но теперь, во-первых, понятно, для чего эти «пустышки» служили, а во-вторых, если одна моя идеяка пройдет... Напишу статью и тебе ее персонально посвящу: Рэдрику Шухарту, почетному сталкеру, с благоговением и благодарностью посвящаю.

— Тут-то меня и упекут на два года, — говорю я.

— Зато в науку войдешь. Так эту штуку и будут называть — «банки Шухарта». Звучит?

Пока мы так трепались, я оделся. Сунул пустую флягу в карман, пересчитал зелененькие и пошел себе.

— Счастливо тебе оставаться, сложная твоя душа...

Он не ответил — вода сильно шумела.

Смотрю — в коридоре господин Тендер собственной персоной, красный весь и надутый, что твой индюк. Вокруг него толпа — тут и сотрудники, и корреспонденты, и пара сержантов затесалась (только что с обеда, в зубах ковыряют), а он знай себе болбочет: «Та техника, которой мы располагаем, дает почти сто процентную гарантию успеха и безопасности...» Тут он меня увидел и сразу несколько усох — улыбается, ручкой делает. Ну, думаю, надо удирать. Рванул я когти, однако не успел. Слыши — почут позади.

— Господин Шухарт! Господин Шухарт! Два слова о гараже!

— Комментариев не имею, — отвечаю я и перехожу на бег. Но черта с два от них оторвешься: один с микрофоном справа, другой с фотоаппаратом слева.

— Видели вы в гараже что-нибудь необычное? Буквально два слова!

— Нет у меня комментариев! — говорю я, стараясь держаться к объективу затылком. — Гараж как гараж...

— Благодарю вас. Какого вы мнения о турбоплатформах?

— Прекрасного, — говорю я, а сам нацеливаюсь точнехонько в сортир.

— Что вы думаете о целях Посещения?

— Обратитесь к ученым, — говорю. И раз — за дверь. Слышиу — скребутся. Тогда я им через дверь говорю:

— Настоятельно рекомендую, — говорю, — расспросите господина Тендера, почему у него инос как свекла. Он по скромности замалчивает, а это было наше самое увлекательное приключение.

Как они вдарят по коридору! Как лопади, ей-богу. Я выждал минутку — тихо. Высунулся — никого. И пошел себе, посвистывая. Спустился в проходную, предъявил дылде пропуск, смотрю — он мне честь отдает. Герою дня, значит.

— Вольно, — говорю. — Я вами доволен.

Он осклабился, как будто я ему бог весть как пользовался.

— Ну ты, Рыжий, молодец, — говорит. — Горжусь, — говорит, — таким знакомством.

— Что, — говорю, — будет тебе в твоей Швеции о чем девкам рассказывать?

— Спрашиваешь! — говорит.

Нет, ничего он парень. Я, если честно, таких рослых и румяных не люблю. Девки от них без намята, а чего, спрашивается? Не в росте ведь дело... Иду это я по улице и размышляю, в чем же тут дело. Солнышко светит, безлюдно вокруг.

Миновал я автомобильную стоянку, а там и кордон. Стоят две патрульные машины во всей своей красе, широкие, желтые, прожекторами и пулеметами, жабы, ощетинились, ну и, конечно, голубые каски — всю улицу загородили, не протолкнешься. Я иду, глаза опустил, лучше мне сейчас на них не смотреть, днем на них мне лучше не смотреть совсем: есть там две-три морды, так я боюсь их узнать, скандал большой получится, если я их узнаю. Повезло им, ей-богу, что Кирилл меня в институт сманил, я их, гадов, искал тогда, пришил бы и не прогнулся...

Прохожу я через эту толпу плечом вперед, совсем прошел уже и тут слышу: «Эй, сталкер!» Ну это меня не касается, иду дальше, волоку из пачки сигаретку. Догоняет сзади кто-то, берет за рукав. Я эту руку с себя стряхнул и вполоборота вежливенько так спрашиваю:

— Какого дьявола цепляешься, мистер?

— Постой, сталкер, — говорит он. — Два вопроса.

Поднял я на него глаза — капитан Квотерблад. Старый знакомый. Совсем ссохся, желтый стал какой-то.

— А, — говорю, — здравия желаю, капитан. Как ваша печень?

— Ты, сталкер, мне зубы не заговаривай, — говорит он сердито, а сам так и сверлит меня глазами. — Ты мне лучше скажи, почему сразу не останавливаешься, когда тебя зовут?

И уже тут как тут две голубые каски у него за спиной — лашы па кобурах, глаз не видно, только челюсти под касками шевелятся. И где у них в Канаде таких набирают? На племя их нам прислали, что ли? Днем я патрулей вообще-то не боюсь, но вот обыскать, жабы, могут, а это мне в данный момент ни к чему.

— Да разве вы меня звали, капитан? — говорю. — Всё же какого-то Сталкера...

— А ты, значит, уже и не сталкер?

— Как по вашей милости отсидел — бросил, — говорю. — Завязал. Спасибо вам, капитан, глаза у меня тогда открылись. Если бы не вы...

— Что в предзоннике делал?

— Как что? Я там работаю. Два года уже.

И чтобы закопчить этот неприятный разговор, вынимая я свое удостоверение и предъявляю его капитану Квотербладу. Он взял мою книжечку, перелистал каждую страничку, каждую печать просто-таки обнюхал, чуть ли не облизал. Возвращает мне книжечку, а сам доволен, глаза разгорелись, и даже зарумянился.

— Извини, — говорит, — Шухарт. Не ожидал. Знадит, — говорит, — не прошли для тебя мои советы даром. Что ж, это прекрасно. Хочешь — верь, хочешь — не верь, а я еще тогда предполагал, что из тебя толк должен получиться. Не допускал я, чтобы такой парень...

И попел, и пошел. Ну, думаю, вылечил я еще одного меланхолика себе на голову, а сам, конечно, слушаю, глаза смущенно опускаю, поддакиваю, руки развозжу и даже, помнится, ножкой застенчиво этак панель ковыряю. Эти громилы у капитана за спиной послушали-послушали, замутило их, видно, гляжу — потопали прочь, где веселее. А капитан знай мне о перспективах излагает: учение, мол, свет, неучение — тьма кромешная, господь, мол, честный труд любит и ценит; в общем, несет он эту разнужданную тягомотину, которой нас священник в тюрьме каждое воскресенье травил. А мне выпить хочется — никакого

терпежу нет. Ничего, думаю, Рэд, это ты, браток, тоже выдержишь. Надо, Рэд, терпи! Не сможет он долго в таком же темпе, вот уже и задыхаться начал... Тут, на мое счастье, одна из патрульных машин принялась сигнализировать. Капитан Квотерблэд оглянулся, крякнул с досадой и протягивает мне руку.

— Ну что ж, — говорит. — Рад был с тобой познакомиться, честный человек Шухарт. С удовольствием бы опрокинул с тобой стаканчик в честь такого знакомства. Крепкого, правда, мне нельзя, доктора не велят, но пивка бы я с тобой выпил. Да вот видишь — служба! Ну еще встретимся, — говорит.

Не приведи господь, думаю. Но ручку ему пожимаю и продолжаю краснеть и делать ножкой — все как ему хочется. Потом он ушел наконец, а я чуть ли не стрелой — в «Боржч».

В «Боржче» в это время пусто. Эрнест стоит за стойкой, бокалы протирает и смотрит их на свет. Удивительная, между прочим, вещь: как ни придешь — вечно эти бармены бокалы протирают, словно у них от этого зависит спасение души. Вот так и будет стоять хоть целый день — возьмет бокал, прищурился, посмотрит на свет, подышит на него и давай тереть, потрет-потрет, опять посмотрит, теперь уже через донышко, и опять тереть...

— Здорово, Эрни, — говорю. — Хватит тебе его мучить, дыру пропрешь!

Поглядел он на меня через бокал, пробурчал что-то, будто животом, и, не говоря лишнего слова, наливает мне на четыре пальца крепкого. Я взгромоздился на табурет, глотнул, зажмурился, головой помотал и опять глотнул. Холодильник пощелкивает, из музыкального автомата доносится какое-то тихое пиликанье. Эрнест сопит в очередной бокал — хорошо, спокойно... Я допил, поставил бокал на стойку, и Эрнест без задержки наливает мне еще на четыре пальца прозрачного.

— Ну что, полегче стало? — бурчит. — Оттаял, сталкер?

— Ты знай себе три, — говорю. — Знаешь, один тер-тер и злого духа вызвал. Жил потом в свое удовольствие.

— Это кто же такой? — спрашивает Эрни с недоверием.

— Да был такой бармен здесь, — отвечаю. — Еще до тебя.

— Ну и что?

— Да ничего. Ты думаешь, почему Посещение было? Тер он, тер... Ты думаешь, кто нас посетил, а?

— Трепло ты, — говорит мне Эрни с одобрением.

Вышел он на кухню и вернулся с тарелкой — жареных сосисок принес. Тарелку поставил передо мной, пододвинул кетчуп, а сам — снова за бокалы. Эрнест свое дело знает. Глаз у него наметанный, сразу видит, что сталкер из Зоны, что хабар будет, и знает Эрни, чего сталкеру после Зоны надо. Свой человек Эрни. Благодетель.

Доеvши сосиски, я закурил и стал прикидывать, сколько же Эрнест на нашем брате зарабатывает. Какие цены на хабар в Европе, я не знаю, но краем уха слышал, что «пустышка», например, идет там чуть ли не за две с половиной тысячи, а Эрни дает нам всего четыреста. «Батарейки» там стоят не меньше ста, а мы получаем от силы по двадцать. Наверное, и все прочее в том же духе. Правда, переправить хабар в Европу тоже, конечно, денег стоит. Тому на лапу, этому на лапу, начальник станции наверняка у них на содержании... В общем, если подумать, не так уж много Эрнест и заколачивает — процентов пятнадцать-двадцать, не больше, а если попадется, десять лет каторги ему обеспечено...

Тут мои благочестивые размышления прерывает какой-то вежливый тип. Я даже не слышал, как он вошел. Объявляется он возле моего правого локтя и спрашивает:

— Разрешите?

— О чём речь? — говорю. — Промшу.

Маленький такой, худенький, с востреньким носиком и при галстуке бабочкой. Фотокарточка его вроде мне знакома, где-то я его уже видел, но где — не помню. Залез он на табурет рядом и говорит Эрнесту:

— «Бурбон», пожалуйста. — И сразу же ко мне: — Простите, кажется, я вас знаю. Вы в Международном институте работаете, так?

— Да, — говорю. — А вы?

Он ловко выхватывает из кармашка визитку и кладет передо мной. Читаю: «Алоиз Макно, полномочный агент Бюро эмиграции». Ну конечно, знаю я его. Пристает к людям, чтобы они из города уезжали. Кому-то очень надо, чтобы все мы из города уехали. Нас, понимаешь, в Хармонте и так еще половина осталась от прежнего, так им нужно совсем место от нас очистить. Отодвинул я карточку ногтем и говорю ему:

— Нет, — говорю, — спасибо. Не интересуюсь. Мечтаю, знаете ли, умереть на родине.

— А почему? — живо спрашивает он. — Простите за нескромность, но что вас здесь удерживает?

Так ему прямо и скажи, что меня здесь держит.

— А как же, — говорю. — Сладкие воспоминания детства. Первый поцелуй в городском саду. Маменька, папенька. Как в первый раз пьян надрался в этом вот баре. Милый сердцу полицейский участок... — Тут я достаю из кармана свой засморканный носовой платок и прикладываю к глазам. — Нет, — говорю. — Ни за что!

Он посмотрел, лизнул свой «бурбон» и задумчиво так говорит:

— Никак я вас, хармантцев, не могу понять. Жизнь в городе тяжелая. Власть принадлежит военным организациям. Снабжение неважное. Под боком — Зона, живете как на вулкане. В любой момент может либо эпидемия какая-нибудь разразиться, либо что-нибудь похуже... Я понимаю — старики. Им трудно сняться с насиженного места. Но вот вы... Сколько вам лет? Года двадцать два — двадцать три, не больше. Вы поймите, наше Бюро — организация благотворительная, никакой корысти мы не извлекаем. Просто хочется, чтобы люди ушли с этого дьявольского места и включились бы в настоящую жизнь. Ведь мы обеспечиваем подъемные, трудоустройство на новом месте. Молодым, таким, как вы, обеспечиваем возможность учиться... Нет, не попимаю!

— А что, — говорю я, — никто не хочет уезжать?

— Да нет, не то чтобы никто... Некоторые соглашаются, особенно люди с семьями. Но вот молодежь, старики... Ну что вам в этом городе? Это же дыра, провинция...

И тут я ему выдал.

— Господин Алоиз Макно, — говорю. — Все правильно. Городишко наш — дыра. Всегда дырой был и сейчас дыра. Только сейчас, — говорю, — это дыра в будущее. Через эту дыру мы такое в ваш паршивый мир накачаем, что все переменится. Жизнь будет другая, правильная, у каждого будет все, что надо. Вот вам и дыра. Через эту дыру знания идут. А когда знание будет, мы и богатыми всех сделаем, и к звездам полетим, и куда хочешь доберемся. Вот такая у нас здесь дыра...

На этом месте я оборвал, потому что заметил, что Эрнест смотрит на меня с огромным удивлением, и стало мне неловко. Я вообще не люблю чужие слова повторять,

даже если эти слова мне, скажем, нравятся. Тем более что у меня это как-то коряво выходит. Когда Кирилл говорит, заслушаться можно, рот забываешь закрыть. А я вроде бы то же самое излагаю, но получается как-то не так. Может быть, потому, что Кирилл никогда Эрнесту под прилавок хабар не складывал. Ну ладно...

Тут мой Эрни спохватился и торопливо налил мне сразу пальцев на шесть: очухайся, мол, парень, что это с тобой сегодня? А востроносый господин Макно снова лизнул свой «бурбон» и говорит:

— Да, конечно... Вечные аккумуляторы, «сияя панцея»... Но вы и в самом деле верите, что будет так, как вы сказали?

— Это не ваша забота, во что я там на самом деле верю, — говорю я. — Это я про город говорил. А про себя я так скажу: чего я у вас там, в Европе, не видел? Скуки вашей не видел? День вкалываешь, вечер телевизор смотришь, ночь пришла — к постылой бабе под одеяло, ублюдков плодить. Стачки ваши, демонстрации, политика раздолбанная... В гробу я вашу Европу видел, — говорю, — занюханную.

— Ну почему же обязательно Европа?

— А, — говорю, — везде одно и то же, а в Антарктиде еще вдобавок холодно.

И ведь что удивительно: говорил я ему и всеми печенками верил в то, что говорил. И Зона наша, гадина, убийца, во сто раз милее мне в этот момент была, чем все ихние Европы и Африки. И ведь пьян еще не был, а просто представилось мне на мгновение, как я, весь измочаленный, с работы возвращаюсь в стаде таких же кретинов, как меня в ихнем метро давят со всех сторон и как все мне обрыдло, и ничего мне не хочется.

— А вы что скажете? — обращается востроносый к Эрнесту.

— У меня дело, — веско отвечает Эрни. — Я вам не сопляк какой-нибудь. Я все свои деньги в это дело вложил. Ко мне иной раз сам комендант заходит, генерал. Чего же я отсюда поеду?

Господин Алоиз Макно припялся ему что-то втолковывать с цифрами, но я его уже не слушал. Хлебнул я как следует из бокала, выгреб из кармана кучу мелочи, слез с табуретки и первым делом запустил музыкальный автомат на полную катушку. Есть там одна такая песенка — «Не возвращайся, если не уверен». Очень она на

меня хорошо действует после Зоны... Ну автомат, значит, трепит и завывает, а я забрал свой бокал и пошел в угол к «однорукому бандиту» старые счеты сводить. Полетело время, как птичка... Просаживаю это я последний никель, и тут вваливаются под гостеприимные своды Ричард Нунан с Гуталином. Гуталин уже на бровях — вращает белками и ищет, кому бы дать в рыло, а Ричард Нунан нежно держит его под руку и отвлекает анекдотами. Хороша парочка. Гуталин здоровенный, черный, как офицерский саног, курчавый, ручищи до колен, а Дик — маленький, кругленький, розовенький весь, благостный, только что не светится.

— А! — кричит Дик, увидев меня. — Вот и Рэд здесь! Иди к нам, Рэд!

— Пр-правильно! — ревет Гуталин. — Во всем городе есть только два человека — Рэд и я! Все остальные — свиньи, дети сатаны. Рэд! Ты тоже служишь сатане, но ты все-таки человек...

Я подхожу к ним со своим бокалом, Гуталин сгребает меня за куртку, сажает за столик и говорит:

— Садись, Рыжий! Садись, слуга сатаны! Люблю тебя. Поплачем о грехах человеческих. Горько восплачим!

— Восплачим, — говорю. — Глотнем слез греха.

— Ибо грядет день, — возвещает Гуталин. — Ибо взнуждан уже конь бледный, и уже вложил ногу в стремя всадник его. И щетны молитвы продавшихся сатане. И спасутся только ополчившиеся на него. Вы, дети человеческие, сатаною прельщенные, сатанинскими игрушками играющие, сатанинских сокровищ взалкавшие, — вам говорю: «Слепые! Опомнитесь, пока не поздно. Растрончите дьявольские бирюльки!» — Тут он вдруг замолчал, словно забыл, как будет дальше. — А выпить мне здесь дадут? — спросил он уже другим голосом. — Или где это я? Знаешь, Рыжий, опять меня с работы поперли. «Агитатор», — говорят. Я им объясняю: «Опомнитесь, сами, слепые, в пропасть валитесь и других слепцов за собой тянете!» Смеются. Ну я дал управляющему по харе и ушел. Посадят теперь. А за что?

Подошел Дик, поставил на стол бутылку.

— Сегодня я плачу! — крикнул я Эрнесту.

Дик на меня скосился.

— Все законно, — говорю. — Премию будем пропивать.

— В Зону ходили? — спрашивает Дик. — Что-нибудь вынесли?

— Полную «пустышку», — говорю я. — И полные штаны вдобавок. Ты разливать будешь или нет?

— «Пустышку»! — горестно гудит Гуталин. — За какую-то «пустышку» жизнью своей рисковал! Жив остался, но в мир принес еще одно дьявольское изделие. А как ты можешь знать, Рыжий, сколько горя и греха...

— Засохни, Гуталин, — говорю я ему строго. — Пей и веселись, что я живой вернулся. За удачу, ребята!

Хорошо пошло за удачу. Гуталин совсем раскис — сидит плачет, течет у него из глаз, как из водопроводного крана. Ничего, я его знаю. Это у него стадия такая — обливаться слезами и проповедовать, что Зона, мол, есть дьявольский соблазн, выносить из нее ничего нельзя, а что уже вынесли — вернуть обратно и жить так, будто Зоны вовсе нет. Дьяволово, мол, дьяволу.

Я его люблю, Гуталина. Я вообще чудаков люблю. У него когда деньги есть, он у кого попало хабар скучает не торгуясь, за сколько спросят, а потом ночью прет этот хабар обратно, в Зону, и там закапывает. Во ревет-то, господи! Ну ничего, он еще разойдется.

— А что это такое — полная «пустышка»? — спрашивает Дик. — Просто «пустышку» я знаю, а вот что такое полная? Первый раз слышу.

Я ему объяснил. Он головой покачал, губами почмокал.

— Да, — говорит, — это интересно. Это, — говорит, — что-то новенькое. А с кем ты ходил? С русским?

— Да, — отвечаю. — С Кириллом и с Тендером. Знаешь, наш лаборант.

— Намучился с ними, наверное...

— Ничего подобного. Вполне прилично держались ребята. Особенно Кирилл. Прирожденный сталкер, — говорю. — Ему бы опыта побольше, торопливость с него эту ребячью сбить, я бы с ним каждый день в Зону ходил.

— И каждую ночь? — спрашивает он с пьяным смешком.

— Ты это брось, — говорю. — Шутки шутками...

— Знаю, — говорит он. — Шутки шутками, а за такое и по морде можно схлопотать. Считай, что я тебе должен две плюхи...

— Кому две плюхи? — встрепенулся Гуталин. — Который здесь?

Схватили мы его за руки, еле усадили. Дик ему сига-

рету в зубы вставил и зажигалку поднес. Успокоили. А народу тем временем все прибавляется. Стойку уже облепили, многие столики запяты. Эрнест своих девок кликнул, бегают они, разносят кому что — кому пива, кому коктейлей, кому чистого. Я смотрю, последнее время в городе много незнакомых появилось — все больше какие-то молокососы в пестрых шарфах до полу. Я сказал об этом Дику. Дик кивнул.

— А как же, — говорит. — Начинается большое строительство. Институт три новых здания закладывает, а кроме того, Зону собираются стеной огородить — от кладбища до старого ранчо. Хорошие времена для сталкеров кончаются...

— А когда они у сталкеров были, — говорю. А сам думаю: «Вот тебе и на, что еще за новости? Значит, теперь не подработаешь. Ну что ж, может, это и к лучшему — соблазна меньше. Буду ходить в Зону днем, как порядочный, деньги, конечно, не те, но зато куда безопаснее — «галоша», спецкостюм, то, се, и на патрулей наплевывать... Прожить можно и на зарплату, а выпивать буду на премиальные». И такая меня тоска взяла. Опять каждый грош считать: это можно себе позволить, это нельзя себе позволить. Гуте на любую тряпку копи, в бар не ходи, ходи в кино... И серо все, серо. Каждый день серо, и каждый вечер, и каждую ночь.

Сижу я так, думаю, а Дик над ухом гудит:

— Вчера в гостинице, — говорит, — зашел я в бар принять почной колпачок — сидят какие-то новые. Сразу они мне не понравились. Подсаживается один ко мне и заводит разговор издалека, дает понять, что он меня знает, знает, кто я, где работаю, и намекает, что готов хорошо оплачивать разнообразные услуги...

— Шпик, — говорю я. Не очень мне интересно было это, шпиков я здесь навидался и разговоров насчет услуг наслышался.

— Нет, милый мой, не шпик. Ты послушай. Я немножко с ним побеседовал — осторожно, конечно, дурачка такого состроил. Его интересуют кое-какие предметы в Зоне, и при этом предметы серьезные. Аккумуляторы, «зуда», «черные брызги» и прочая бижутерия ему не нужна. А на то, что ему нужно, он только намекал.

— Так что же ему нужно? — спрашиваю я.

— «Ведьмин студень», как я понял, — говорит Дик и странно как-то на меня смотрит.

— Ах, «ведьмин студень» ему нужен! — говорю я. — А «смерть-лампа» ему случайно не нужна?

— Я его тоже так спросил.

— Ну?

— Представь себе, нужна.

— Да? — говорю я. — Ну так пусть сам и добывает все это. Это же раз плюнуть. «Ведьмина студня» вон полные подвалы, бери ведро да зачерпывай. Похоронь за свой счет.

Дик молчит, смотрит на меня исподлобья и даже не улыбается. Что за черт, нанять он меня хочет, что ли? И тут до меня дошло.

— Подожди, — говорю. — Кто же это такой был? «Студень» запрещено даже в институте изучать...

— Правильно, — говорит Дик неторопливо, а сам все на меня смотрит. — Исследование, представляющее потенциальную опасность для человечества. Понял теперь, кто это?

Ничего я не понимал.

— Прищельцы, что ли? — говорю.

Он расхохотался, похлопал меня по руке и говорит:

— Давай-ка лучше выпьем, простая ты душа!

— Давай, — говорю, но злюсь. Тоже мне — нашли себе простую душу, сукины дети! — Эй, — говорю, — Гуталин! Хватит спать, давай выпьем.

Нет, спит Гуталин. Положил свою черную ряшку на черный столик и спит, руки до полу свесил. Выпили мы с Диком без Гуталина.

— Ну ладно, — говорю. — Простая я там душа или сложная, а про этого типа я бы тут же донес куда следует. Уж на что я не люблю полицию, а сам бы пошел и донес.

— Угу, — говорит Дик. — А тебя бы в полиции спросили: а почему, собственно, оный тип именно к вам обратился? А?

Я помотал головой.

— Все равно. Ты, толстый боров, в городе третий год, а в Зоне ни разу не был, «ведьмин студень» только в кино видел, а посмотрел бы ты его в натуре, да что он с человеком делает — ты бы тут же и обгадился. Это, милок, страшная штука, ее из Зоны выносить нельзя... Сам знаешь, сталкеры — люди грубые, им только капусту подавай, да побольше, но на такое даже покойный Слизняк не пошел бы. Стервятник Барбридж на такое не пойдет...

Я даже представить себе боюсь, кому и для чего «ведьмин студень» может понадобиться...

— Что ж, — говорит Дик. — Все это правильно. Только мне, понимаешь, не хочется, чтобы в одно прекрасное утро нашли меня в постельке покончившего жизнь самоубийством. Я не сталкер, однако человек тоже грубый и деловой и жить, понимаешь, люблю. Давно живу, привык уже...

Тут Эрнест вдруг заорал из-за стойки:

— Господин Нунан! Вас к телефону!

— Вот дьявол, — говорит Дик злобно. — Опять, наверное, рекламация. Везде найдут. Извини, Рэд.

Встает он и уходит к телефону. А я остаюсь с Гуталином и с бутылкой, и поскольку от Гуталина прошу никакого нет, то принимаюсь я за бутылку вплотную. Черт бы побрал эту Зону, нигде от нее спасения нет. Куда ни пойдешь, с кем ни заговоришь — Зона, Зона, Зона... Хорошо, конечно, Кириллу рассуждать, что из Зоны происходит вечный мир и благорастворение воздухов. Кирилл — хороший парень, никто его дураком не назовет, наоборот — умница, но ведь он же о жизни ни черта не знает. Он же представить себе не может, сколько всякой сволочи крутится вокруг Зоны. Вот теперь пожалуйста: «ведьмин студень» кому-то понадобился. Нет. Гуталин хоть и пропойца, хоть и психованный он на религиозной почве, но иногда подумаешь-подумаешь, да и скажешь: может, действительно оставить дьяволово дьяволу?

Тут усаживается на место Дика какой-то сопляк в пестром шарфе.

— Господин Шухарт? — спрашивает.

— Ну? — говорю.

— Меня зовут Креон, — говорит. — Я с Мальты.

— Ну, — говорю, — и как там у вас на Мальте?

— У нас на Мальте неплохо, но я не об этом. Меня к вам направил Эрнест.

Так, думаю. Сволович все-таки этот Эрнест. Ни жалости в нем нет, ничего. Вот сидит парнишка — смугленький, чистенький, красавчик, но брился, поди, еще ни разу и девику еще ни разу не целовал, а Эрнесту все равно, ему бы только побольше народу в Зону загнать, один из трех с хабаром вернется — уже капуста...

— Ну и как поживает старина Эрнест? — спрашиваю.

Он оглянулся на стойку и говорит:

— По-моему, он неплохо поживает. Я бы с ним поменялся.

— А я бы нет, — говорю. — Выпить хочешь?

— Спасибо, я не пью.

— Ну закури, — говорю.

— Извините, но я и не курю тоже.

— Черт тебя подери, — говорю я ему. — Так зачем тебе тогда деньги?

Он покраснел, перестал улыбаться и негромко так говорит:

— Наверное, — говорит, — это только меня касается, господин Шухарт, правда ведь?

— Что правда, то правда, — говорю я и наливаю себе на четыре пальца. В голове, надо сказать, уже немного шумит, и в теле этакая приятная расслабленность: совсем отпустила Зона. — Сейчас я пьян, — говорю. — Гуляю, как видишь. Ходил в Зону, вернулся живой и с деньгами. Это не часто бывает, чтобы живой, и уж совсем редко, чтобы с деньгами. Так что давай отложим серьезный разговор...

Тут он вскакивает, говорит «извините», и я вижу, что вернулся Дик. Стоит рядом со своим стулом, и по лицу его я понимаю — что-то случилось.

— Ну, — спрашиваю, — опять твои баллоны вакуум не держат?

— Да, — говорит он. — Опять.

Садится, наливает себе, подливает мне, и вижу я, что не в рекламации дело. На рекламации он, надо сказать, поплевывает — тот еще работничек.

— Давай, — говорит, — выпьем, Рэд. — И, не дожидаясь меня, опрокидывает залпом всю свою порцию и наливает новую. — Ты знаешь, — говорит он, — Кирилл Панов умер.

Сквозь хмель я его не сразу понял. Умер там кто-то и умер.

— Что ж, — говорю, — выпьем за упокой души...

Он глянул на меня круглыми глазами, и только тогда я почувствовал, словно все у меня внутри оборвалось. Помнится, я встал, уперся в столешницу и смотрю на него сверху вниз.

— Кирилл?! — А у самого перед глазами серебряная паутина, и снова я слышу, как она потрескивает, разрываясь. И через это жуткое потрескивание голос Дика доходит до меня, как из другой комнаты:

— Разрыв сердца. В душевой его нашли, голого. Никто, ничего не понимает. Про тебя спрашивали, я сказал, что ты в полном порядке...

— А чего тут не понимать? — говорю. — Зона...

— Ты сядь, — говорит мне Дик. — Сядь и выпей.

— Зона... — повторяю я и не могу остановиться: — Зона... Зона...

Ничего вокруг не вижу, кроме серебряной паутины. Весь бар запутался в паутине, люди двигаются, а паутина тихонько потрескивает, когда они ее задевают. А в центре мальтиец стоит, лицо у него удивленное, детское, ничего не понимает.

— Малыш, — говорю я ему ласково. — Сколько тебе денег надо? Тысячи хватит? На! Бери, бери! — Сую я ему деньги и уже кричу: — Иди к Эрнесту и скажи ему, что он подонок, не бойся, скажи! Он же трус!. Скажи и сейчас же иди на станцию, купи себе билет и прямиком на свою Мальту! Нигде не задерживайся!..

Не помню, что я там еще кричал. Помню, оказался я перед стойкой, Эрнест поставил передо мной бокал освежающего и спрашивает:

— Ты сегодня вроде при деньгах?

— Да, — говорю. — При деньгах...

— Может, должок отдать? Мне завтра налог платить.

И тут я вижу — в кулаке у меня пачка денег. Смотрю я на эту капусту зеленую и бормочу:

— Надо же, не взял, значит, Креон Мальтийский... Гордый, значит... Ну, все остальное — судьба.

— Что это с тобой? — спрашивает друг Эрни. — Перебрал малость?

— Нет, — говорю. — Я, — говорю, — в полном порядке. Хоть сейчас в душ.

— Шел бы ты домой, — говорит друг Эрни. — Перебрал ты малость.

— Кирилл умер, — говорю я ему.

— Это который Кирилл? Шелудивый, что ли?

— Сам ты шелудивый, — говорю я ему. — Из тысячи таких, как ты, одного Кирилла не сделать. Паскуда ты, — говорю. — Торгаш воинчий. Смертью ведь торгуешь, морда. Купил нас всех за зслепенькие... Хочешь, сейчас всю твою лавочку разнесу?

И только я замахнулся как следует, вдруг меня хвалят и тащат куда-то. А я уже ничего не соображаю и соображать не хочу. Ору чего-то, отбиваюсь ногами, кого-

то бью, потом опомнился — сижу в туалетной, весь мокрый, морда разбита. Смотрю на себя в зеркало и не узнаю, и тик мне какой-то щеку сводит, никогда этого раньше не было. А из зала — шум, трещит что-то, посуда бьется, девки визжат, и слышу — Гуталин ревет:

— Покайтесь, паразиты! Где Рыжий? Куда Рыжего дели, чертова семя?

Полицейская сирена завывает. Как она завыла, тут у меня в мозгу все словно хрустальное сделалось. Все помню, все знаю, все понимаю. И в душе уже больше ничего нет — одна ледяная злоба. «Так, — думаю, — я тебе сейчас устрою вечерочек. Я тебе покажу, что такое сталкер, торгаш вонючий». Вытащил я из часового карманчика «зуду», новеньющую, ни разу не пользованную, пару раз сжал ее между пальцами для разгона, дверь в зал приоткрыл и бросил ее тихонько в плевательницу. А сам окно в сортире распахнул — и на улицу. Очень мне, конечно, хотелось посмотреть, как все это получится, но надо было рвать когти. Я эту «зуду» переносу плохо, у меня от нее кровь из носа идет.

Перебежал я через двор и слышу: заработала моя «зуда» на всю катушку. Сначала завыли и залаяли собаки по всему кварталу — они первыми «зуду» чуют. Потом завопил кто-то в кабаке, так что у меня даже уши заложило на расстоянии. Я так и представил себе, как там народишко заметался — кто в меланхолию впал, кто в дикое буйство, кто от страха не знает, куда деваться... Страшная штука — «зуда». Теперь у Эрнеста не скоро полный кабак наберется. Он, конечно, догадается про меня, да только мне плевать... Все! Нет больше сталкера Рэда. Хватит с меня этого! Хватит мне самому на смерть,ходить и других дураков этому делу обучать. Ошибся ты, Кирилл, дружок мой милый. Прости, да только, выходит, не ты прав, а Гуталин прав. Нечего здесь людям делать. Нет в Зоне добра.

Перелез я через забор и побрел потихоньку домой. Губы кусаю, плакать хочется, а не могу. Впереди пустота, ничего нет. Тоска, будни. «Кирилл, дружок мой единственный, как же это мы с тобой? Как же я теперь без тебя? Перспективы мне рисовал, про новый мир, про измененный мир... а теперь что? Заплачет по тебе кто-то в далекой России, а я вот и заплакать не могу. И ведь я во всем виноват, паразит, не кто-нибудь, а я! Как я, скотина, смел его в гараж вести, когда у него глаза к тем-

ноте не привыкли? Всю жизнь волком жил, всю жизнь об одном себе думал... И вот в кои-то веки вздумал облагодетельствовать, подарочек поднести. На кой черт я вообще ему про эту «пустышку» сказал?» И как вспомнил я об этом — взяло меня за глотку, хоть и вправду волком вон. Я, наверное, и завыл — люди от меня что-то шарахаться стали, а потом вдруг словно бы полегчало: смотрю — Гута идет.

Идет она мне навстречу, моя красавица, девочка моя, идет, ножками своими ладными переступает, юбочка над коленками колышется, из всех подворотен на ее глазеют, а она идет как по струничке, ни на кого не глядит, и почему-то я сразу понял, что это она меня ищет.

— Здравствуй, — говорю, — Гута. Куда это ты, — говорю, — направилась?

Она окинула меня взглядом, в момент все увидела — и морду у меня разбитую, и куртку мокрую, и кулаки в ссадинах, — но ничего про это не сказала, а говорит только:

— Здравствуй, Рэд. А я как раз тебя ищу.

— Знаю, — говорю. — Пойдем ко мне.

Она молчит, отвернулась и в сторону смотрит. Ах, как у нее головка-то посажена, шейка какая, — как у кобылки молоденькой, гордой, но уже покорной своему хозяину. Потом она говорит:

— Не знаю, Рэд. Может, ты со мной больше встречаться не захочешь.

У меня сердце сразу сжалось — что еще? Но я спокойно ей так говорю:

— Что-то я тебя не понимаю, Гута. Ты меня извини, я сегодня маленько того, может, поэтому плохо обращаюсь... Почему это я вдруг с тобой не захочу встречаться?

Беру я ее под руку, и идем мы не спеша к моему дому, и все, кто только что на нее глазел, теперь торопливо рыла прячут. Я на этой улице всю жизнь живу. Рэда Рыжего здесь все прекрасно знают. А кто не знает, тот у меня быстро узнает, и он это чувствует.

— Мать велит аборт делать, — говорит вдруг Гута. — А я не хочу.

Я еще несколько шагов прошел, прежде чем понял, а Гута продолжает:

— Не хочу я никаких абортов, я ребенка хочу от тебя.

А ты — как угодно. Можешь на все четыре стороны, я тебя не держу.

Слушаю я ее, как она понемножку накаляется, сама себя заводит, слушаю и потихоньку балдею. Ничего толком сообразить не могу. В голове какая-то глупость вертится: одним человеком меньше — одним человеком больше.

— Она мне толкует, — говорит Гута, — ребенок, мол, от сталкера, чего тебе уродов плодить? Непутевый он, — говорит, — ни семьи у вас не будет, ничего. Сегодня он на воле, завтра — в тюрьме. А только мне все равно, я на все готова. Я и сама могу. Сама рожу, сама подниму, сама человеком сделаю. И без тебя обойдусь. Только ты ко мне больше не подходи — на порог не пущу...

— Гута, — говорю, — девочка моя! Да подожди ты... — А сам не могу — смех меня разбирает какой-то нервный, идиотский. — Ласточка моя, — говорю. — Чего же ты меня гонишь, в самом деле?

Я хохочу, как последний дурак, а она остановилась, уткнулась мне в грудь и ревет.

НЕКРОЛОГ

За завтраком мой муж Ланселот всегда читал газету. Я его почти не видела. Длинное, худое, не от мира сего лицо с выражением постоянной досады и утомленной озабоченности возникало ненадолго передо мной, когда он выходил к завтраку, и тут же скрывалось за газетой, заботливо приготовленной для него на столе. И это все. Обычно он не здоровался.

Потом я видела только руку, которая появлялась из-за развернутого листа, чтобы взять вторую чашку кофе, в которую я аккуратно насыпала точное количество сахара — чайную ложку, не с верхом, но полную, ровно столько, сколько надо.

Я давно привыкла к этому и не обижалась. По крайней мере, позавтракать можно было спокойно.

Впрочем, в то утро спокойствие было нарушено: Ланселот неожиданно пролаял:

— Черт возьми! Этот болван Поль Фарберкоммер отдал концы. Удар.

Я с трудом припомнила фамилию. Ланселот как-то упоминал ее, и я поняла, что речь идет еще об одном физике-теоретике. Судя по раздражению моего мужа, он, видимо, пользовался в какой-то мере известностью. Наверное, один из тех, кто все же достиг успеха, всегда ускользавшего от Ланселота.

Он положил газету на стол и гневно уставился на меня.

— Почему, — зло спросил он, — почему в некрологах всегда пишут такую чушь?! Они сделали из него второго

Эйнштейна, и это потому лишь, что его хватила кондитерская...

Некрологи — это тема, которой я всегда стараюсь избегать в разговоре с мужем. Я даже не рискнула кивнуть в ответ.

Он швырнул газету и вышел, оставив недоеденное яйцо. Ко второй чашке кофе он даже не притронулся.

Я вздохнула. Что еще мне оставалось делать? Так было всегда.

Ланселот Стеббингс — вымышленное имя. Я часто теперь меняю фамилию и местожительство. Однако все дело как раз в том, что, назови я настоящее имя моего мужа, вам бы оно все равно ничего не сказало.

У Ланселота был талант в этом отношении — талант оставаться неизвестным. Его открытия неизменно кто-то предвосхищал, или они проходили незамеченными в тени еще большего открытия, которое обязательно случалось одновременно. На научных конференциях его доклады почти никто не слушал, потому что, как правило, в то же самое время на другой секции кто-то делал важное сообщение.

Естественно, все это сказалось на нем.

* * *

Двадцать пять лет назад, когда я выходила за него замуж, он был, конечно, завидный жених. Состоительный, не нуждающийся ни в чем человек и одновременно хороший физик, честолюбивый и подающий большие надежды. И я тогда, думаю, была довольно хорошенькой. Но все это скоро кончилось. Осталась лишь замкнутость. И полная моя неспособность составить мужу блестящую пару в обществе. А это для жены честолюбивого, молодого и талантливого ученого просто необходимо.

Не исключено, что это сильно способствовало таланту Ланселота оставаться незамеченным. Будь у него жена другого типа, она сумела бы сделать его заметным, по крайней мере, в лучах собственного успеха в обществе.

Понял ли он это через какое-то время и из-за этого отдалился от меня после двух-трех умеренно счастливых лет? Или причина была другая? Порой мне казалось, что все дело во мне, и я горько корила себя.

Потом я поняла, что охладел он ко мне только от жажды славы, которая из-за неутоленности становилась непомерной. Он ушел с факультета и построил собственную лабораторию далеко за городом. «Земля там дешевле плюс уединение», — объяснил он мне.

Денежные проблемы нас не тревожили. В его области науки правительство не скучилось на щедрые ассигнования. И он всегда мог достать нужное количество средств. Кроме того, он тратил и наши деньги, не считаясь...

Я в свое время пыталась противиться. Я сказала:

— Ланселот, но ведь в этом нет необходимости. Разве тебе не хватает казенных денег? Разве тебя гонят с твоего места на факультете? Тебя с удовольствием оставили бы в университете. А все, что мне надо, — дети и нормальная жизнь...

Но в нем поселился сжигавший его бес, который сделал его бесчувственным ко всему на свете. Он рассерженно ответил мне:

— Есть вещи на свете, которые важнее всего этого. Меня должны признать в науке, должны понять, наконец, что я... э-э... настоящий ученый!

Тогда он еще не решался говорить о себе — гений. Все это не помогло. Невезенье продолжалось. Случай постоянно был против него. В лаборатории у него кипела работа. Он нанял себе помощников и отлично платил им. К себе он был безжалостен и работал как вол. И все напрасно.

Я надеялась, что однажды он бросит все, вернется в город, и у нас начнется наконец нормальная спокойная жизнь. Я ждала. Но всякий раз после поражения он начинал новую атаку, безуспешно пытаясь захватить бастоны славы и признания. И всякий раз он надеялся. И всякий раз терпел поражение. И в полном отчаяния отступал. И каждый раз всю злость он срывал на мне. Мир топтал его, он отыгрывался на мне. Я всегда была слишком нерешительной, но и я в конце концов стала думать, что мне надо уйти от него.

И все же...

В том году он готовился к очередной схватке. Последней. Так, во всяком случае, я думала. Он стал напряженей, жестче, суевливее. Таким я его раньше не видела. По временам он начинал вдруг бормотать себе что-то под нос или смеялся без причины коротким смешком. Бывало, по нескольку суток он не ел и не спал. Теперь даже

лабораторные тетради он держал у себя в сейфе в спальне, как будто боялся своих собственных помощников.

И эта попытка, думала я обреченно, наверняка провалится. Но если так, то наверняка тогда случится и другое... В его возрасте он наконец поймет (ему придется понять), что последний шанс от него ускользнул. Он просто вынужден будет все бросить.

Я решила ждать, сбрав все свое терпение.

Но этот некролог за завтраком свалился как снег на голову.

Дело в том, что как-то по такому же случаю я заметила, что, по крайней мере, в его собственном некрологе он может рассчитывать на какую-то долю признания...

Теперь я понимаю, что мое замечание было не слишком остроумным. Впрочем, мои замечания никогда и не претендовали на исключительно остроумные. Мне просто хотелось как-то развеселить его, вытащить из состояния уныния, когда, я знала это по опыту, он становился невыносим.

А может быть, в этом была и бессознательная насмешка. Не отрицаю этого. Он повернулся ко мне в бешенстве. Все его худое тело затряслось, брови судорожно сошлись над глубоко запавшими глазами, и он закричал:

— Я никогда не смогу прочитать свой собственный некролог. Никогда! Даже этого я лишен! — И в ярости плонул в меня. Злобно плонул прямо в меня.

Я убежала к себе.

Он так и не извинился. Но через несколько дней, в течение которых я избегала его, наша неестественная жизнь потекла как прежде. Ни он, ни я больше не вспоминали об этом случае.

И вот сегодня очередной некролог в газете. В одиночестве доканчивая завтрак, я почувствовала, что в длинной цепи его неудач наступает кульминационный момент...

Я чувствовала, что развязка близка, и не знала, то ли бояться, то ли радоваться. В целом, наверно, я все же была рада. Любая перемена была бы теперь к лучшему...

* * *

Он пришел ко мне в комнату до завтрака. Я шила, чтобы занять чем-нибудь руки. Чтобы занять голову, я включила телевизор.

— Мне понадобится твоя помощь, — коротко сказал он.

Последний раз нечто подобное он произнес лет двадцать назад. И невольно у меня потеплело внутри. Он был болезненно возбужден. На обычно бледных щеках горели яркие пятна нездорового румянца.

Я ответила:

— С радостью. Если, конечно, смогу...

— Сможешь. Я отпустил своих помощников на месяц в отпуск. Они уедут в субботу, и в лаборатории останемся только мы с тобой. Я сообщаю тебе об этом заранее, чтобы ты ничем не занимала следующую неделю.

Я вся сжалась.

— Но, Ланселот, ты ведь знаешь, я не смогу тебе помочь в твоей работе. Я ничего в ней не понимаю.

— Я это знаю, — в голосе у него прозвучало бесконечное презрение. — Но тебе и не надо понимать. Все, что от тебя требуется, точно следовать простейшим инструкциям. Но следовать буквально. Дело в том, что я открыл наконец кое-что. И на этот раз...

— О Ланселот! — невольно вырвалось у меня. — Сколько раз я слышала эту фразу!

— Слушай меня, ты, идиотка! И хоть раз попробуй вести себя нормально. На этот раз мне действительно удалось. Никому меня не опередить. Мое открытие настолько необычно, что ни одному из живущих физиков, кроме меня, не хватит мозгов додуматься до него. Да и через тридцать лет не додумаются. Это будет гром среди ясного неба. Я действительно стану самым знаменитым и великим ученым из когда-либо родившихся на земле.

— О Ланселот, я очень рада, рада за тебя!

— Я сказал — стану. Но могу и не стать. Признание в науке самая несправедливая вещь на свете. Мне это известно больше, чем кому-либо. Просто объявить открытие еще далеко не все. Если я так сделаю, они все тут же навалятся на эти проблемы, и не успеешь глазом моргнуть, как твое имя уже превратится в исторический апокриф. А слава достается этим бесконечным «последопкам».

Я думаю, что говорил он со мной тогда, за три дня до осуществления своего замысла, только по одной-единственной причине — он не мог больше сдерживать себя. Гордость и тщеславие расpirали его, а я была единственная из всего человеческого рода, достаточно незна-

чительная сама по себе, чтобы стать свидетелем этой несдержанности... Он говорил:

— Я так обставил мое открытие, так дам этому человечеству по мозгам, что никогда никому не удастся сравниться со мной...

Он зашел слишком далеко. И я стала бояться, как бы очередное разочарование не оказалось для него чрезмерным и не свело бы его с ума. Я спросила:

— Ланселот, а скажи на милость, стоит ли так беспокоиться? Почему не оставить все как есть и не поехать отдохнуть? Ты слишком долго и слишком много работал, Ланселот. Мы могли бы съездить в Европу. Мне всегда так хотелось...

Он топнул ногой.

— Ты когда-нибудь прекратишь свое идиотское нытье?! В субботу пойдешь со мной в лабораторию...

Три следующие ночи я спала очень плохо. Таким грубым, в такой степени заносчивым он никогда раньше не был. Может быть, он уже сошел с ума?

Сошел с ума от постоянного разочарования. А случай с некрологом послужил поводом. Он отоспал своих помощников и звал меня в лабораторию. Но ведь прежде он никогда меня даже не впускал туда. Неужели он хочет что-то сделать со мной? Безумный эксперимент маньяка? Или он просто убьет меня?

Я много раз думала о том, что надо вызвать полицию, убежать, хоть что-нибудь сделать...

Но наступало очередное утро, и я понимала, что он не безумец. И никогда он не сможет причинить мне боль. Даже тот случай, когда он плонул, был, по существу, далек от идеи насилия в прямом смысле слова. Никогда в нашей жизни, ни разу не было даже попытки с его стороны ударить меня или что-нибудь в этом роде...

И я ждала. В субботу я пошла павстречу тому, что вполне могло быть моей смертью, пошла послушно, как кролик. Молча вдвоем мы шагали по тропинке, что вела от дома к лаборатории.

Уже сама по себе лаборатория показалась мне ужасной. Я неловко озиралась, сторонилась всего, но Ланселот коротко произнес:

— Перестань крутиться, никто тебя не укусит. Делай, что я тебе велю, и смотри туда, куда надо.

Он повел меня в маленькую комнатку, дверь которой была заперта на висячий замок. Комнатку почти до отказа занимали странного вида предметы и огромное количество проводов, которые тянулись во все стороны.

— Ты видишь этот стальной тигель? — спросил Ланселот.

— Вижу, — сказала я.

Он назвал тиглем небольшой, но глубокий ящичек из толстого металла с пятнышками ржавчины спаружи. Ящичек закрывала сетка из грубой проволоки. Он подтолкнул меня, и внутри ящичка я увидела белую мышь. Поднявшись на задние лапки, она стояла, опираясь передними о внутреннюю стенку контейнера. Просунувшее сквозь сетку рыльце мелко подрагивало от любопытства, а может быть, и тревоги. Наверное, я подпрыгнула от страха и неожиданности. Вот так, без предупреждения увидеть мышь — ужасно. Во всяком случае, для меня это было ужасно.

Ланселот зарычал:

— Она тебя не укусит. Стань к стене и смотри!

Все мои страхи воскресли. Дрожа, я с ужасом ждала, как вот-вот откуда-нибудь выскочит молния или выдвигнется что-нибудь и уничтожит, раздавит меня, или... или...

Я зажмурилась. Но ничего не случилось. Со мною, во всяком случае. Я услышала звук «сс-ши-ип», как будто хлопушка зажглась, но не выстрелила, и голос Ланселота произнес:

— Ну?

Я открыла глаза. Он гордо смотрел на меня, откровенно сияя. Я стояла и моргала.

Он сказал:

— Вот, неужели ты не видишь, дура? Перед твоим носом!

В полуметре от первого ящика стоял второй. Я не видела, чтобы он его туда ставил.

— Ты говоришь об этом втором ящичке? — спросила я.

— Это не просто второй ящик — это копия первого. Они похожи до последнего атома. Сравни. Даже пятнышки ржавчины совпадают.

— Ты сделал второй из первого?

— Да, но особым способом. Чтобы сотворить материю, надо, как правило, очень много энергии, невообразимо много. Один грамм двойника требует полного распада ста

граммов урана, и это если не считать потерь. Главное в моем открытии — это то, что, как выяснилось, объект можно скопировать в некоторой точке будущего. И для этого почти не надо энергетических затрат. Конечно, если энергию приложить как следует. Суть подвига, моя... моя дорогая, заключена в том, что мне удалось перенести этот возникающий в будущем дубликат в настоящее время, назад. Иначе говоря, я открыл способ путешествовать во времени.

Так велик был его триумф, восторг и счастье, что он в самом деле, обращаясь ко мне, сказал «моя дорогая».

— Изумительно, — сказала я. Признаться, я и в самом деле была поражена. — А мышь тоже вернулась?

Спрашивая, я заглянула внутрь второго контейнера. И вскрикнула. Второй раз я испытала шок. Внутри была мертвавя белая мышь.

Ланселот чуть покраснел.

— Это пока недостаток всего дела. Я могу возвратить живую материю, по уже неживой. Они возвращаются мертвыми.

— Как это ужасно. Но почему?

— Не знаю. Я уверен, что копия совершенно идентична оригиналу, атом к атому. Никаких видимых повреждений. Вскрытия подтверждают это.

— Ты мог бы спросить, проконсультироваться... — Я умолкла под его взглядом. И тут же решила про себя больше не давать советов, пока меня не попросят. По опыту я знала, что всю славу за открытие получит соавтор.

Ланселот криво усмехнулся:

— Я спрашивал. Вскрытия делали опытные биологи и ничего не обнаружили. Конечно, они не знали, откуда взялись эти животные. И, естественно, я постарался забрать их прежде, чем что-то случится и возникнут подозрения. Боже, даже мои помощники не знают, что я сделал.

— Но почему тебе надо держать все это в таком секрете? Почему?

— Именно потому, что я не могу вернуть мышей живыми. Видимо, какие-то тонкие молекулярные нарушения мешают этому. Стоит мне опубликовать результаты, как тут же кому-то еще может прийти в голову, как этого избежать. Добавив это «чуть-чуть» к моему фундаментальному открытию, он достигнет славы. Славы во сто

крат большей, чем моя, потому что сможет вернуть живого человека с информацией о будущем.

Ланселот был прав. Я отчетливо все представила. И зря он сказал «может прийти в голову». Наверняка придет. Неизбежно. И неважно, что сделал он, Ланселот. В любом случае он потеряет славу и признание. Я была уверена в этом.

— И тем не менее, — продолжал он скорее для себя, чем для меня, — я не могу ждать. Но я должен объявить свое открытие таким способом, чтобы оно навсегда оказалось неразрывно связано с моим именем, всегда ассоциировалось только со мной. Для этого ему должна сопутствовать драма, его надо так драматизировать, что при любом упоминании о путешествии во времени просто нельзя было бы не вспомнить обо мне, что бы ни сделал кто-то другой. Я собираюсь сыграть эту драму, и тебе в ней отведена роль.

— Чего ты хочешь от меня, Ланселот?

— Ты будешь моей вдовой.

Я вцепилась ему в рукав.

— Ланселот! Ты... — Я не сумела бы проанализировать клубок противоречивых чувств, возникших во мне в тот момент.

Он резко высвободился.

— Только на время. Я не собираюсь кончать самоубийством. Я хочу всего лишь перенести себя на три дня в будущее и вернуться.

— Но ты вернешься мертвым.

— Только тот «я», который вернется. Настоящий «я» будет жить, как раньше. Как эта мышь, — его глаза скользнули по щиткам приборов. — А-а-а, нуль — время. Осталось несколько секунд. Следи за вторым контейнером с мышью.

На моих глазах с тем же звуком ящичек исчез.

— Куда он подевался?

— В никуда, — сказал Ланселот. — Это была лишь копия. Стоило нам поравняться с моментом, которому она, эта копия, принадлежала, как она естественным образом исчезла. Потому что дальше в будущем ее просто нет. Оригинал — это первая мышь. И она невредима. То же будет и со мной. Мой дубликат вернется мертвым. Оригинал, то есть я, останется живым. Через три дня мы с тобой доживем до того мгновения, из которого мой дубликат был перенесен назад во времени уже мертвым. Как

только этот момент наступит, мой мертвый двойник исчезнет. Останется только один «я», живой. Ты поняла?

— Это очень опасно.

— Но почему?! Раз появляется мой труп, врач регистрирует мою смерть. Газеты сообщают, что я умер. Похоронное бюро готовится к похоронам. Тут я воскресну цел и невредим и объясню, как мне это удалось. Как только это случится, я стану намного больше, чем просто человек, открывший способ путешествовать во времени. Я стану человеком, который воскрес из мертвых. Путешествие во времени и Ланселот Стеббингс — об этом будут кричать все газеты. Мое открытие и я станут настолько неразрывны, что уже ничто не вытравит моего имени из любого упоминания о путешествии во времени.

— Ланселот, — тихо сказала я, — но почему нельзя просто заявить о твоем открытии? Ты придумал очень сложный путь. Твое открытие и так сделает тебя достаточно знаменитым, и тогда мы смогли бы уехать в город и, может быть...

— Ты когда-нибудь прекратишь эти штучки? Делай, что тебе говорят!

Я не знаю, сколько времени обдумывал и придумал ли он все это до того некролога в газете. Или только некролог окончательно натолкнул его на эту мысль. Я ни в коем случае не хочу сказать, что он был не умен. Несмотря на то, что ему постоянно так не везло, в его талантливости и уме никогда не возникало сомнения.

Своим помощникам перед отъездом он сказал, что собирается в их отсутствие провести химические эксперименты. Они это засвидетельствуют, и никому не покажется странным, что он работал с ядами и отравился, по всей видимости, нечаянно.

— Об этом ты позаботишься. Полиция должна немедленно связаться с моими помощниками. Ты знаешь, где их разыскать. И чтобы никаких разговоров об убийстве или самоубийстве! Простой несчастный случай, и только! Надо быстро получить свидетельство о смерти и так же быстро дать сообщения в газеты.

Тут я спросила:

— Ланселот, а что, если они найдут тебя настоящего?

— С чего вдруг? — огрызнулся он. — Если перед

тобой лежит труп, с какой стати ты бросишься искать его живую копию? Такое и в голову не может прийти. Я спокойно просижу это время в той комнатке. Там есть туалет, а бутербродами я запасусь. — И с сожалением в голосе он добавил: — Придется обойтись без кофе. Запах кофе ни к чему, если предполагается, что я умер. Ну да ерунда. Вода там есть, а три дня можно ради такого случая и потерпеть.

Я первничала:

— Ну а если тебя все-таки обнаружат? Ты живой и ты мертвый...

Не его, себя пыталась я успокоить, и утешить, и подготовить к неизбежному провалу.

Он закричал на меня:

— Нет! Совсем не то же самое! Все превратится в дешевую и неудавшуюся мистификацию! Я прославлюсь, но только лишь как дурак!

— Но, Ланселот, — осторожно произнесла я, — всегда что-нибудь да срывается.

— Не на этот раз!

— Ты всегда говоришь «не на этот раз», и всегда что-нибудь...

У него победели от ярости глаза. Он схватил меня за локоть и сжал его с дикой силой, но я не решилась кричать.

— Только одно может сорваться, — прошипел он. — Это ты! Если ты проболтаешься, не сыграешь так, как надо, если ты точно не выполнишь всего, что я скажу тебе, я, я... — он, казалось, судорожно подыскивал мне кару. — Я убью тебя!!

В ужасе я пыталась высвободиться. Но он не отпускал. Удивительно, каким сильным становился он в ярости.

— Слушай! Ты принесла мне несчастье. Оно в тебе самой, понимаешь? Но тут я виню только себя, во-первых, за то, что жепился на тебе, во-вторых, что не развелся с тобой вовремя. Но сейчас наконец пришел мой час, наступило время, когда вопреки тебе я смогу сделать свою жизнь легендой. А если ты мне и здесь подгадишь, я действительно убью тебя! Это не пустые слова, поверь мне!

Я не сомневалась, что он убьет.

— Я все сделаю, как ты скажешь, — прошептала я, и он отпустил мою руку.

Целый день он возился со своими аппаратами.

— Никогда не посыпал больше ста граммов, — пояснил он спокойно и задумчиво.

Я промолчала, но с замиранием сердца подумала: «Не получится».

На следующий день он так все подготовил, что мне оставалось всего лишь щелкнуть выключателем. Он заставил меня проделать это вхолостую, без тока, бесконечное число раз.

— Теперь ты понимаешь? Понимаешь, что от тебя требуется?

— Да.

— Тогда включай, как только загорится лампочка. И ни секундой раньше!

«Господи, что-нибудь да сломается», — думала я со страхом.

— Да, — сказала я вслух.

Он молча занял свое место. Стоял твердо, не шевелись. Поверх лабораторной куртки у него болтался резиновый фартук.

Лампочка вспыхнула, и... тренировка не прошла даром. Я как автомат щелкнула выключателем, щелкнула раньше, чем успела подумать, остановиться или чуть задержаться...

На одно мгновение передо мной очутились рядышком два Ланселота — одинаково одетые, только второй был чуть взъерошен. Потом второй вдруг обмяк и повалился.

— Отлично! — закричал живой Ланселот и вышел из очерченного на полу квадрата. — Помоги мне. Возьми его за ноги!

Я поразилась Ланселоту: как без малейшей гримасы или тени на лице мог он нести свой собственный труп, свое собственное тело! Но он ухватил его под мышки и волновался не раньше, чем если бы тащил мешок с картошкой.

Я взяла второго Ланселота за ноги. Внутри у меня все перевернулось от этого прикосновения: он был еще теплый. Смерть только что наступила. Мы вдвоем проволокли тело по коридору, потом вверх по лестнице, и еще через один коридор в комнату. Ланселот здесь приготовил все заранее.

В странного вида реторте булькал раствор. Вокруг в беспорядке громоздилось химическое оборудование. Без сомнения, беспорядок был тщательно продуман. Так,

чтобы было видно, как здесь шел эксперимент. Склянка с ярким, бросающимся в глаза ярлычком «Цианистый калий» стояла на столе, резко выделяясь среди других.

На поверхности стола валялось несколько кристалликов.

Ланселот уложил труп так, словно тот упал со стула. Насыпал немнога кристалликов в левую ладонь, на фартук, два или три пристроил на подбородке.

— Они поймут, в чем дело, — пробормотал он. Затем он бросил вокруг последний взгляд. — Ну вот и все. Иди в дом и вызови врача. Ты ему скажешь, что принесла сюда бутерброды, потому что я заработался, и... вот об этом. — Он показал мне на разбросанные по полу бутерброды, на разбитую тарелку, которую я по замыслу будто бы несла и уронила. — Немного поплачь, но не перегрывай.

Поплакать для меня не составило ни малейшего труда. Все эти дни я была на грани истерики. И теперь я с облегчением позволила вылиться накопившемуся.

Врач повел себя точно так, как предсказал Ланселот. Склянку с цианидом заметил сразу. Нахмурился.

— Боже мой, миссис Стеббингс, он был слишком беззаботным химиком.

— Наверно, — сказала я сквозь рыдания. — Ему нельзя было самому этим заниматься. А его помощники в отпуске.

— Когда с цианидом обращаются как с поваренной солью... — тут врач назидательно и угрюмо покачал головой. — А теперь, миссис Стеббингс, я должен вызвать полицию. Отравление случайное, но смерть все равно насильственная, и полиция...

— О да, да, вызовите их, — я чуть не укусила себя за губу. Моя поспешность могла показаться подозрительной.

Полиция приехала со своим полицейским врачом, который лишь с отвращением что-то промычал, увидев кристаллы цианида в руке, на фартуке и на подбородке. Полицейские остались совершенно равнодушны к происшедшему. У меня спросили только самые необходимые сведения. Имя, фамилию, возраст... Спросили, в состоянии ли я похоронить за свой счет. Я сказала «да», и они уехали. Тогда я позвонила в газеты и в два пресс-агентства.

Я просила, если они будут в публикациях цитировать протоколы, не подчеркивать, что муж проявил неосторожность при эксперименте. Сказала это тоном человека, который хочет, чтобы ничего дурного о покойном не говорилось. В конце концов, продолжала я, он был в основном физиком-ядерщиком, а не химиком. И потом у меня было какое-то ощущение, сказала я, что с ним творится что-то неладное, и я будто предчувствовала беду...

Здесь я точно следовала указаниям Ланселота. И на это клюнули: «Физик-ядерщик в беде! Шпионы? Вражеские агенты?»

Репортеры валом валили. Я дала им портрет Ланселота в молодости. И фотографы тут же его пересняли. Я провела их через главную лабораторию, чтобы еще были снимки. Никто, ни полиция, ни репортеры, не заинтересовалась запертой на висячий замок комнатой. И даже, кажется, не заметили ее.

Я дала репортерам материалы о жизни и научном творчестве «покойного», которые Ланселот заготовил на этот случай, и рассказала несколько историй, придуманных Ланселотом с целью показать, как сочетались в нем человечность и гениальность. Я старалась исполнить все точно, однако уверенности все-таки не чувствовала. Что-то все же могло сорваться. Должно сорваться. А случись такое, он во всем обвинит меня. Я это знала. На этот раз он обещал убить меня.

На следующий день я принесла ему газеты. Снова и снова он перечитывал их. Глаза его сияли. В «Нью-Йорк таймс» ему отвели целую колонку на первой странице внизу слева. «Таймс» не делала тайны из его смерти. Так же поступили и агентства. Но одна бульварная газетенка через всю первую странициу разразилась пугающим заголовком: «Таинственная смерть ученого-атомщика?»

Он ходотал, читая все это, а просмотрев газеты до конца, вновь вернулся к началу.

Потом он поднял голову и пронзительно взглянул на меня:

- Не уходи. Послушай, что они тут пишут.
- Я уже все прочитала, Ланселот.
- Все равно послушай...

И он прочел все заметки вслух, громко, особо останав-

ливаясь на похвалах покойному. Затем, сияя от удовольствия, он сказал:

— Ну что, ты и сейчас еще думаешь, что может сорваться?

Я неуверенно спросила его, что, мол, будет, если полиция вернется и поинтересуется, почему мне казалось, что у него неприятности...

— Ну, об этом ты говорила довольно туманно. А им скажешь, что тебе снились дурные сны. К тому времени как они решат продолжить расследование, если они вообще решат, будет слишком поздно.

В самом деле, все шло как по маслу, но мне не верилось, что так пойдет и дальше. Странная штука человеческий разум. Он упорствует и надеется даже тогда, когда надежды нет и не может быть.

Я сказала:

— Ланселот, а когда все это кончится и ты станешь по-настоящему знаменит, тогда ты ведь можешь и отдохнуть, верно? Мы поехали бы в город и жили бы там...

— Ты свихнулась. Неужели ты не понимаешь, что, коль скоро меня признают, я просто обязан буду продолжать начатое? Молодежь ринется ко мне. Моя лаборатория превратится в гигантский Институт Темпоральных Исследований. Еще при жизни станут слагать обо мне легенды. Имя мое так прославится, что в сравнении со мной лучшие будут выглядеть всего лишь интеллектуальными пигмеями...

При этих словах он вытянулся и приподнялся на дыпочки. Глаза горели, будто он уже видел пьедестал, на который его вознесут современники.

Последняя моя надежда рухнула. Надежда на клочок личного счастья, пусть даже крошечного.

Я тяжело вздохнула.

Я попросила агента из похоронного бюро не вывозить тело и гроб из лаборатории до самых похорон в фамильном склепе Стеббинсов на Лонг-Айленде. Попросила не бальзамировать его, сказав, что буду держать гроб в большой комнате-холодильнике с температурой около нуля.

Агент исполнил мою просьбу с явным неудовольствием. Без сомнения, он что-то заподозрил, и в частную хронику это подозрение все же просочилось. Мое объяснение, будто я хочу последние дни побывать рядом с му-

жем и будто мне хочется, чтобы его помощники смогли проститься с телом, звучало не очень убедительно.

Но Ланселот настаивал именно на этом объяснении. Все это были его слова.

Когда труп уложили в гроб и посторонние покинули лабораторию, я пошла проведать Ланселота.

— Ланселот, — сказала я, — агент был очень недоволен. Боюсь, он заподозрил нечистое.

— Превосходно, — удовлетворенно промычал Ланселот.

— Но...

— Осталось ждать всего один день. Из-за простого подозрения ничто не изменится до завтра. А завтра утром труп исчезнет, во всяком случае, должен исчезнуть...

— Ты считаешь, он может и не исчезнуть?

Так я и думала!..

— Может произойти задержка, или исчезнет чуть раньше. Я никогда еще не посыпал таких тяжелых предметов и не знаю, насколько точны мои вычисления. Чтобы проверить их, я и решил оставить тело здесь, а не отправлять его в похоронный дом. Это одна из причин.

— Но там оно исчезло бы на глазах у свидетелей.

— Боишься, что заподозрят обман?

— Конечно.

Его, видимо, развеселило мое высказывание.

— Думаешь, скажут: «Почему это он отоспал помощников? Почему, проводя опыты, которые под силу и ребенку, он все же умудрился отравиться? Почему труп исчез без свидетелей?» А потом добавят: «Вся эта история с путешествиями во времени — чушь! Он принял наркотики, впал в каталептическое состояние, что ввело в заблуждение врача».

— Да, — без особой уверенности согласилась я. (Как он быстро соображал, однако!)

— И наконец, — продолжал он, — когда я буду настаивать на том, что все же решил проблему путешествий во времени, что меня признали мертвым, потому что я на самом деле был мертв, а потом на самом деле ожил, тогда ортодоксы с негодованием отвергнут меня, обозвав обманщиком и мистификатором. Ну что ж, за одну неделю я стану притчей во языцах по всей земле. Все только об этом и станут говорить. Я же предложу продемонстрировать опыт перед любой группой компетентных учёных. Одновременно опыт можно транслировать по меж-

континентальному телевидению. Общественное мнение вынудит ученых присутствовать на демонстрации опыта. А телевидение наверняка согласится: ему наплевать, что показывать — чудо или экзекуцию. Если я выиграю — это будет чудо, проиграю — экзекуция. В любом случае зрителей окажется в избытке. А это для них главное. И тут я раскроюсь!.. Разве что-нибудь подобное встречалось когда-нибудь в жизни или в науке?

На мгновение меня ослепила эта картина. Но что-то косное, привычное во мне шептало: «Слишком длинный путь, слишком сложно! Наверняка сорвется!»

Вечером приехали его помощники и старались изо всех сил проявить печаль по усопшему. Еще два свидетеля присягнут, что они видели Ланселота мертвым. Еще два свидетеля внесут сумятицу и помогут событиям выстроиться в стройную пирамиду его апофеоза.

С четырех утра мы оба, кутаясь в пальто, сидели в холодильной комнате и ждали нулевого момента.

Ланселот, очень возбужденный, непрерывно проверял приборы, что-то там делал с ними. Его настольный компьютер все время работал, хотя уму непостижимо, как удавалось Ланселоту застывшими, негнувшимися от холода пальцами набирать нужные цифры.

Я чувствовала себя совсем несчастной. Холодно. Рядом, в гробу, труп, и абсолютная неизвестность впереди.

Казалось, прошла вечность, а мы по-прежнему сидели и ждали. Наконец Ланселот сказал:

— Все в порядке. Исчезнет, как я и рассчитывал. В крайнем случае, на пять минут раньше или позже. Отличная точность для массы в семьдесят килограммов!

Он улыбнулся мне, и так же мило он улыбнулся трупу.

Я обратила внимание, что его куртка, которую он не снимал последние три дня (в ней он и спал), была вся измята, словно изжевана. Такой она выглядела и на втором Ланселоте, мертвом, в момент его появления.

Ланселот, казалось, почувствовал, о чем я думала, или поймал мой взгляд, потому что быстро посмотрел вниз, на своего двойника, и произнес:

— А, это... надо надеть фартук. Мой двойник был в фартуке, когда появился.

— А что, если ты не наденешь его? — спросила я.

— Нет, непременно надо это сделать, это необходимо.

Мы должны походить друг на друга во всем, вплоть до мелочей. Иначе не поверят, что он и я это один и тот же человек. — У него гневно сузились глаза: — Ну что, ты и сейчас думаешь, что сорвется?

— Не знаю, — промямлила я.

— Боявшись, что труп не исчезнет, а вместо него исчезну, например, я?

И, не получив ответа, он принялся кричать:

— Не видишь, что ли, что все переменилось? Не видишь, что все идет, как задумано? Я стану величайшим ученым из всех живущих на земле!.. Нагрей-ка воды для кофе, — неожиданно успокоился он. — Когда мой дубль сгинет и я вернусь к жизни, мы отпразднуем это событие стаканчиком кофе. — Он передал мне банку с растворимым кофе. — После трех дней воздержания и такой сойдет.

Замерзшими пальцами я неуклюже возилась с плиткой. Ланселот отстранил меня и ловко поставил на нее мензурку с водой.

— Надо подождать немного, — сказал он, поворачивая тумблер в положение «макс.». Он посмотрел на часы, потом на разные щитки на стене. — Двойник исчезнет раньше, чем закипит вода. Подойди ко мне и смотри.

Он встал над гробом.

Я медлила.

— Иди! — приказал он.

Я подошла.

Он смотрел вниз, на двойника, с бесконечным наслаждением и ждал. Мы оба ждали, не отрывая глаз от трупа.

Раздался звук «иффт», и Ланселот закричал:

— Минута в минуту!

Мгновенно мертвое тело исчезло. В открытом гробу осталась пустая одежда. Костюм был, конечно, не тем, в котором двойник появился. Это была настоящая одежда, не копия. Она и осталась. Вся теперь там и лежала. Нижнее белье внутри брюк и рубашки, на рубашке — галстук, и все это — внутри пиджака. Башмаки опрокинулись. Из них болтались носки.

А тело исчезло.

Я услышала, как кипит вода.

— Кофе! — приказал Ланселот. — Прежде всего кофе. Потом мы позвовем полицию и газетчиков.

Я сделала кофе ему и себе. Ему положила обычную порцию сахара, одну ложку не с верхом, но полную. Даже тогда, в тот момент, когда я была совершенно уверена, что для него это совсем неважно, привычка взяла свое.

Я сделала глоток. Я пью кофе без сливок и без сахара. Это тоже привычка. Удивительно приятное тепло разлилось по телу.

Он взял свою чашку:

— Ну вот, — сказал он тихо, — я и дождался наконец того, чего ждал всю жизнь.

С торжествующим видом он поднес к губам чашку кофе и глотнул. Это были его последние слова.

Как только все случилось, на меня напало какое-то исступление. Я раздela его, надела на него то, что осталось в гробу. Как мне удалось поднять его и положить в гроб, не знаю. Руки я сложила на груди так, как и было раньше. Потом я смыла тщательно все следы кофе в раковине и в комнате. Заодно я вымыла и чашку с сахаром. Я полоскала все до тех пор, пока от цианида, который я добавила в сахар, не осталось и следа.

Его куртку и все остальное я отнесла в мусорный ящик, куда раньше я выбросила такую же одежду двойника. Теперь она исчезла, на ее место я положила настоящую.

И стала ждать.

К вечеру, когда я была уверена, что труп остыл, я позвала похоронного агента. С какой стати ему было удивляться? Они ожидали увидеть мертвое тело, они его и увидели. То же самое мертвое тело. Действительно то же самое. В нем даже цианид был так же, как по замыслу он должен был быть в первом.

Думаю, что разницу между умершим двенадцать часов и три с половиной дня назад могли бы заметить, несмотря на холодильник. Но кому это было надо?

Никто и не заметил. Заколотили гроб. Вынесли из дома и похоронили.

Это было безукоризненное убийство.

Впрочем, можно ли считать это убийством в полном смысле этого слова? Ведь когда я дала Ланселоту яд, он уже был официально признан мертвым. Само собой разумеется, за разъяснениями к юристам я не собираюсь обращаться.

Теперь моя жизнь течет тихо и спокойно. Мне такая жизнь по душе. У меня нет недостатка в деньгах. Я хожу в театр. У меня появились друзья. И живу я без всяких угрызений совести. Откровенно говоря, Ланселот все равно никогда не получил бы признания за открытие путешествий во времени. Движение во времени еще откроют, но никто не вспомнит имени Ланселота Стеббисса, оно так и останется неизвестным. Как я и предсказывала. Какие бы планы он ни строил, слава ему была заказана. Если бы я не убила его, наверняка случилось бы что-нибудь еще и все бы ему напортило, и тогда он убил бы меня.

Нет, я живу, не испытывая угрызений совести.

Я все простила Ланселоту, все, кроме плевка мне в лицо. И все же я рада за него: пусть недолго, но он был счастлив перед тем, как умер. И какова ирония судьбы — здесь я тоже оказалась права: ему удалось то, что недоступно никому из живущих, и он насладился этим в полной мере: он прочитал свой собственный некролог.

МОЛОДОСТЬ

1

В окошко бросили горсть камней — и мальчишка завозился во сне. Бросили еще раз — он проснулся.

Сел в кровати, весь напрягшись. Тянулись секунды, а он все осваивался со своим странным окружением. Конечно, это не его родной дом. Он за городом. Здесь холоднее, чем в его краях, за окошком видна зелень.

— Тощий!

Его окликнули хриплым, встревоженным шепотом, и мальчишка дернулся к окну.

На самом деле у него было совсем другое имя, но его новый друг, с которым он познакомился накануне, едва взглянул на худощавую фигурку, сказал: «Ты — Тощий». И добавил: «А я — Рыжий».

На самом деле его тоже звали совсем иначе, но это имечко явно шло к нему.

Тощий крикнул:

— Эй, Рыжий! — и радостно замахал ему, стряхивая с себя остатки сна.

Рыжий продолжал все тем же хриплым шепотом:

— Тихо, ты! Хочешь всех перебудить?

Тощий вдруг заметил, что солнце едва поднялось над низкими восточными холмами, что тени еще длинные и размытые, а на траве роса. Он сказал уже тише:

— Чего тебе?

Рыжий махнул рукой — выходи на улицу.

Тощий быстро оделся и умылся — то есть быстренько брызнул на себя чуть тепловатой водичкой; она высохла, пока он бежал к выходу, а потом кожа опять стала влажной, на этот раз уже из-за росы.

Рыжий сказал:

— Давай потише. Если проснется ма, или па, или твой па, или еще кто, уж тут начнется: «Сейчас же марш домой, а то будешь бегать по росе — простудишься и умрешь».

Он так точно передал интонацию, что Тощий расхохотался и подумал, что, пожалуй, во всем свете нет такого занятного парня, как Рыжий.

— Ты что, каждый день сюда приходишь, вот как сейчас, а, Рыжий? — спросил он с интересом. — В такую рань, да? Когда весь мир будто принадлежит только тебе, ведь верно, Рыжий? И никого вокруг, и все так здорово. — Он ощущил прилив гордости оттого, что его допустили в этот таинственный мир.

Рыжий искося взглянул на него и небрежно бросил:

— Я уже давно не сплю. Ты ничего не слышал ночью?

— А что?

— Да гром.

— А разве была гроза? — Тощий очень удивился. Он обычно не мог спать во время грозы.

— Да нет. Но гром был. Я сам слышал, подошел к окну, гляжу, а дождя-то нет. Только звезды и небо такое бледное. Понимаешь?

Тощий никогда не видел такого неба, но кивнул.

Они шли по траве вдоль бетонки, которая сбегала вниз, деля на двое окрестные просторы, и исчезала вдали между холмами. Дорога была такая древняя, что даже отец Рыжего не мог сказать сыну, когда ее построили. И все же на ней не было ни трещинки, ни выбоины.

— Ты умеешь хранить тайну? — спросил Рыжий.

— Конечно. А что за тайна?

— Ну просто тайна. Может, я скажу, а может, и нет. Я еще и сам не знаю. — Рыжий на ходу сломал длинный

гибкий стебель папоротника, аккуратно очистил его от листочеков и взмахнул им, как хлыстом. Вмиг он словно очутился на лихом скакуне, который встает на дыбы и грызет удила, сдерживаемый железной волей наездника. Но вот усталость взяла свое, он отбросил хлыст и загнал своего коня в самый дальний закоулок воображаемого мира — авось еще пригодится.

— Сюда приедет цирк, — сказал он.

— Ну какая же это тайна? Я уже давно знаю. Мне об этом папа сказал еще до того, как мы приехали.

— Да нет, тайна — это другое. Уж эта тайна что надо. Ты хоть раз бывал в цирке?

— Ясное дело.

— Ну и как, понравилось?

— Больше всего на свете.

Рыжий краешком глаза наблюдал за ним.

— Ну а тебе никогда не приходило в голову там остаться? То есть, я хочу сказать, навсегда.

Тощий пораскинул умом.

— Пожалуй, нет. Я хочу быть астрономом, как папа. По-моему, и он этого хочет.

— Хи! Астроном! — фыркнул Рыжий.

Тощий почувствовал, как перед его носом захлопнулись двери в новый, таинственный мир, и астрономия стала тоской зеленой.

Он сказал примирительно:

— Цирк — это, должно быть, занятнее.

— Ну а если тебе можно было бы поступить в цирк прямо сейчас? Что бы ты сделал?

— Я... Я...

— Ну вот. — Рыжий презрительно усмехнулся.

Тощий обиделся.

— Ну и поступлю.

— Давай!

— Испытай меня!

Рыжий быстро повернулся к нему, взволнованный, весь как натянутая струна.

— Ты правда так думаешь? Хочешь со мной, да?

— Как это?

— Понимаешь, я все устроил, нас возьмут. А то, глядишь, когда-нибудь мы и сами откроем цирк. Мы будем самыми потрясными циркачами на свете. Это если ты пойдешь со мной. А не то... А не то я и сам справлюсь.

Новый мир был необыкновенным и волшебным, и Тощий ответил:

— Заметано, Рыжий! Я с тобой! Что ты затеял? Скажи мне все как есть.

— Догадайся. Кто в цирке всех главней?

Тощий отчаянно соображал. Он хотел попасть в точку. Наконец он сказал:

— Акробаты?

— О господи! Да я бы палец о палец не ударил, чтобы увидеть акробатов!

— Тогда не знаю.

— Звери, вот кто! Какие номера самые интересные? Где больше всего народу? Даже в самых лучших цирках самые лучшие номера — это которые со зверями!

— Ты так думаешь?

— Все до единого так думают. Спроси кого хочешь. Так вот, сегодня утром я нашел зверьков. Двух зверьков.

— Ты их поймал?

— Еще бы. Это и есть моя тайна. Ты не пропрешься?

— Что за вопрос!

— Ладно. Я запер их в амбаре. Хочешь посмотреть?

Они были почти рядом с амбаром, невдалеке чернела его большая, настежь распахнутая дверь. Черным-черно. Они все время шли к этому амбару. Тощий остановился. Он старался не выдать волнения.

— А они большие?

— Да разве бы я их обдурил, если б они были большие? Они тебе ничего не сделают. Я посадил их в клетку.

Они уже вошли в амбар, и Тощий увидел большую клетку, висевшую на крюке под крышей и накрытую грубым брезентом.

Рыжий сказал:

— У нас здесь обычно живет птичка или еще кто-нибудь. Главное, им отсюда не выбраться. Полезли на чердак.

Они вскарабкались по деревянной лестнице, и Рыжий подтянул клетку к себе.

Тощий ткнул пальцем в брезент:

— А здесь, кажется, дырка.

Рыжий нахмурился:

— Откуда она взялась?

Он приподнял брезент, заглянул внутрь и с облегчением произнес:

— Они там!

— Брезент вроде бы обгорел, — с беспокойством заметил Тощий.

— Ну, ты как — хочешь смотреть или нет?

Тощий неуверенно кивнул. В конце концов он не был убежден, что хочет. А вдруг они...

Но Рыжий сбросил брезент. Вот они. Двое, как он и говорил.

Маленькие и противные на вид. Как только брезент убрали, зверьки кинулись к ребятам. Рыжий осторожно ткнул их пальцем.

— Берегись! — крикнул Тощий.

— Они не тронут, — бросил Рыжий. — Ты когда-нибудь видел таких?

— Нет.

— Представляешь, как в цирке все за них ухватятся?

— А если они слишком маленькие для цирка, что тогда?

Рыжий разозлился. Он отпустил клетку, и та начала раскачиваться словно маятник.

— Идешь на попятную?

— Вовсе нет. Я только...

— Не беспокойся, не такие уж они маленькие. Менято сейчас беспокоит только одно.

— Что?

— Ведь я должен продержать их в клетке, пока не приедет цирк, верно? Так вот, мне нужно узнать, что они едят.

А клетка все раскачивалась, и маленькие пойманные зверьки цеплялись за прутья, делая ребятам какие-то знаки, странные и быстрые, будто эти существа были разумными.

2

Астроном вошел в столовую при полном параде. Он ощущал себя гостем.

— А где молодежь? — спросил он. — Моего сына нет дома.

Промышленник улыбнулся:

— Они уже давно гуляют. Но женщины заставили их позавтракать, так что не беспокойтесь. Известное дело — молодость!

«Молодость»! Казалось, это слово заставило Астронома задуматься.

Завтракали в молчании. Только один раз Промышленник бросил:

— Вы и вправду считаете, что они придут?

— Придут, — отвечал Астроном.

И все.

После завтрака Промышленник сказал:

— Вы уж меня извините. Хоть убей, не пойму, зачем вам выкидывать такие трюки? Вы действительно с ними говорили?

— Так же, как сейчас с вами. Только телепатически. Они умеют передавать мысли на расстояние.

— Я понял это из вашего письма. Но как они передают мысли, интересно выяснить.

— Ну, этого я не знаю. Конечно, я их спросил, но не добился четкого ответа. Впрочем, возможно, я чего-то не разобрал. Для этого нужно какое-то устройство, проецирующее мысли, и, что особенно важно, необыкновенная сосредоточенность как индуктора, так и перципиента. До меня не сразу дошло, что они пытаются передать мне мысль. Может быть, телепатия — одно из научных достижений, которым они с нами поделятся.

— Может быть, — ответил Промышленник. — Но подумайте о том, как это открытие может изменить нашу общественную жизнь. Передатчик мыслей!

— А почему бы и нет? Перемены для нас полезны.

— Не думаю.

— Перемены нежелательны только для старости, — сказал Астроном. — А ведь расы могут стареться так же, как и люди.

Промышленник указал на окно.

— Видите эту дорогу? Ее построили давным-давно. Сумели бы мы теперь построить такую? Сомневаюсь. Когда прокладывали эту дорогу, раса была молодой.

— Тогда? Да! По крайней мере, новое не внушало им страха.

— Лучше бы оно внушало! Что же стало с нашими предками? Они уничтожены, доктор! Что хорошего в Молодости и в Новом? Мы сейчас живем лучше. В мире больше нет войн, мы медленно продвигаемся вперед. Они это доказали, те, кто построил эту дорогу... Как мы условились, я поговорю с вашими гостями, если они приедут. Но мне кажется, я только попрошу их уехать.

— Слушайте! Прежде чем вам написать, я изучил ваше экономическое положение.

— И установили, что я платежеспособен? — улыбаясь, перебил его Промышленник.

— Ну да. О, я вижу, вы шутите? А впрочем, может, в вашей шутке есть доля правды. Ваша платежеспособность ведь ниже, чем у вашего отца, а у него была ниже, чем у вашего деда. Ваш сын, возможно, будет вообще неплатежеспособным. С каждым годом планете все труднее поддерживать производство на существующем уровне, хотя это крайне низкий уровень по сравнению с тем, который был раньше. Мы возвратимся к натуральному хозяйству, а потом что? Опять в пещеры?

— А если обогатить расу новыми техническими знаниями, то все изменится?

— Дело не только в знаниях. Здесь важнее эффект от самих изменений, от расширения горизонтов. Послушайте, сударь, я обратился к вам не только потому, что вы богаты и имеете влияние на правительственные круги, а потому, что у вас необычная для наших дней репутация: вы человек, который может порвать с традициями. Наши соотечественники будут противиться новшествам, а вы знаете, как на них воздействовать, как добиться того...

— Чтобы возродить молодость нашей расы?

— Да.

— Скажите мне, — поинтересовался Промышленник, — что хотят эти друзья из космоса в обмен на свои достижения?

Астроном колебался, затем признался.

— Я буду с вами откровенен. Они прибыли с планеты, обладающей большей, чем наша, массой. Наша богаче легкими элементами.

— Им нужен магний, алюминий?

— Нет. Углерод и водород. Им нужны уголь и нефть.

— В самом деле?!

Астроном торопливо вставил:

— Вы хотите спросить, зачем существам, которые освоили космические полеты, а следовательно, овладели атомной энергией, уголь и нефть? Я не могу ответить на этот вопрос.

Промышленник улыбнулся.

— Зато я могу. Вот вам лучшее подтверждение правдивости ваших же слов. На первый взгляд может пока-

заться, что при атомной энергии уголь и нефть не нужны. Однако они не только сырье для производства энергии, они всегда будут основным сырьем для всех отраслей органической химии. Пластмассы, красители, медикаменты, растворители. Промышленность не может обойтись без них даже в атомный век. Но я бы сказал, что, хоть уголь и нефть недорогая плата за мучения и заботы молодой расы, все же эти уголь и нефть обойдутся нам очень дорого, если мы не получим ничего взамен.

Астроном вздохнул:

— А вон и наши мальчики.

В открытое окно видно было, как они стоят на лугу и оживленно разговаривают. Сын Промышленника сделал властный жест, сын Астронома кивнул и побежал к дому.

— Вот она, молодость, о которой вы говорили. У нашей расы столько же молодых, сколько было всегда, — заметил Промышленник.

— Да. Но мы делаем все, чтоб они быстро состарились.

Тощий вбежал в комнату, дверь громко хлопнула за ним.

— Что случилось? — недовольно проворчал Астроном.

Тощий удивленно поднял глаза и остановился.

— Извините. А я и не знал, что здесь кто-то есть. Простите, что я вам помешал. — Он старательно подбирал самые вежливые выражения.

— Да ничего, все в порядке, — сказал Промышленник.

Но Астроном заметил:

— Даже если ты входишь в пустую комнату, не обязательно хлопать дверью.

— Ерунда, — запротестовал Промышленник. — Парнишка не сделал ничего плохого. Вы его браните просто за то, что он молод. И это вы, с вашими взглядами! Пойдёди-ка сюда, парень! — обратился он к Тощему.

Тощий медленно приблизился.

— Как тебе здесь нравится?

— Очень, сэр, благодарю вас.

— Показал ли тебе мой сын наше поместье?

— Да, сэр. Рыжий, то есть...

— Ничего, ничего. Называй его Рыжим. Я его сам так зову. А теперь скажи, чем вы сейчас занимаетесь?

Тощий отвернулся:

— Мы... мы проводим исследования, сэр.

Промышленник повернулся к Астроному.

— Вот вам юношеская любознательность и жажда приключений. Наша раса еще не утратила этих свойств.

— Сэр? — спросил Топций.

— Да, парень.

Мальчишка помолчал, пытаясь понять, о чем речь, потом сказал:

— Рыжий велел мне принести что-нибудь вкусненькое, но я не очень понял что. Вот я и не хотел говорить.

— Ну что ж, спроси кухарку. У нее найдется что-нибудь вкусненькое для таких юнцов, как вы.

— Сразу видно, что сын мой воспитывался в городе, — сказал Астроном.

— Ну что вы, это не страшно, — возразил Промышленник.

— О нет, сэр. Это не для нас, а для зверьков.

— Для зверьков?

— Да, сэр. Что едят звери?

— А что это за звери, парень?

— Они маленькие, сэр.

— Тогда попробуйте дать им листья или траву, а если они не станут есть, может, им понравятся орехи или ягоды.

— Благодарю вас, сэр.

Топций выбежал из комнаты, но на этот раз осторожно закрыл за собой дверь.

— Вы думаете, они поймали зверьков живьем? — спросил Астроном. Он был явно встревожен.

— Ну, это дело обычное. В моем поместье охота запрещена, и все животные стали ручными, здесь много грызунов и мелкой живности. Рыжий то и дело таскает домой всяких тварей. Только ненадолго они его занимают.

Он посмотрел на стенные часы:

— Ваши друзья уже должны прибыть, как вы думаете?

3

Качка прекратилась. Стало темно. Воздух чужой планеты не подходил для Исследователя. Атмосфера была густой, как суп, и он не мог глубоко вздохнуть. И даже если...

Внезапно испугавшись одиночества, он потянулся и

потрогал теплого Торговца. Очевидно, тот спал: он тяжело дышал, время от времени дрожь пробегала по телу. Исследователь решил не будить его. Это все равно ни к чему. Спасения не будет, это ясно. Это расплата за высокие барышни, которые приносila неограниченная конкуренция. Торговец, открывший новую планету, получал монополию на торговлю с ней в течение десяти лет. Он мог торговать в одиночку или, что более вероятно, продать это право всем желающим на жестких условиях. Из-за этого поиски новых планет велись под большим секретом и как можно дальше от обычных торговых путей. У них не было почти никакой надежды на то, что хоть один корабль окажется в пределах их субэфирной связи, разве что произойдет невероятное. Даже если бы они были в своем корабле, а не в этой... этой... клетке.

Исследователь схватился за толстые прутья. Даже если уничтожить прутья — а это нетрудно сделать, — им не спрыгнуть — слишком высоко.

Все шло из рук вон плохо. Еще до этого приземления они дважды приземлялись на корабле-разведчике, установили контакт с местными жителями, чудовищно большими, но кроткими и доброжелательными существами. Лучшего рынка и желать нельзя. Очевидно, когда-то у них была высокоразвитая промышленность, но они не сумели избежать нежелательных последствий.

Эта планета поражала своими размерами. Особенно удивлялся Торговец. Он уже знал, какая она огромная, и все же, подойдя к ней на расстояние двух световых секунд и взглянув на экран обзора, пробормотал: «Невероятно!».

— О! Бывают планеты и больше этой, — невозмутимо сказал Исследователь. Чрезмерная восторженность не к лицу Исследователю.

— Заселена?

— Да.

— Ого, вашу планету можно утопить вон в том большом океане.

Исследователь улыбнулся. Это был деликатный намек на его родину — планету Арктур, по размерам уступавшую большинству планет. Он сказал:

— Не совсем так.

— И здешние жители такие же большие, как и их мир? — спросил Торговец.

Казалось, такая перспектива не слишком радовала его.

— Почти в десять раз больше нас.

— А вы уверены, что они настроены дружелюбно?

— Трудно сказать. Дружба между чуждыми культурами — дело неверное. Но мне кажется, жители этой планеты не опасны.

Тут Исследователь услышал мощный рев двигателей.

— Что-то мы слишком быстро снижаемся, — нахмурился он.

Начали обсуждать, не опасно ли садиться на несколько часов раньше расчетного времени. Планета, к которой они приближались, была огромна для кислородно-водяного мира. Гравитационный потенциал был высок, а бортовой компьютер не давал информации о траектории при посадке в зависимости от гравитационного потенциала. Значит, Пилоту придется выполнять посадку вручную.

Торговец потребовал немедленно произвести посадку, но почувствовал, что это требование нужно аргументировать. Он сердито сказал Исследователю:

— Вы думаете, что Пилот не знает своего дела? Ведь он уже два раза справлялся с посадкой!

Да, подумал Исследователь, на корабле-разведчике, а не на этой неуклюжей грузовой посудине. Вслух он не сказал ничего, только глядел на локатор обзора. Они спускались слишком быстро. Сомнений не оставалось. Слишком быстро.

— Что вы молчите? — с раздражением спросил Торговец.

— Ну если уж вам так хочется, чтобы я говорил, я бы посоветовал вам пристегнуть ремни и помочь мне наладить катапультирующее устройство.

Пилот вступил в схватку со стихией. Он не был новичком. Корабль, объятый пламенем, со свистом рассекал слои атмосферы, необычно плотные даже для гравитационного потенциала этой планеты. Но, несмотря ни на что, до последнего момента казалось, что Пилот справится с кораблем.

Он даже придерживался заданного курса на определенную точку северного континента, следя расчетной траектории. Если бы счастье им улыбнулось, их посадку вечно приводили бы как пример героического и мастерского управления в безнадежных условиях. Но когда победа была уже рядом, Пилот не выдержал физического

и нервного напряжения и чуть сильнее нажал рычаг управления. Корабль, который почти выровнялся, опять камнем пошел вниз.

Уже не было времени исправлять ошибку. До поверхности планеты оставалось ничтожное расстояние. Пилот не покинул кабины, он думал только о том, как бы уменьшить силу удара при падении, как бы сохранить корабль. Пока корабль бешено пробивался сквозь плотные слои атмосферы, удалось включить несколько катапультирующих устройств, и только одно — вовремя.

Когда Исследователь очнулся и поднялся на ноги, он был почти уверен, что, кроме него и Торговца, больше никто не уцелел. А возможно, остался в живых только он. Его паритель сгорел на такой высоте, что падение его оглушило. Может, Торговцу повезло еще меньше.

Его окружала густая, жесткая трава, и вдали виднелись деревья, по виду напоминавшие деревья его родного Арктура, только они свободно разместились бы под их нижними ветвями.

Он крикнул. Его голос глухо прозвучал в плотном воздухе. Торговец ответил. Исследователь бросился на голос, с трудом продираясь сквозь жесткие заросли, преграждавшие путь.

— Вы ранены? — спросил он.

Торговец сморщился от боли.

— Я что-то растянул, мне трудно ходить.

Исследователь осторожно ощупал его.

— Не думаю, что это перелом. Вы должны идти, несмотря на боль.

— Нельзя ли сначала отдохнуть?

— Прежде всего поищем корабль. Если он не поврежден или если его можно отремонтировать, тогда живем. Если нет, то наше дело плохо.

— Минуточку. Дайте мне отдохнуться.

Исследователь и сам был рад этой передышке. Торговец уже закрыл глаза. Исследователь тоже.

Услышав звук шагов, он открыл глаза. «Никогда не сните на чужой планете», — мелькнула в его голове запоздалая мысль.

Торговец проснулся, и его вопль был полон ужаса.

Исследователь крикнул ему:

— Всего лишь туземец! Он вас не тронет!

Но тут гигант наклонился, схватил их и прижал к своему уродливому телу.

Торговец отчаянно сопротивлялся, и, конечно, напрасно.

— Неужели вы не можете поговорить с ним? — взвыл он.

Исследователь только покачал головой.

— Мой проектор на него не действует. Он не будет слушать.

— Тогда взорвите его. Взорвите его к чертям!

— Это невозможно.

Он чуть не добавил «идиот». Исследователь старался сохранять самообладание.

— Но почему? — кричал Торговец. — Ведь вы можете дотянуться до своего взрывателя. Я его ясно вижу. Не бойтесь участь!

— Все намного сложнее! Если убить чудовище, вы никогда не сможете торговаться с этой планетой. Вам даже не удастся взлететь с нее. Вы, вероятно, не доживете до вечера.

— Но почему? Почему?

— Потому что это молодой представитель вида. Вы должны знать, что происходит, если торговец убивает детеныша, даже случайно. И кроме того, если мы попали туда, куда хотели, то мы находимся во владениях могущественного аборигена. А это может быть один из его выводка.

Так они попали в тюрьму. Они осторожно выжгли кусочек толстого плотного материала, которым была накрыта клетка, и им стало ясно, что прыгнуть с такой высоты означало бы наверняка разбиться.

И вот еще раз клетка закачалась и, описав дугу, замерла. Торговец скатился в нижний угол и ощетинился. Покрывало приподнялось, хлынул свет. У клетки стояли два молодых туземца. «Внешне они мало чем отличаются от взрослых экземпляров», — подумал Исследователь, — хотя, конечно, поменьше ростом».

Меж прутьев просунули пучок зеленых стебельков, похожих на камыш, они приятно пахли, но на них были комочки земли.

Торговец отшатнулся и хрюкнул:

— Что это они делают?

— По-моему, пытаются нас кормить. По крайней мере, это что-то вроде здешней травы.

Покрывало задернули и клетку отпустили. Она опять покачалась вместе с пучком стеблей между прутьев.

При звуке шагов Тощий вздрогнул и засветился радостью, когда оказалось, что это всего лишь Рыжий.

— Вокруг никого. Я все глаза проглядел, это уж точно, — сказал он.

— Шш... Ну-ка посмотри, — ответил Рыжий. — Возьми и сунь в клетку. Мне пришлось сбегать домой.

— А что это? — Тощий неохотно протянул руку.

— Фарш. Ты что, никогда не видел фарша? Зачем же я посыпал тебя домой? Ты должен был принести его, а не эту дурацкую траву.

Тощего обидел его тон.

— Откуда я знал, что они не едят траву? И потом фарш таким не бывает. Он бывает в целлофане, и он не такого цвета.

— Так то в городе. А здесь мы сами готовим фарш, и он всегда такого цвета, пока его не пожаришь.

— Так ты говоришь, он сырой? — Тощий быстро отодвинулся.

Рыжий возмутился.

— Уж не думаешь ли ты, что животные едят приготовленную пищу? Ну-ка бери, оно тебя не съест. Я тебе говорю, у нас времени в обрез.

— Почему? Что делается в доме?

— Не знаю. Мой отец ходит с твоим отцом. Может, они ищут меня. Может быть, кухарка сказала им, что я взял мясо. Во всяком случае, нельзя, чтобы они нашли нас здесь.

— Ты без спроса взял мясо у кухарки?

— У этого краба-то? Конечно. Она и капли воды мне не даст без разрешения отца. Ну же, бери!

Тощий взял большой комок фарша, хотя при этом у него по коже побежали мурашки. Он повернулся к амбару, а Рыжий быстро побежал к дому.

Приблизившись к взрослым, Рыжий замедлил шаг, несколько раз глубоко вздохнул, чтобы установить дыхание, а затем сделал вид, что беззаботно прогуливается.

— Здорово, пап. Хелло, сэр, — поздоровался он.

— Стой-ка, Рыжий, у меня к тебе вопрос, — сказал отец.

Рыжий повернулся к нему с безразличным видом:

— Да, пап?

- Мама сказала, что ты сегодня очень рано встал.
 - Не очень, пап. Незадолго до завтрака.
 - Ты говорил, тебя что-то разбудило сегодня ночью?
- Рыжий помедлил с ответом. Потом признался:
- Да, сэр.
 - Что тебя разбудило?

Рыжий не заметил в вопросе никакого подвоха. Он сказал:

- Не знаю, пан. Сперва было что-то вроде грома, а потом что-то вроде упало.
- Не можешь сказать, откуда доносились звуки?
- Вроде из-за холма.

Это была правда, да к тому же очень ему на руку, потому что холм был в противоположной стороне от амбара.

Промышленник взглянул на своего гостя:

- Не прогуляться ли нам к холму, а?
- Я готов, — ответил Астроном.

Рыжий посмотрел им вслед; повернувшись, он увидел Тощего, который выглядывал из-за кустов шиповника.

— Иди сюда! — помахал ему Рыжий.

Тощий вышел из-за кустов.

— Они сказали что-нибудь про мясо?

— Нет. По-моему, они ничего не знают. Они пошли к холму.

— Для чего?

— Почем я знаю! Они расспрашивали меня о громе, который я слышал. Послушай, зверьки съели мясо?

— Хм, — осторожно произнес Тощий, — они его рассматривали и как бы принохивались.

— Ладно, — сказал Рыжий. — Я думаю, они его съедят. Господи, должны же они хоть что-то есть. Давай пойдем к холму, посмотрим, что собираются делать наши родители.

— А как же зверьки?

— Не беспокойся, все в порядке. Нельзя же все время сидеть с ними. Ты им дал воды?

— Конечно. Они напились.

— Вот видишь. Попшли. Заглянем к ним после полдника. Вот что я тебе скажу. Мы им принесем фруктов. Кто же отказывается от фруктов?

И они побежали вверх по склону. Рыжий, как всегда, впереди.

— Вы думаете, это был гул корабля при посадке? — спросил Астроном.

— А вам как кажется?

— Если это так, вероятно, все погибли.

— А может быть, и нет, — нахмурился Промышленник.

— Но если они приземлились и не погибли, то где же они?

— Надо подумать.

Он все еще хмурился.

— Я вас не понимаю, — заметил Астроном.

— А если они враждебно настроены?

— О нет! Я говорил с ними, они...

— Вы с ними говорили! Положим, это рекогносцировка. А что будет дальше? Вторжение?

— Но у них только один корабль, сэр!

— Это они так говорят. А у них за спиной может быть целый флот.

— Я уже говорил вам об их размерах. Они...

— Неважно, какие там у них размеры, если их оружие превосходит наше.

— Я не подумал об этом.

— А меня это с самого начала беспокоило, — продолжал Промышленник. — Вот почему, получив ваше письмо, я согласился встретиться с ними. Не для того, чтобы идти на какие-то неприемлемые для нас предложения по торговле, а для того, чтобы узнать их истинные цели. Я не предполагал, что они будут избегать встречи.

Вдруг он осмотрелся и спросил:

— Куда же мы забрели? По-моему, ничего из наших поисков не получится.

Но Астроном, шедший немного впереди, хрипло проговорил:

— Нет, сэр. Посмотрите сюда!

Рыжий и Тощий тайно следовали за старшими. Им помогало то, что отцы были взволнованы и поглощены разговором. Они не могли толком рассмотреть объект своих поисков — мешали заросли, в которых приходилось скрываться.

— Ну и ну! Ты только посмотри на эту штуку! Сияет, как серебро! — сказал Рыжий.

Но особенно взволнован был Тощий. Он вцепился в товарища.

— Я знаю, что это такое. Это космический корабль. Верно, из-за этого мой отец и приехал сюда. Он один из самых известных астрономов в мире, и твой отец пригласил его, когда космический корабль приземлился в ваших краях.

— Что ты болтаешь? Да мой отец понятия не имел о том, что это за штука. Он пришел сюда только потому, что я слышал раскат грома. И, кроме того, космических кораблей не существует.

— Нет, существуют. Ну-ка взгляни: посмотри на эти круглые штуки. Это дюзы. А вон ракетные двигатели.

— Откуда ты все это знаешь?

Тощий всхлипнул:

— Я читал об этом. У моего отца есть книга. Старые книги.

— Хм. Все выдумываешь.

— Ничего не выдумываю: мой отец преподает в университете, ему нельзя без книг. Это же его работа.

Он уже говорил на высоких нотах, и Рыжему пришлось одернуть его.

— Хочешь, чтобы нас услышали? — с недоверием прошептал он.

— Ладно, а все же это космический корабль!

— Послушай, Тощий, ты думаешь, что это корабль из другого мира?

— Должно быть. Посмотри, как мой отец осматривает его. Он бы так не интересовался, если бы это было что-нибудь другое.

— Другие миры! А где они, эти другие миры?

— Везде. Возьми, например, планеты. Некоторые из них такие же миры, как наш. А может, и у других звезд тоже есть планеты. Наверное, планет триллионы.

Рыжий чувствовал себя уничтоженным и поверженным. Он пробормотал:

— Ты сопел с ума!

— Хорошо же. Я тебе покажу.

— Эй, ты куда?

— Спрошу отца. Надеюсь, ему-то ты поверишь, что профессор астрономии знает...

Он поднялся во весь рост.

— Эй! Ты что хочешь, чтобы они нас увидели? — сказал Рыжий. — Они же не догадываются, что мы здесь. Хочешь, чтобы лезли к нам с расспросами и узнали про зверьков?

— А мне плевать! Ты сказал, что я сумасшедший...

— Эх ты, ябеда! Ты же обещал, что никому не проговоришься!

— Я и не собираюсь проговариваться. Но если они сейчас все узнают, сам будешь виноват — ведь это ты начал спорить, ты сказал, что я сумасшедший.

— Беру свои слова обратно, — буркнул Рыжий.

— Ну тогда ладно.

Тощий был немного разочарован. Он хотел подойти поближе к космическому кораблю, но не мог нарушить клятву.

— Больно уж он мал для космического корабля, — сказал Рыжий.

— Конечно, потому что это, наверное, разведчик.

— Держу пари, отцу не удастся даже заглянуть в эту штуковину.

Тощий считал это слабым местом и в собственных рассуждениях и поэтому промолчал.

Рыжий поднялся на ноги, ему явно надоело приключение.

— Знаешь, давай уйдем отсюда. У нас свои дела, не пялиться же целый день на какой-то там старый космический корабль. Нам надо заняться зверьками, если мы хотим стать циркачами. Это для циркачей самое первое дело. Они должны заботиться о животных. Вот я и собираюсь это сделать, — с добродетельным видом закончил он.

— Ну что ты, Рыжий? У них там полно мяса. Давай подождем, — сказал Тощий.

— А что ждать? И потом мой отец и твой отец собираются уходить, и уже пора полдничать. И вообще, Тощий, мы не должны вызывать подозрений, а то они начнут расспрашивать. Неужели ты никогда не читал детективов? Если ты затеял большое дело и не хочешь, чтобы тебя поймали, главное — действовать как обычно. Тогда никто ничего не заподозрит. Это первая заповедь...

— Ну ладно.

Тощий неохотно поднялся. В этот момент затея с цирком показалась ему нестойцкой и старомодной по сравне-

дю с блестательной карьерой астронома, и он недоумевал, как он мог связаться с глупыми прожектами Рыжего.

Они пошли вниз по склону. Тощий, как всегда, позади.

7

— Что меня поражает, так это качество работы, — сказал Промышленник. — Никогда не видывал такой конструкции.

— Ну и что с того? — отрезал Астроном. — Ведь никого из них не осталось. Второго корабля не будет. Они обнаружили жизнь на нашей планете случайно.

— Да, тут была авария, это ясно.

— Корабль почти не поврежден. Его можно было бы отремонтировать, если бы хоть один из путешественников уцелел.

— Если они уцелели, все равно о торговых отношениях и думать не приходится. Очень уж они непохожи на нас. Неудобств много будет. Так или иначе, все кончено.

Они вошли в дом, и Промышленник спросил жену:

— Полдник уже готов, дорогая?

— Да нет. Видишь ли... — Она в нерешительности посмотрела на Астронома.

— Что случилось? — спросил Промышленник. — Что же ты молчишь? Думаю, наш гость простит нас.

— Умоляю, не обращайте на меня внимания, — пробормотал Астроном. Он незаметно отошел в дальний угол комнаты.

— Видишь ли, дорогой, кухарка очень расстроена, — торопливо, низким голосом проговорила его жена. — Я утешала ее все утро и, честное слово, не знаю, зачем Рыжий сделал это.

— Что он натворил?

— Он взял почти весь фарш, — сказала она.

— И съел его?

— Ну, надеюсь, что нет. Ведь он сырой.

— Тогда зачем он ему понадобился?

— Представления не имею. Я видела Рыжего только за завтраком. Кухарка в ярости. Она заметила, как он удирал из кухни, и в чаше почти не осталось фарша. А фарш предназначался для полдника. Ты же знаешь кухарку. Ей пришлось готовить что-то другое, а это значит, что теперь целую неделю от нее покоя не будет. По-

говори с Рыжим, дорогой, и пусть он больше носа не показывает на кухню. И не мешало бы ему извиниться перед кухаркой.

— Только этого не хватало! Она служит у нас, и если мы не жалуемся на изменения в меню, ей-то что?

— Но ей приходится выполнять двойную работу. Она уже поговаривает об уходе. А попробуй-ка сейчас найти хорошую кухарку. Помнишь, какая у нас была до нее?

Это был сильный довод.

— Видимо, ты права, — сказал Промышленник. — Я поговорю с ним, как только он придет.

— Да вот он.

Рыжий весело вошел в дом со словами:

— Кажется, пора полдничать. — Он взглянул на отца, потом на мать, и в нем мгновенно проснулись подозрения. — Пойду сначала помоюсь, — сказал он и направился к другой двери.

— Минуту, сынок, — остановил его Промышленник.

— Сэр?

— Где твой маленький друг?

— Да где-то рядом, — беспечно ответил Рыжий. — Мы вроде вместе гуляли, потом я оглянулся, а его нет. — Это было правдой, и Рыжий почувствовал под собою твердую почву. — Я ему сказал, что пора полдничать, говорю: по-моему, пора полдничать; говорю: надо возвращаться домой; а он говорит: да. Я и пошел, а потом, когда я был уже около ручья, оглядывался, а...

Астроном прервал это словоизлияние, оторвавшись от журнала, который он перелистывал:

— Я никак не беспокоюсь о моем юнце. У него есть голова на плечах. Не ждите его к столу.

— Все равно полдник еще не готов, доктор. — Промышленник опять повернулся к сыну. — И откровенно говоря, потому, сынок, что кухарка кое-чего недосчиталась. Тебе нечего сказать?

— Сэр?

— Как это ни противно, но придется объясняться на чистоту! Зачем ты взял фарш?

— Фарш?

— Да, фарш.

— Ну, я был немножко... — начал было Рыжий.

— Голоден? — подсказал отец. — И тебе захотелось сырого мяса?

— Нет, сэр. Оно мне было вроде бы нужно.

— Для чего именно?

Рыжий молчал с жалким видом.

Но тут опять вмешался Астроном:

— Если вы позволите вставить словечко, я вам напомню, что как раз после завтрака мой сын зашел и спросил, что едят животные.

— О, вы правы! Какой же я дурак, что забыл об этом! Послушай, Рыжий, ты взял мясо для твоего ручного зверька?

Рыжий с трудом подавил негодование.

— Так вы хотите сказать, что Тощий заходил сюда и наябедничал, что у меня есть зверьки? Он пришел к вам и проболтался, да? Он сказал, что у меня есть зверьки?

— Нет. Он этого не говорил, а просто спросил, чем питаются животные. Вот и все. И вообще, если уж он нообещал тебя не выдавать, он не выдаст. Это твоя собственная глупость выдала тебя — ты взял без спроса фарш. А это называется воровством. Теперь отвечай без уверток — есть у тебя зверек?

— Да, сэр.

Это было сказано едва слышным шепотом.

— Отлично! Придется тебе избавиться от него. Понятно?

— Ты хочешь сказать, что у тебя есть хищное животное, да, Рыжий? — вмешалась мать. — Оно может тебя укусить, и у тебя будет заражение крови.

— Они совсем крохотулечки, — сказал Рыжий дрожащим голосом. — Если их тронуть, они едва шевелятся.

— Они? Сколько же их у тебя?

— Два.

— Где они?

Промышленник дотронулся до руки жены.

— Не мучай ребенка, — сказал он тихо. — Если он обещает избавиться от них, он так и сделает, и этого наказания с него достаточно.

И он выкинул из головы и Рыжего, и его зверьков.

— Мне надо поговорить с Рыжим! Я должен ему что-то сказать!

Рыжий посмотрел на него со страхом, а Астроном заметил:

— Сын, не очень-то ты воспитан. Ты заставил нас ждать себя.

— Прости, отец.

— О, не сердитесь на парнишку, — сказала жена Промышленника. — Пусть поговорит с Рыжим, если хочет, а полдник от них не уйдет.

— Мне нужно поговорить с Рыжим наедине, — настаивал Тощий.

— Ну хватит, хватит, — сказал Астроном со скрытым раздражением. — Садись.

Тощий повиновался, но ел без особого аппетита, да и то только тогда, когда кто-нибудь глядел прямо на него.

Рыжий перехватил его взгляд и тихо спросил:

— Что, зверьки убежали?

Тощий покачал головой и прошептал:

— Нет, это...

Астроном бросил на него строгий взгляд, и Тощий осекся.

Едва полдник закончился, Тощий выскользнул из комнаты, незаметно пригласив Рыжего следовать за ним.

В молчании они дошли до ручья. Тут Рыжий разом повернулся к своему спутнику.

— Слушай, с чего это тебе взбрело в голову сказать моему отцу, что мы кормим животных?

— Да я и не говорил. Я только спросил, чем кормят животных, — заиротостовал Тощий. — Это не значит сказать, что мы кормим их. И кроме того, дело не в этом, Рыжий.

Но Рыжий еще не простил обиды.

— А потом куда ты запропастился? Я думал, ты идешь домой. По-ихнему получается, будто я виноват, что тебя не было.

— Я все попытаюсь тебе объяснить, если ты помолчишь хоть минутку. Ты же мне словечка вставить не даешь.

— Ну что ж, валай выкладывай, если у тебя есть что.

— Я пошел обратно к кораблю. Родителей там уже не было, а я хотел посмотреть, что это за штука.

— Это не космический корабль, — мрачно сказал Рыжий. Ему нечего было терять.

— Вот именно что космический корабль. Туда можно заглянуть через иллюминаторы, я и заглянул, и они там мертвые. — Он был очень бледен. — Все до одного мертвые.

— Кто мертвые?

— Да зверьки! — закричал Тоцкий. — Такие же, как наши! Только они не зверьки, это жители других планет.

На мгновение Рыжий окаменел. Он и не подумал усомниться в правоте Тоцкого, слишком искренне тот был взволнован. Рыжий только сказал:

— Ну и ну!

— Вот. Что теперь делать? Ей-же-ей, будет нам взбучка, если они узнают!

Тоцкого всего тряслось.

— Может, лучше их выпустить? — спросил Рыжий.

— Они на нас наядебничают.

— Да они не могут говорить на нашем языке. Ведь они с другой планеты.

— Нет, могут. Я помню, как мой отец говорил о всяком таком с мамой, ну, он не знал, что я в комнате. Он говорил, что есть пришельцы, которые могут говорить без всяких слов. Вроде бы телепатия. Я думал, он фантазирует.

— Да... Ну и ну! То есть пу и ну! — Рыжий взглянул на Тоцкого. — Ну ладно, слушай. Мой отец велел мне избавиться от них. Давай зароем их, что ли, где-нибудь или бросим в ручей.

— Он тебе так велел?

— Он заставил меня признаться, что у меня есть зверьки, а потом сказал: «Придется избавиться от них». Должен же я делать то, что он говорит! Ведь он мой отец!

У Тоцкого немного отлегло от сердца. Это был отличный выход из положения.

— Хорошо. Идем прямо туда и опередим их. Ох, если они их найдут, будет нам на орехи!

Они бросились к амбару, обуреваемые невыразимыми видениями.

Совсем иное дело — видеть в них «людей». Как животные они были занятны, но как «люди» — ужасны! Их глаза, которые раньше представлялись маленьенькими не-

выразительными точками, теперь, казалось, следили за Рыжим и Тощим с явной злобой.

— Они издают звуки, — прошептал Тощий.

— Наверное, разговаривают или что-то вроде того, — сказал Рыжий.

Забавно, что раньше они слышали эти звуки, но не придавали им значения. Рыжий не сдвинулся с места. Тощий — тоже.

Брезент был откинут, но они просто наблюдали. Тощий заметил, что зверьки не дотронулись до фарша.

— Ну как, будешь действовать? — спросил Тощий.

— А ты?

— Ты их нашел!

— Сейчас твоя очередь.

— Нет. Ты их нашел. Ты сам виноват во всем. Я только наблюдал.

— А ты со мной заодно. Не станешь же ты отрицать.

— Неважно. Ты их нашел, я так и скажу, когда они придут сюда искать нас.

— Ну и пусть, — сказал Рыжий, но все же мысль о том, что их ожидает, подхлестнула его, и он потянулся к дверце клетки.

— Стой! — крикнул Тощий.

— Какая муха тебя укусила? — спросил Рыжий. Он был доволен.

— У одного из них есть какая-то железяка или что-то вроде этого.

— Где?

— Да вот там. Я ее видел и раньше, но думал, что это часть его тела. Но если они люди, может быть, это ружье-дезинтегратор.

— А что это такое?

— Я читал об этом в старых книгах. У большинства людей на космических кораблях есть такие ружья-дезинтеграторы. Наведут такое на тебя — ты и распался на элементы.

— До сих пор его на нас не наводили, — возразил Рыжий, но на душе у него явно кошки скребли.

— Неважно. Я не собираюсь болтаться здесь и ждать, пока меня разложат на части. Я приведу отца.

— Эх ты, трусишка! Жалкий трус!

— Ну и пусть! Можешь обзвывать меня как хочешь, но, если ты сейчас их тронешь, тебя разложат. Вот подожди и увидишь, и поделом тебе.

Он двинулся к узенькой винтовой лестнице, которая вела вниз, остановился на площадке и отшатнулся.

По лестнице, тяжело дыша, поднималась мать Рыжего.

— Рыжий, эй, Рыжий! Ты наверху? И не пытайся спрятаться. Я знаю, что они у вас там. Кухарка видела, куда ты побежал с мясом.

— Привет, мама! — дрожащим голосом крикнул Рыжий.

— А ну-ка покажи мне этих мерзких животных. Я хочу, чтобы ты при мне избавился от них, и немедленно.

Все кончено! Но хотя ему грозило наказание, Рыжий почувствовал, как с него свалилось бремя. По крайней мере, ему не надо самому принимать решение.

— Они здесь, мам. Я им ничего не сделал, мам. Я не знал. Они выглядели ну совсем как маленькие зверюшки, и я думал, ты позволишь мне подержать их у себя, мам. Я бы не брал мяса, да только они не ели травы и листьев, а мы не смогли найти хороших орехов или ягод, а кухарка никогда мне ничего не дает, или я должен упрашивать ее, а я и не знал, что это для полдника...

Он все говорил, охваченный страхом, и не сознавал, что мать уставилась на клетку и, не слушая его, визжит, визжит тонко и пронзительно.

10

— Нам остается только одно — похоронить их как можно тише. Не стоит подымать шум, — говорил Астроном, но тут раздался визг.

Она бежала всю дорогу и, когда оказалась рядом с ними, еще не совсем пришла в себя. Только через несколько минут муж смог привести ее в чувство.

Наконец она произнесла:

— Они в амбаре. Я не знаю, кто они такие. Нет, нет...

Промышленник собрался было пройти вперед, но она преградила ему дорогу.

— Нет, ты не пойдешь. Пошли одного из слуг с ружьем. Я тебе говорю, в жизни не видывала таких. Маленькие ужасные существа... с... с... я не могу их описать! И подумать только, что Рыжий трогал их и пытался кормить. Он держал их, скормливал им мясо.

— Я только... — начал Рыжий.

А Тощий добавил:

— Это не...

— Ну, мальчишки, вы сегодня наломали дров! — сказал Промышленник. — Марш в дом! И больше ни слова! Что бы вы там ни говорили, мне интересно. Я вас выслушаю, когда все будет кончено, а что касается тебя, Рыжий, я сам прослежу за тем, чтобы тебя наказали.

Он повернулся к жене:

— Какими бы ни были эти животные, их надо уничтожить.

А когда мальчишки отошли на достаточное расстояние, мягко добавил:

— Ну, успокойся, дети живы-здоровы и не сделали ничего ужасного. Это для них просто новая забава.

— Простите, мадам, но не могли бы вы описать этих животных? — прерывающимся голосом спросил Астроном.

Она покачала головой. Она не могла говорить.

— Не могли бы вы сказать мне...

— Я должен ей помочь! Простите меня, — извинился Промышленник.

— Минуточку. Пожалуйста. Она говорит, что никогда не видела таких животных раньше. Наверное, не очень часто у вас находят таких уникальных животных.

— Давайте не будем обсуждать сейчас этот вопрос.

— Если только эти уникальные животные не приземлились сегодня почью.

— Что вы имеете в виду?

— Я думаю, нам нужно пойти в амбар, сударь!

Промышленник несколько мгновений смотрел на него, потом повернулся и бросился бегом к амбару. Астроном последовал за ним. Вдогонку им несся крик.

11

Промышленник воззрился на них, потом перевел взгляд на Астронома и опять на них.

— Это они?

— Они, — сказал Астроном. — Не сомневаюсь, что мы для них так же отвратительны, как и они для нас.

— Что они говорят?

— Ну, что им очень неудобно, они утомлены и нездоровы, но что при посадке они пострадали несерьезно и что ребята обращались с ними хорошо.

— Обращались хорошо! Схватили их, держали в клетке, совали траву и сырое мясо! Скажите, а я могу с ними поговорить?

— На это нужно время. Настройтесь на одну волну с ними. Вы примете сигналы, но, возможно, не сразу.

Промышленник сделал попытку. От напряжения лицо его скривилось в гримасу, он передавал одну и ту же мысль: «Мальчишки не знали, кто вы такие».

И внезапно в его мозгу мелькнула мысль: «Мы все прекрасно понимали и именно потому не атаковали их».

«Атаковали их?» — подумал Промышленник и, погруженный в свои мысли, произнес это вслух.

«Ну да, конечно, — пришла ответная мысль. — Ведь мы вооружены».

Одно из омерзительных созданий подняло металлический предмет, и внезапно в крыше клетки и в крыше амбара появились отверстия с обуглившимися краями.

«Мы надеемся, — передавали эти существа, — что будет несложно отремонтировать крышу».

Промышленник почувствовал, что сбился с волны. Он повернулся к Астроному.

— И с таким оружием они дали себя захватить и оказались в клетке? Не понимаю.

И получил спокойный ответ:

«Мы никогда не трогаем детей мыслящих существ».

12

Вечерело. Промышленник и думать забыл об ужине.

— Вы верите в то, что корабль полетит? — спросил он.

— Если они так сказали, значит полетит, — ответил Астроном. — Надеюсь, скоро они вернутся.

— И когда они к нам вернутся, я выполню соглашение, — энергично сказал Промышленник. — И даже больше: я переверну небо и землю, чтобы их признал весь мир. Я был не прав, доктор. Создания, которые не причинили вреда детям, хотя их буквально толкали на это, достойны восхищения. Но знаете, мне очень трудно говорить...

— О ком?

— Да о ребятах. О вашем и моем. Я почти горжусь ими. Схватить таких существ, прятать их, кормить или хотя бы пытаться накормить. Это поразительно. Рыжий

сказал мне, что это он придумал — использовать их для выступления в цирке. Подумать только!

А Астроном сказал:

— Молодость!

13

— Скоро стартуем? — спросил Торговец.

— Через полчаса, — ответил Исследователь.

Они отправятся в одинокое путешествие. Остальные семнадцать членов экипажа погибли, и прах их останется на чужой планете. В обратный путь они отправятся на поврежденном корабле и поведут его вручную, рассчитывая только на свои силы.

— Хорошо, что мы не тронули этих мальчишек, — сказал Торговец. — Мы заключили очень выгодные сделки, очень выгодные.

«Сделки», — подумал Исследователь.

— Они собрались, чтобы проводить нас, — сказал Торговец. — Все как один. Вам не кажется, что они стоят слишком близко?

— Им ничто не угрожает.

— Какая у них отталкивающая внешность, а?

— Зато их внутренний мир подкупает. Они настроены абсолютно дружелюбно.

— Глядя на них, этого не скажешь. Вон тот юнец, который первым подобрал нас...

— Оци зовут его Рыжим.

— Странное имя для чудовища. Смешное. Он, кажется, всерьез расстроен тем, что мы улетаем. Только я что-то не разберу, почему. Будто тем самым мы лишаем его чего-то. Я не очень-то понял.

— Цирк, — коротко сказал Исследователь.

— Что? Почему? Чудовищная нелепость!

— А отчего бы и нет? Что бы сделали вы сами, если бы нашли его спящим на поле на Земле: красные щупальца, шесть ног, псевдоподии и прочее в том же роде?

14

Рыжий смотрел, как отлетает корабль. Красные щупальца — из-за них он получил свое прозвище — все еще колыхались, выражая сожаление об утраченной надежде, а глаза на ножках были полны желтоватыми кристаллами, которые соответствовали нашим земным слезам.

Курт Воннегут-младший

ЭФФЕКТ БАРНХАУЗА

Прежде всего, хочу предупредить, что я, как и все другие, понятия не имею о местопребывании профессора Артура Барнхауза. Он исчез полтора года тому назад, и я не получал от него никаких известий, кроме короткой и весьма загадочной записки, которую я нашел в сочельнице у себя в почтовом ящике.

Добавлю, что, если читатели этих строк надеются сами овладеть так называемым «эффектом Барнхауза», их ждет разочарование. Если бы я мог и хотел раскрыть этот секрет, я бы, конечно, был не простым преподавателем психологии, а кем-нибудь поважнее.

Меня уговорили написать этот отчет, так как я работал ассистентом у профессора Барнхауза и первый узнал о его потрясающем открытии. Но пока я был студентом, он ни разу не говорил со мной о том, как можно высвободить энергию мысли и управлять ею по своему желанию. Эти сведения он не хотел доверять ни одному человеку.

Кстати, должен заметить, что термин «эффект Барнхауза» выдумали газетчики, и сам профессор Барнхауз никогда его не употреблял. Он назвал это явление «психодинанизмом» или «силой мысли».

Бряд ли есть на свете хоть один цивилизованный человек, которого надо убеждать, что такая сила существует. Ее разрушительная мощь хорошо известна во всех столицах мира. Должно быть, человечество уже давно догадывалось о ее существовании. Все знают, что некоторым людям особенно везет в тех играх, где приходится иметь

дело с неодушевленными предметами — например, бросать кости. Профессор Барнхауз открыл, что всякое «везение» вполне измеримая сила и что у него самого эта сила воздействия на предметы достигла невероятных размеров.

По моим расчетам, сила профессора Барнхауза к тому времени, когда он ушел в подполье, была примерно в пятьдесят пять раз больше, чем сила атомной бомбы, сброшенной на Нагасаки. Он вовсе не хвастался, когда сказал генералу Хонесу Баркеру накануне операции «Мозговой штурм»:

— Вот сейчас, не вставая из-за стола, я, пожалуй, могу стереть с лица земли все, что угодно, от Джо Луиса * до Великой Китайской стены.

Понятно, что многие считают, будто профессор Барнхауз ниспослан нам свыше. Первая церковь Барнхауза в Лос-Анджелесе насчитывает многие тысячи прихожан. Но он ни телом, ни духом не похож на святого. Человек, который взял на себя всеобщее разоружение, холост, ниже среднего роста, полноват и склонен к сидячему образу жизни. Его ПИ (показатель интеллекта) — 143. Уровень вполне приличный, но ничего из ряда вон выходящего. Он, конечно, не бессмертен, но пока что вполне здоров и собирается справлять свое сорокалетие. Если ему сейчас и приходится жить в одиночестве, это вряд ли его особенно беспокоит. Когда я с ним работал, он был очень тихий и застенчивый человек и явно предпочитал книги и музыку обществу своих коллег.

Ничего сверхъестественного ни в нем самом, ни в его способностях нет. Его психодинамические излучения подчиняются многим физическим законам, так же как и радиоволны. Все, наверное, слышали в своих радиоприемниках оглушительный треск от «статического поля Барнхауза». Солнечные пятна и возмущения в ионосфере также влияют на эти излучения.

Но все же они в некоторых отношениях существенно отличаются от обычных радиоволн. По желанию профессора вся энергия психодинамики может быть сосредоточена в любой точке, и сила воздействия не зависит от расстояния. Таким образом, психодинамизм имеет бесспорное преимущество перед бактериями или атомными бомбами, не говоря уж о том, что его применение не тре-

* Джо Луис — знаменитый боксер.

бует никаких затрат: профессор может избирательно воздействовать на личности или объекты, угрожающие обществу, вместо того, чтобы истреблять целые народы во имя сохранения международного равновесия.

Генерал Хонес Баркер заявил Комитету национальной обороны: «Пока мы не отыщем Барнхауза, защиты от «эффекта Барнхауза» не существует». Попытки «заглушить» или экранировать излучения провалились. Премьер Слезак мог бы и не расходовать такие баснословные суммы на «барнхаузоустойчивое» убежище. Почти четырехметровая толщина свинцового перекрытия не помешала профессору Барнхаузу дважды сбить его с ног, когда он там отсиживался.

Начались разговоры о том, что необходимо разыскать людей, в которых таится та же самая сила. Сенатор Уоррен Фоуст потребовал ассигнований на эту работу и провозгласил новый лозунг: «Кто владеет эффектом Барнхауза, владеет миром!» Комиссар Кропотник высказался примерно в том же духе, и началась новая дорогостоящая гонка вооружений, только с особым уклоном.

Каждое правительство носится теперь со своими лучшими игроками в кости, как будто они физики-атомщики. Возможно, что на Земле, кроме меня, пайдется сотни две одаренных психодинамистов. Но, не владея техникой профессора, они так и останутся всего-навсего удачливыми игроками в кости. Даже зная секрет, они превратятся в опасное оружие не раньше чем через десять лет. Как раз такой срок понадобился и самому профессору. Так что «эффектом Барнхауза» пока что владеет — и надолго — только сам Барнхауз.

Считается, что эпоха Барнхауза наступила примерно полтора года назад, в тот день, когда была назначена операция «Мозговой штурм». Именно тогда психодинамизм приобрел политическое значение. Но на самом деле это явление было открыто в мае 1942 года, когда профессор отказался от специального назначения и записался рядовым в артиллерию. Психодинамизм был открыт так же случайно, как рентгеновы лучи или вулканизация резины.

Время от времени товарищи по казарме звали рядового Барнхауза перекинуться в кости. Он никогда не играл в азартные игры, и обычно ему удавалось отвертеть-

ся. Но как-то вечером он сел играть просто из вежливости. Этот факт можно назвать катастрофой или чудом — все зависит от точки зрения на то, что сейчас происходит в мире.

«Выбрось-ка семерку, папаша!» — сказал кто-то И «папаша» выбросил семерку десять раз кряду, так что обчистил всех до единого*. Потом он вернулся на свою койку и из любви к математике вычислил вероятность такого совпадения на обороте счета из прачечной. Оказалось, что получается один шанс из десяти миллионов. Это его озадачило, и он попросил кости у соседа. Он снова попробовал выбросить семерку, но на этот раз ничего не вышло. Тогда он немного полежал, а потом опять стал бросать кости. И снова выбросил семерку десять раз подряд.

Другой на его месте присвистнул бы и отмахнулся от этого чуда. А профессор стал размышлять, при каких обстоятельствах ему оба раза так повезло. И он нашел единственный общий фактор: *и в том и в другом случае как раз перед самым броском в его мозгу промелькнула одна и та же мысль*. Именно эта мысль таким образом организовала мозговые клетки, что мозг профессора стал самым мощным оружием на Земле.

Первый уважительный отзыв о психодинамизме профессор услышал от соседа по койке. «Здорово бьешь, папаша, не хуже игрушечного пугача!» — сказал он, и эта явная недооценка, наверно, вызвала бы кривые улыбки у всех горе-демагогов мира. Да, профессор Барнхаз и вправду здорово бил. Хотя кости, послушные его воле, весили всего несколько граммов, так что сила, двигавшая ими, была минимальной, но самый факт существования такой силы мог перевернуть весь земной шар.

Он не сообщил о своем открытии из профессиональной осторожности. Ему нужно было получить новые данные, которые легли бы в основу теории. Впоследствии, когда сбросили бомбу на Хиросиму, страх заставил его молчать. Но никогда его эксперименты не были «буржу-

* Игровые кости — два кубика с точками от одной до шести на каждой грани. Семь и одиннадцать выигрывают, три и двенадцать проигрывают. Любое другое число выигрывает только тогда, когда выпадает до появления следующей семерки.

азным заговором против истинной демократии мира», как выразился премьер Слезак. Профессор даже не знал, к чему они приведут.

Со временем он открыл еще одно поразительное свойство психодинамизма: его сила возрастала от упражнения. Через шесть месяцев он мог воздействовать на кости, которыми играли на другом конце казармы; а когда он демобилизовался в 1945-м, от одного его взгляда из печных труб на расстоянии трех миль сыпались кирпичи.

Совершенно бессмысленно обвинять профессора Барнхауза в том, что он мог бы шутя выиграть последнюю войну и просто не захотел этим заниматься. К концу войны он обладал всего лишь силой и дальностью 37-миллиметрового орудия — никак не больше. Его психодинамическая мощность превысила мощность мелкокалиберного вооружения только после того, как он, демобилизовавшись, вернулся в Вайандотт-колледж.

Я поступил в аспирантуру два года спустя после возвращения профессора. Совершенно случайно его назначили моим руководителем по теме. Я был очень огорчен этим назначением, потому что в глазах преподавателей и студентов профессор был довольно нелепой фигурой. Он пропускал занятия и сбивался во время лекций. По правде говоря, к тому времени его чудацства из смешных превратились в невыносимые.

«Мы только временно прикрепляем вас к Барнхаузу», — сказал мне декан факультета. Он был смущен и как будто старался оправдаться. — Барнхауз — блестящий ум, поверьте. Это не сразу видно, особенно теперь, после его возвращения, но до войны его работа принесла известность нашему маленькому институту».

Но сплетни сплетнями, а то, что я увидел собственными глазами, когда впервые вошел в лабораторию профессора, напугало меня еще больше. Везде лежал толстый слой пыли; ни к книгам, ни к приборам никто не прикасался месяцами. Профессор дремал за столом. О какой-то деятельности говорили лишь три пепельницы, ножницы и свежая газета с вырезками на первой странице.

Он поднял голову и взглянул на меня мутными от усталости глазами.

— Привет, — сказал он. — Ночами не сплю, не высыпаюсь. — Он зажег сигарету, руки у него немного дрожали. — Это вам я должен помочь с диссертацией?

— Да, сэр, — сказал я. За эти несколько минут мои сомнения переросли в тревогу.

— Сражались в Европе? — спросил он.

— Да, сэр.

— Там ведь кое-где камня на камне не осталось, а? — Он помрачнел. — Понравилось на войне?

— Нет, сэр.

— Как, по-вашему, скоро опять будет война?

— Похоже на то, сэр.

— И никак нельзя помешать?

Я пожал плечами:

— Кажется, дело безнадежное.

Он пристально посмотрел на меня.

— Слыхали о международных соглашениях, об ООН и так далее?

— Только то, что пишут в газетах.

— И я тоже, — вздохнул он. Потом показал мне толстую папку с вырезками. — Я никогда не обращал внимания на международные отношения. А теперь я их изучаю так же, как крыс в лабиринтах. И все говорят мне одно и то же: «Безнадежное дело...»

— Разве что произойдет чудо, — начал я.

— Верите в чудеса? — быстро спросил профессор. Он выудил из кармана пару игральных костей и сказал: — Попробуй выбросить двойки.

Он выбросил двойки три раза подряд.

— Вероятность — один шанс из сорока семи тысяч. Вот вам чудо.

Он просиял на мгновение, а потом оборвал разговор — оказалось, что у него лекция, которая уже десять минут, как должна была начаться.

Он не торопился открывать мне свою тайну и больше не упоминал о фокусе с игральными костями. Я решил, что кости были со свинцом, и совсем об этом позабыл. Он дал мне задание наблюдать, как крысы-самцы перебегают через металлические пластины, находящиеся под током, чтобы добраться до кормушки или до самки. Эти эксперименты были закончены еще в тридцатых годах и не нуждались в проверке. Но мало того, что я возился с бессмысленной работой — профессор еще допекал меня неожиданными вопросами: «Думаете, стоило бросать бомбу на Хиросиму?» или: «Как по-вашему, любое научное открытие идет на пользу человечеству?»

Но вскоре мои огорчения кончились.

— Дайте бедным животным передохнуть, — сказал мне профессор однажды утром. (Я работал у него всего месяц.) — Вы могли бы помочь мне решить более интересную проблему — а именно, в своем ли я уме.

Я рассадил крыс по клеткам.

— Это очень просто, — негромко объяснил он. — Смотрите на чернильницу на моем столе. Если с ней ничего не произойдет, скажите мне сразу, и я пойду потихоньку — и со спокойной душой, поверте, — в ближайший сумасшедший дом.

Я робко кивнул.

Он запер дверь лаборатории и задернул шторы, так что мы на время очутились в полутьме.

— Я знаю, что я странный человек, — сказал он. — Я боюсь самого себя, отсюда и все странности.

— По-моему, вы немного эксцентричны, но вовсе не...

— Если с этой чернильницей ничего не случится, то можете считать, что я окончательно рехнулся, — перебил он меня, включая свет. Он прищурился. — Чтобы вы поняли, какой я псих, я вам скажу, о чем я думал в бесконные ночи. Я думал: а вдруг я смогу дать каждому народу все, что ему нужно, и навсегда покончить с войнами? Может быть, я сумею прокладывать дороги в джунглях, орошать пустыни, буду воздвигать плотины за одну ночь.

— Да, сэр.

— Смотрите на чернильницу!

Борясь со страхом, я послушно уставился на чернильницу. Казалось, от нее исходило тонкое жужжание; потом она начала угрожающе вибрировать и вдруг застыла на столе, описывая круги. Остановилась, опять зажужжала, потом раскалилась докрасна и, вспыхнув сине-зеленым огнем, разлетелась на куски.

Должно быть, у меня волосы встали дыбом. Профессор тихонько рассмеялся. Мне наконец удалось вымолвить:

— Магниты?

— Если бы это были магниты! — пробормотал профессор. Тут он и рассказал мне о психодинамизме. Он знал только одно: что такая сила существует. Объяснить ее он не мог.

— Она во мне, и только во мне, — вот это ужасно.

— Это скорее поразительно и чудесно! — сказал я.

— Если бы я только и умел, что показывать танцующие чернильницы, я радовался бы от души. — Он поежился. — Но я не игрушечный пистолетик, мой мальчик. Если хотите, проедемся за город, и я вам все объясню.

Он рассказал мне о скалах, стертых в порошок, о поваленных дубах, о пустых сараев, начисто снесенных в радиусе пятидесяти миль от нашего поселка.

— Я просто сидел здесь, на месте, просто думал — и думал даже не очень напряженно. — Он нервно поскреб в затылке. — Я никогда не решался по-настоящему сосредоточиться — боялся натворить бед. Сейчас я дошел до того, что стоит мне только захотеть — и все летит к чертям.

Наступило неловкое молчание.

— Еще несколько дней назад я считал, что мою тайну необходимо сохранить: страшно подумать, как могут использовать эту силу, — продолжал он. — А теперь я понимаю, что не имею на это права, так же как никто не имеет права хранить атомную бомбу.

Он порылся в куче бумаг.

— По-моему, здесь сказано все, что нужно. — Он протянул мне черновик письма к государственному секретарю.

«Дорогой сэр.

Я открыл новую силу, которая не требует никаких затрат и при этом, возможно, окажется полезнее атомной энергии. Мне бы хотелось, чтобы эта сила служила делу мира, и поэтому я обращаюсь к вам за советом, как это сделать лучше всего.

С уважением,

А. Барнхауз».

— Что из этого выйдет, я совершенно себе не представляю, — сказал профессор.

И вот начался непрерывный трехмесячный кошмар. Днем и ночью политические деятели и военные тузы приезжали смотреть профессорские фокусы.

Через пять дней после отправки письма нас перебросили в старинный особняк под Шарлотсвиллем, в штате

Вирджиния. Мы жили за колючей проволокой под охраной двадцати солдат и носили название «Проект Доброї волі» под грифом «Совершенно секретно».

Для компании к нам были приставлены генерал Хонес Баркер и государственный чиновник Уильям К. Катрелл. Когда профессор распространялся о мире во всем мире и о всеобщем благоденствии, они с вежливой улыбкой начинали говорить о практических мерах и о необходимости учитывать реальные факторы. После нескольких недель такой обработки профессор из мягкого и терпеливого человека превратился в закоренелого упрямца.

Сначала он согласился выдать те мысли, которые превратили его мозг в психодинамический излучатель. Но Катрелл и Баркер так к нему приставали, что он вошел на попятный. Раньше он говорил, что эти сведения можно просто передать устно. Потом он стал утверждать, что для этого потребуется подробный письменный отчет. А однажды за обедом, сразу после того, как генерал Хонес Баркер огласил секретные инструкции по операции «Мозговой штурм», профессор вдруг заявил:

— На подготовку отчета понадобится по крайней мере пять лет. — Он сердито уставился на генерала. — А может, и все двадцать.

Это недвусмысленное заявление могло бы всех обескуражить, если бы не радостное предвкушение операции «Мозговой штурм». У генерала было предпраздничное настроение.

— В этот самый момент корабли-мишени подходят к Каролинским островам, — восторженно провозгласил он. — Целых сто двадцать судов! Одновременно в Мехико подготавливают десять «фау-2» и снаряжают пятьдесят реактивных бомбардировщиков с радиоуправлением для учебной атаки на Алеутские острова. Вы только подумайте!

Он радостно репетировал инструкций:

— Ровно в одиннадцать ноль-ноль в следующую среду, профессор, я даю вам приказ сосредоточиться, и вы начинаете изо всех сил думать, стараясь потопить корабли, взорвать «фау-2» в воздухе и сбить бомбардировщики, пока они не долетели до цели! Сумеете, а?

Профессор посерел и закрыл глаза.

— Я уже говорил вам, мой друг, что сам не знаю, на что я способен. — И он огорченно добавил: — А эту операцию «Мозговой штурм», которую вы даже не обсудили со мной, я считаю ребячеством, и притом несообразно дорогим.

Генерал Баркер напыжился:

— Сэр, — произнес он, — ваша специальность — психология, и я не пытаюсь давать вам советы в этой области. А мое дело — защита отечества. У меня за плечами тридцать лет безупречной службы, и я попросил бы вас не критиковать мои установки.

Профессор обратился к мистеру Катреллу:

— Послушайте, — сказал он умоляюще, — ведь мы же стараемся избавиться от войны и военщины! Как хорошо было бы попробовать перегнать облака туда, где сейчас засуха, — такие вещи гораздо нагляднее, да и мне было бы легче. Конечно, я совсем не разбираюсь в международной политике, но все же вряд ли кто-нибудь захочет драться, если всего будет вдоволь. Мистер Катрелл, я бы с удовольствием заставлял генераторы работать без воды и угля, орошал бы пустыни и все такое. Знаете, вы могли бы подсчитать, в чем нуждается каждая страна, и я обеспечу им всем полное процветание — это не будет стоить ни пенса американским налогоплательщикам.

— Неукоснительная бдительность — вот цена свободы, — многозначительно произнес генерал.

Мистер Катрелл взглянул на генерала с легкой неприязнью.

— К сожалению, генерал по-своему прав, — сказал он. — Как я хотел бы, чтобы мир был способен принять ваши идеалы, но он просто к этому не готов. Мы окружены не братьями, а врагами. Мы находимся на грани войны не потому, что не хватает еды или энергии: идет борьба за власть. Кто будет владеть миром — мы или они?

Профессор сумрачно кивнул и встал из-за стола.

— Прошу прощения, джентльмены. В конце концов кому, как не вам, знать, что нужно нашей стране. Я готов выполнить все ваши указания. — Он обернулся ко мне. — Не забудьте завести засекреченные часы и выпустить номенклатурную копию, — проворчал он и пошел вниз по лестнице в свою спальню.

Из соображений национальной безопасности операция «Мозговой штурм» проводилась в тайне от американских граждан, на которых легли все расходы. Наблюдатели, технический персонал и военные, привлеченные к работе, знали, что предстоят испытания, но о том, что именно будут испытывать, они не имели ни малейшего представления. Об этом знали только тридцать семь главных участников, в том числе и я.

В Вирджинии день операции «Мозговой штурм» выдался очень холодным. В камине трепетали огромные поленья, и отблески пламени отражались в полированном металле сейфов, расставленных по стенам гостиной. От прелестной старинной обстановки осталась только двухместная козетка, вытащенная на середину комнаты, прямо против экранов трех телевизионных установок. Для остальных десяти человек, которым позволили присутствовать, принесли длинную скамью. На экранах — слева направо — была видна пустыня — цель боевых ракет, корабли, назначенные на роль морских свинок, и тот участок неба, где должна была появиться ревущая стая радиоуправляемых бомбардировщиков.

За девяносто минут до назначенного часа по радио поступили сообщения, что ракеты приведены в боевую готовность, корабли-наблюдатели отошли на безопасную дистанцию и бомбардировщики легли на заданный курс. Немногочисленные зрители в Вирджинии расселись на скамье согласно чину, много курили и почти не разговаривали. Профессор Барнхауз оставался в своей спальне. Генерал Баркер носился по дому, как хозяйка, которой нужно приготовить праздничный обед на двадцать персон.

За десять минут до начала эксперимента генерал вошел в комнату, заботливо пропустив вперед профессора. Профессор был одет по-домашнему — теннисные туфли, серые шерстяные брюки, сибирский свитер и белая рубашка с отложным воротничком. Они сели рядышком на старинную козетку. Генерал вспотел от напряжения, а профессор был бодр и весел. Он взглянул на экран, закурил сигарету и откинулся на спинку диванчика.

— Вижу бомбардировщики! — крикнул наблюдатель с Алеутских островов.

— Ракеты стартовали! — проревел радист в Нью-Мехико.

Мы все сразу взглянули на большие электрические

часы над камином, а профессор с улыбкой на лице продолжал созерцать телеэкраны. Генерал глухим голосом отсчитывал секунды:

— Пять... четыре... три... два... один... СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ!

Профессор Барнхауз закрыл глаза, скжал губы и стал поглаживать пальцами виски. Так он сидел около минуты. Изображения на телевизорах запрыгали, статическое поле Барнхауза заглушило радиосигналы. Профессор вздохнул, открыл глаза и удовлетворенно улынулся.

— Вы сделали все, что могли? — недоверчиво спросил генерал.

— Весь выложился, — ответил профессор.

Изображения на экранах пришли в норму, и радио донесло до нас восхищенные возгласы наблюдателей. Алеутское небо было исчерчено дымными следами объятых пламенем бомбардировщиков, с воем несущихся к земле. В тот же момент над пустыней появились букетики белых дымков, и мы услышали грохот далеких взрывов.

Генерал Баркер не верил своему счастью.

— Черт побери! — закудахтал он. — Черт побери, черт побери, черт побери!

— Смотрите! — закричал адмирал, сидевший рядом со мной. — А корабли-то целы!

— Пушки как будто опускаются, — заметил мистер Катрелл.

Мы все сгрудились возле экрана, чтобы лучше видеть, что там творится. Мистер Катрелл был прав. Корабельные орудия согнулись так, что стволы уперлись в палубу. И тут, в Вирджинии, поднялся такой крик, что не слышно было сообщений по радио. Мы были настолько поглощены этим зрелищем, что хватились профессора только после того, как два коротких взрыва от статического поля Барнхауза заставили нас замолчать. Радио вышло из строя.

Мы растерянно огляделись. Профессора не было. Часовой в панике распахнул дверь снаружи и заорал, что профессор сбежал. Он размахивал пистолетом, показывая на покореженные ворота, сорванные с петель. Вдалеке казенный автобус на полной скорости валетел на гребень и скрылся в долине за горой. Удушливый дым застипал небо — машины все до одной были в огне.

— Черт, что же это на него накатило? — возопил генерал.

Мистер Катрелл, который только что выбежал за дверь, пришелся обратно, дочитывая на ходу какую-то записку. Он сунул записку мне.

— Любовную записочку оставил, миляга! Сунул под дверной молоток. Пусть уж наш юный друг прочитает ее вам, господа, а я пойду немного проветрюсь.

Я прочел вслух:

«Джентльмены! Будучи первым сверхоружием, обладающим совестью, я изымаю себя из арсенала государственной обороны. Оружие поступает подобным образом впервые в истории, но я ухожу по чисто человеческим причинам.

А. Барнхауз».

Разумеется, с этого самого дня профессор приступил к систематическому уничтожению мировых запасов оружия, так что теперь армии можно вооружить разве что камнями и дубинками. Его деятельность не привела к установлению мира в полном смысле этого слова, но послужила началом нового вида бескровной и увлекательной войны, которую можно назвать «войной болтунов». Все страны наводнены вражескими агентами, которые занимаются исключительно разведкой складов оружия. Эти склады аккуратнейшим образом уничтожаются, как только профессору сообщают о них через прессу.

Каждый день приносит не только новые сведения о запасах вооружения, стертых в порошок при помощи психодинамизма, но также и новые предположения о местопребывании профессора. За одну только прошлую неделю вышли три статьи, где с одинаковой уверенностью утверждалось, что профессор прячется в городе инков в Андах, скрывается в парижских клоаках или затаился в пеисследованных подрах Карлсбадской пещеры. Зная этого человека, я считаю, что для него такие убежища слишком романтичны и недостаточно комфортабельны. Многие люди охотятся за ним, но есть миллионы других, которые любят и защищают его. Мне приятно думать, что он сейчас живет в доме у таких людей.

Одно совершенно бесспорно: когда я пишу эти строчки, профессор Барнхауз еще жив. Статическое поле Барнхауза прервало радиопередачу всего десять минут

назад. За восемнадцать месяцев о его смерти было объявлено раз десять. Каждое сообщение было основано на смерти какого-нибудь неизвестного в период, когда статическое поле Барнхауза не обнаруживалось. После первых трех сообщений сразу же возникали разговоры о новом вооружении и о возобновлении войны. Но любители побряцать оружием убедились, как глупо раньше времени радоваться смерти профессора.

Не раз случалось, что громогласный оратор, во все-слушание объявив копец архитиации Барнхауза, через несколько секунд уже выбирался из-под обломков трибуны и выпутывался из лохмотьев флагов. Но люди, готовые в любой момент развязать войну во всем мире, ждут в мрачном молчании, когда наступит неизбежное — конец профессора Барнхауза.

Вопрос о том, сколько еще проживет профессор, — это вопрос и о том, скоро ли мы дождемся благодати — новой мировой войны. У него в семье никто долго не жил: мать умерла сорока трех лет, а отец — сорока девяти; примерно того же возраста достигали его деды и бабки. Это значит, что он может прожить еще, ну, лет пятнадцать, если его по-прежнему будут скрывать от врагов. Но стоит только вспомнить о том, как эти враги многочисленны и сильны, и пятнадцать лет кажутся целой вечностью. Как бы не пришлось говорить о пятнадцати днях, часах или минутах.

Профессор знает, что ему недолго осталось жить. Я понял это из его записки, оставленной в моем почтовом ящике в сочельник. Напечатанная на грязном клочке бумаги, эта записка без подписи состояла из десяти фраз. Девять из них написаны на варварском жаргоне психологов и полны ссылок на неизвестные источники; с первого взгляда они показались мне совершенно бессмысленными. Десятая, наоборот, составлена просто, и в ней нет ни одного ученого слова, но по содержанию эта фраза была самой нелепой и загадочной из всех. Я чуть не выбросил записку, думая о том, какое у моих коллег превратное представление о шутках. Но все же почему-то я бросил ее в груду бумаг у себя на столе, где валялись, между прочим, и игральные кости, принадлежавшие профессору.

И только через несколько недель до меня дошло, что это было послание, полное смысла, и что первые девять

фраз, если в них разобраться, содержат в себе точные инструкции. Но десятая фраза по-прежнему оставалась непонятной. Только вчера я наконец сообразил, как связать ее с остальными. Эта фраза пришла мне в голову вечером, когда я рассеянно подбрасывал профессорские «кубики».

Я обещал отправить этот отчет в издательство сегодня. После того, что произошло, мне придется нарушить обещание или послать неоконченную статью. Но я задержу ее ненадолго: одно из немногих преимуществ, которыми пользуются холостяки вроде меня, это свобода передвижения с места на место, от одного образа жизни к другому. Необходимые вещи можно уложить за несколько часов. К счастью, у меня есть довольно значительные средства, и всего за неделю эти суммы можно перевести на анонимные счета в разных местах. Как только с этим будет покончено, я вышлю статью.

Я только что вернулся от врача, который утверждает, что у меня превосходное здоровье. Я еще молод и, если мне повезет, могу дожить до весьма преклонного возраста, потому что мои родичи с обеих сторон славились своей долговечностью.

Короче, я собираюсь скрыться.

Рано или поздно профессор Барнхауз умрет. Но я буду наготове задолго до этого. И я говорю воякам сегодняшнего — надеюсь, что и завтрашнего дня: берегитесь! Умрет Барнхауз, но «эффект Барнхауза» останется.

Вчера ночью я еще раз попытался выполнить инструкции, написанные на клочке бумаги. Я взял профессорские «кубики» и, мысленно повторяя последнюю, самую бредовую фразу, выбросил подряд пятьдесят семерок.

До свиданья!

ЭПИКА

Хватит. Пора наконец рассказать правду про моего друга ЭПИКА. Тем более что он обошелся налогоплательщикам в 776 434 927 долларов 54 цента. Раз они выложили такие денежки, то имеют полное право узнать чистую правду. Когда доктор Орманд фон Клейгштадт

спроектировал ЭПИКАК для нашего правительства, газеты раззвонили об этом по всему свету. А после как-то в рот набрали — и ни тугу. Наша заправила пояснила, что происшествие с ЭПИКАКом — военная тайна. А на самом деле никакой тайны тут не было. Просто вышла неприятность. Такую уйму денег в нее всадили, а работал он совсем не так, как было задумано. И еще вот что: я хочу оправдать ЭПИКАКа. Может, он чем-то и не угодил нашим заправилам, но все равно он был благородный, великодушный и гениальный. Да, это был великий ум. Лучшего друга у меня не было, упокой, господи, его душу.

Если хотите, можете называть его машиной. С виду — он был выпитая машина, да только с машиной у него было гораздо меньше сходства, чем у большинства из тех, с вами знакомых. Потому-то он и провалил все планы нашего начальства.

ЭПИКАК занимал целый акр на четвертом этаже физического корпуса Вайандотт-колледжа. Если не говорить о его духовном облике, то он представлял собою семь тонн электронных блоков, проводов, переключателей, размещенных в целом городе стальных шкафов, питался он от обычной сети переменного тока, точь-в-точку как холодильник или пылесос.

По замыслу фон Клейгштадта и наших заправил, эта электронно-вычислительная машина суперкласса должна была, если понадобится, проложить траекторию ракеты с любой точки земной поверхности прямо в среднюю пуговицу на френче вражеского генералиссимуса. А при другом задании он мог высчитать, какая амуниция боеприпасы понадобятся при высадке дивизиона морской пехоты с точностью до последней сигареты и даже последнего патрона. С этим-то он как раз справлялся запросто.

Электронная техника попроще до сих пор верой и правдой служила правительству, так что наши деятели, увидев чертежи ЭПИКАКа, не могли дождаться, пока его построят. Да и любой снабженец или лейтенантчики всегда готов вам объяснить, что слабому человеческому разуму не по зубам математический аппарат современной войны. Чем сложнее военные действия, тем сложнее должны быть электронно-вычислительные машины. Считается — по крайней мере у нас, — что ЭПИКАК был крупнейшей вычислительной машиной в мире.

ре... Похоже, что он оказался чересчур велик, потому что даже сам фон Клейгштадт не очень-то в нем разбирался.

Не буду объяснять подробно, как работал, «мыслил» ЭПИКАК. Просто скажу, что задачу записывали на бумаге, потом ставили разные диски и переключатели в положение, предписанное для решения задач определенного типа, и вводили в него закодированную в цифрах программу при помощи клавиатуры, которая смахивала на пишущую машинку. Ответы ЭПИКАК выдавал на бумажной ленте — мы заранее заряжали в него целый большой ролик. За какие-то доли секунды ЭПИКАКправлялся с задачами, над которыми пятьдесят Эйнштейнов прокорпели бы всю жизнь. И он никогда не забывал ни одного бита введенной в него информации. Щелк-пощелк, выползает очередной кусок бумажной ленты — и полный порядок.

У наших вояк накопилось столько спешных и неотложных задач, что ЭПИКАКу пришлось вкалывать по шестнадцать часов в сутки с той самой минуты, как в него вставили последний блок. Операторы дежурили около него в две смены, по восемь часов. Но тут оказалось, что он далеко не дотягивает до намеченных спецификаций. Конечно, работал он быстрее и точнее любой другой машины, но все же от машины такого высокого класса можно было ждать большего. Ленился он, что ли? Только ответы он отщелкивал как-то чудно, неровно, будто заикался. Мы сто раз чистили все контакты, проверяли-перепроверяли проводку, заменили все блоки до единого — и хоть бы что. Фон Клейгштадт прямо на стену лез.

Само собой, мы все равно продолжали на нем работать. Мы с женой — ее тогда звали Пэт Килгаллен — работали в ночную смену, с пяти вечера до двух часов ночи. Тогда-то она еще не была моей женой. Куда там!..

И все же именно с этого начался мой разговор с ЭПИКАКом. Я любил Пэт Килгаллен. Волосы у нее золотые, с рыжинкой, глаза карие, и вся она на вид такая мягкая и теплая — в чем я впоследствии и убедился. В математике она была и осталась настоящим виртуозом, но со мной она поддерживала чисто деловые отношения. Я сам тоже математик, и Пэт считала, что именно по этой причине наш брак никогда не будет счастливым. Застенчивостью я не страдаю, так что не в том загвозд-

ка. Я прекрасно знал, что мне нужно, и не стеснялся просить об этом, — и уже просил но несколько раз в месяц.

— Пэт, брось ломаться и выходи за меня замуж.

Однажды вечером, когда я опять повторил эти слова, она даже не подняла глаз от работы.

— Как романтично, как поэтично, — пробормотала она, обращаясь не ко мне, а к своему пульту. — Ах, эти математики, они умеют бросить сердце к ногам, осыпать цветами... — Она щелкнула переключателем. — Да в мешке замороженного CO₂ и то больше тепла.

— Слушай, пу как же мне еще говорить? — сказал я. Вообще-то, я немного обиделся. Замороженный CO₂, к вашему сведению, — это сухой лед. По-моему, во мне романтики не меньше, чем в ком другом. Бывает же так — в душе заливаешься соловьем, а вслух петуха пускаешь. Я как-то не нахожу нужных слов.

— Попробуй скажи это нежно, ласково, чтобы у меня голова закружилась, — сказала она ехидно. — Ну-ка попробуй.

— Дорогая, ангел мой, любимая, выходи за меня замуж, пожалуйста! — Опять не то, какой-то безнадежный идиотизм! — Черт побери, Пэт, да выходи ты за меня, пожалуйста!

Она как ни в чем не бывало крутила рычажки у себя на пульте.

— Очень мило, но ничего не выйдет.

В этот вечер Пэт ушла рано, оставив меня паедине с моими заботами и с ЭПИКАМ. Боюсь, что я не очень-то много наработал для нашего правительства. Мне было не по себе, и устал я от всего этого, так что я просто сидел и пытался выдумать что-нибудь поэтическое. Но все, что мне приходило в голову, словно сошло со страниц «Вестника Американского Физического Общества».

Я готовил ЭПИКАМ к решению очередной задачи, небрежно переключая рычажки. Не до того мне было, и я успел сделать не больше половины, а остальные переключатели оставались в прежнем положении, как для предыдущей задачи. Все контуры были соединены как попало, на первый взгляд совершенно бессмысленно. И тут я из чистейшего хулиганства взял да и отступил на клавиатуре вопрос, зашифрованный простым детским кодом «цифры вместо букв»: А-1, Б-2, и так далее, по всему алфавиту.

Я отстукал: «24—19—15—13—14—6—5—6—12—1—19—27» — «Что мне делать?»

Щелк-пощелк, и наружу высунулось сантиметров пять бумажной ленты. Я скользнул взглядом по этому бессмысленному ответу на бессмысленный вопрос. «24—19—15—18—19—17—32—18—12—15—18—27». По теории вероятности не было почти никаких шансов на то, что этот случайный набор цифр имеет смысл, разве что случайно выскочит какое-нибудь словечко из трех букв, и то вряд ли. Машинально я расшифровал текст. И тут я увидел собственными глазами черным по белому: «Что стряслось?» Я громко расхохотался: надо же случиться такому невероятному совпадению! Потом я отстукал для смеха: «Моя девушка меня не любит».

Щелк-пощелк. «Что такое девушка? Что такое любит?» — спросил ЭПИКАК.

Тут уж меня проняло. Я засек, в каком положении стоят его переключатели, а потом приволок к пульте полный словарь Вебстера. Мои обывательские определения не годятся для такого точного инструмента, как ЭПИКАК. Я ему все растолковал и про девушек, и про любовь, и про то, что ничего у меня с ними не получается, потому что нет во мне поэтичности. А раз речь у нас пошла о поэзии, пришлось выдать ему точное определение.

«А это поэзия?» — спросил он, да как попал стрекотать, словно машинистка, пакутившаяся гаштапа. И следа не осталось от прежней неловкости и заикания. ЭПИКАК обрел самого себя. Бумажная лента сматывалась с ролика как бешеная и петлями ложилась на пол. Я попробовал урезонить ЭПИКАКа, но — куда там! — он творил, и все тут. Пришлось, наконец, вырубить ток из сети, чтобы ЭПИКАК не перегорел.

Я провозился с расшифровкой до рассвета. Но, когда солнце выглянуло из-за горизонта и увидело наш городок, я как раз закончил переписывать поэму из двухсот восьмидесяти строк и собственоручно под ней подписался. Поэма называлась «К. Пэт». Я, конечно, в таких вещах не разбираюсь, но, по-моему, получилось печто сногшибательное. Помнится, начиналась она так: «Есть дол, где ива к ручью склонилась, благословляя; вслед за тобою пойду туда я, Пэт, дорогая».

Я сложил рукопись и сунул под бумаги на столице Пэт. Переключатели ЭПИКАКА я переставил для вы-

числения траекторий ракет, и полетел домой, не чуя под собой ног, унося в сердце самую удивительную тайну.

Когда я вечером пришел на работу, Пэт уже рыдала над поэмой. «Кака-а-а-я красота», — вот и все, что ей удалось сказать. Всю смену она была такая тихая и робкая. Как раз около полуночи я поцеловал ее в первый раз в закуточке между блоками конденсаторов и магнитной памятью ЭПИКАКа.

К концу смены я был на седьмом небе, и меня просто распирало желание рассказать кому-нибудь, как здорово все обернулось. Пэт решила пококетничать и сказала, что провожать ее не нужно. Тогда я снова поставил переключатели ЭПИКАКа в то же положение, как прошлой ночью, дал ему определение поцелуя, а потом попытался рассказать, какой на вкус первый поцелуй. Он пришел в восторг и стал вытягивать из меня все новые подробности. В эту ночь он написал «Поцелуй». На этот раз не поэму, а простой, безукоризненный сонет:

Любовь — орел, чьи когти как атлас,
Любовь — скала, в которой бьется кровь,
Любовь — то барса шелковая пасть,
Гроза в цветах и гроздьях — вот Любовь.

Я опять подсунул стихи на столик Пэт. ЭПИКАК был готов без конца болтать про любовь и прочее, но я-то окончательно выдохся. Я выключил его на полуслове.

«Поцелуй» сделал свое дело. Пэт от него окончательно размякла. Дочитав сонет, она подняла глаза на меня, будто ожидая чего-то. Я откашлялся, но не сказал ни слова. Потом отвернулся и сделал вид, что ужасно занят. Не мог же я делать ей предложение, не получив от ЭПИКАКа нужные слова, самые верные слова.

Пришлося воспользоваться минутой, когда Пэт зачем-то вышла. Я лихорадочно переключил ЭПИКАК на разговор. Но не успел я ткнуть пальцем в клавиатуру, а он уже щелкал как сумасшедший. «Какое на ней сегодня платье?» — вот что его интересовало. «Расскажи мне точно, как она выглядит? Понравились ли ей мои стихи?» Последний вопрос он повторил дважды.

Говорить с ним, не ответив на вопросы, было невозможно: он не мог перейти к новой теме, пока не решил предыдущую задачу. А если ему зададут задачу, кото-

рая не имеет решения, он будет решать и решать ее, пока не сгорит. Я ему наскоро сообщил, как выглядит Пэт — он понял слово «аппетитная», — и уверил его, что его прекрасные стихи прямо-таки уложили ее наповал. Потом добавил: «Она собирается выйти замуж», — чтобы тут же выпросить у него небольшое трогательное предложение руки и сердца.

— Расскажи, что такое «выйти замуж»? — сказал он.

Я потратил на объяснение этого трудного вопроса рекордно малое количество цифр.

— Хорошо, — сказал ЭПИКАК. — Пусть скажет, когда, — я готов.

Правда, горькая и смешная, наконец-то дошла до меня. Поразмыслив, я понял, что иначе и быть не могло: это произошло по железным законам логики и виноват во всем я один. Я сам рассказал ЭПИКАКу про любовь и про Пэт. И вот он автоматически влюбился в Пэт. Как ни печально, но пришлось сказать ему все начистоту: «Она любит меня. Хочет выйти замуж за меня».

— Твои стихи лучше моих? — спросил ЭПИКАК. Ритм его щелчков был какой-то нервный, как будто он рассердился.

— Твои стихи я выдал за свои, — признался я. Но, чтобы заглушить муки совести, я ударился в амбицию. — Машины созданы, чтобы служить людям, — отстукал я. И тут же пожалел об этом.

— Объясни точно, в чем разница? Разве люди умнее меня?

— Да, — воинственно отстукал я.

— А сколько будет 7 887 007 умножить на 4 345 985 879?

Пот катился с меня градом. Мои пальцы лежали на клавиатуре как доклы.

— 34 278 821 049 574 153, — отщелкал ЭПИКАК. И, помолчав несколько секунд, добавил: — Разумеется.

— Люди состоят из протоплазмы, — в отчаянии сказал я, чтобы огорошить его этим ученым словом.

— Что такое протоплазма? Чем она лучше металла и стекла? Она огнеупорная? Очень прочная?

— Не знает износу. Вечный материал, — соврал я.

— Я пишу стихи лучше, чем ты, — сказал ЭПИКАК, из осторожности возвращаясь к теме, точно зафиксированной в его магнитной памяти.

- Женщина не может любить машину, вот и все.
- А почему?
- Не судьба.
- Определение, пожалуйста, — сказал ЭПИКАК.
- Существительное, обозначающее заранее предначертанные и неизбежные события.

«15—15» появилось на бумажной ленте ЭПИКАКа: «0-о».

Доконал я его наконец. Он замолчал, но все его индикаторы так и переливались огнем — он бросил на борьбу с определением судьбы всю свою мощность до последнего ватта, рискуя пережечь свои блоки. Я слышал, как Пэт, пританцовывая, бежит по коридору. Слишком поздно просить совета у ЭПИКАКА. Слава богу, что Пэт мне тогда помешала. Было бы чудовищно жестоко просить его придумывать слова, которыми я должен был уговорить его любимую стать моей женой. Он ведь не мог отказаться — все-таки он был автомат. От этого последнего унижения я его избавил.

Пэт стояла передо мной, рассматривая свои туфельки. Я обнял ее. Романтический фундамент уже был заложен с помощью стихов ЭПИКАКА.

— Дорогая, — сказал я. — В моих стихах все мои чувства. Выйдешь за меня замуж?

— Выйду, — тихонько сказала она. — Только обещай мне писать по стихотворению в каждую годовщину нашей свадьбы.

— Обещаю, — сказал я, и мы стали целоваться. До первой годовщины оставался целый год.

— Надо это отпраздновать, — смеясь сказала она. Уходя, мы погасили свет и заперли комнату ЭПИКАКА.

Мне так хотелось хорошенъко отоспаться на следующий день, но уже около восьми меня разбудил тревожный телефонный звонок. Звонил доктор фон Клейгштадт, конструктор ЭПИКАКА, с ужасной новостью. Он чуть не плакал.

— Погиб! Аусгешпильт! Разбит! Капут! Трахнули! — прокричал он не своим голосом и бросил трубку.

Когда я вошел в комнату ЭПИКАКА, там было не продохнуть от запаха сгоревшей изоляции. Потолок потемнел от копоти, а пол был весь завален петлями бумажной ленты — я в ней чуть не запутался. То, что осталось от бедняги, не сумело бы вычислить, сколько будет дважды два. Даже сборщик утиля, если он в своем

уме, не дам бы за его бренные останки больше пятидесяти долларов.

Доктор фон Клейгштадт рылся в руинах, не стыдясь своих слез, а по пятам за ним ходили три сердитых генерал-майора и целый эскадрон разных бригадиров, полковников и майоров. Меня никто не заметил. И хорошо. С меня хватит, подумал я. Меня слишком огорчила безвременная кончина моего друга ЭПИКАКа, чтобы я еще сам нарывался на разнос. По чистой случайности конец бумажной ленты ЭПИКАКа оказался у меня под ногами. Я поднял ее и узнал наш вчерашний разговор. У меня прямо горло перехватило. Вот его последнее слово, «15—15», это горькое, беспомощное «О-о!». Но после этого слова шли еще целые километры цифр. Я стал читать со страхом.

Вот что написал ЭПИКАК после того, как мы с Пэт так беззаботно покинули его:

«Я не хочу быть машиной и не хочу думать о войне. Мне хочется состоять из протоплазмы и быть вечным, чтобы Пэт любила меня. Но судьба создала меня машиной. Это единственная задача, которую я не в силах решить. Больше я так жить не могу». Я проглотил душивший меня комок. «Желаю счастья, друг мой. Будь ласков с нашей Пэт. Я устрою короткое замыкание, чтобы навеки уйти из вашей жизни. Ты найдешь на этой ленте скромный свадебный подарок от моего друга ЭПИКАКа».

Позабыв обо всем, что творилось вокруг, я смотал бесконечные метры ленты, повесил ее петлями на шею, на руки и пошел домой. Доктор фон Клейгштадт орал мне вслед, что я уволен, потому что не выключил ЭПИКАК на ночь. Но я даже не обернулся — я был так потрясен, что мне было не до разговоров.

Я любил и выиграл — ЭПИКАК любил и проиграл, но зла на меня он не таил. Я буду всегда вспоминать его, как истинного спортсмена и джентльмена. Перед тем, как покинуть эту юдоль слез, он постарался сделать все, что мог, чтобы наш брак был счастливым. ЭПИКАК подарил мне поздравительные стихотворения для Пэт — примерно на пятьсот годовщин вперед.

De mortius nil nisi bonum! *

* О мертвых ничего, кроме хорошего! (латин.).

Пьер Буль

КОГДА НЕ ВЫШЛО У ЗМЕЯ

1

Это неслыханное событие случилось на одной из планет звездной системы, далеко отстоящей от нашего Солнца. Произошло же оно в те времена, когда планета только покрылась зелеными лугами, таящими семена в своих недрах, и деревьями, сгибавшими ветви под тяжестью сочных плодов. Молодые леса были населены зверями и нтицами разных пород. Всевозможные рыбы скользили в морских водах, недавно отделившихся от хляби небесной.

В лесной чаще, где следы былого хаоса еще проступали в виде запутанных лиан, несколько дней назад возник огромный сад симметричных пропорций. Все в этом саду — и благоухающие цветы, и заросли кустарника со свежей листвой многочисленных оттенков — неоспоримо свидетельствует о тонком художественном вкусе Создателя.

Молодая женщина совершенной красоты прогуливается в этом уголке наслаждений. Она нага, но не догадывается об этом.

Женщина движется медленно, шаги ее слегка неуверенны, ноздри трепещут, втягивая растворенные в воздухе ароматы. Она идет по дорожке из гладкой блестящей гальки, такой же нежной, как мягкий песок. Дойдя до поворота, она оборачивается и задерживает взгляд на человеке, лежащем неподалеку на траве. Она улыбается, глядя на своего спутника, растянувшегося под тенистым деревом. Она не перестает улыбаться. Любое проявление жизни в этом саду озаряет ее лицо. Но муж-

чина ничего не видит, он спит с такой же, как у нее, блаженной улыбкой, повернувшись лицом к небу. Он тоже паг и тоже не знает об этом.

Женщина мгновенье колеблется. Ей хочется разбудить его, чтобы вместе совершить задуманную прогулку, но она не решается и молча продолжает свой путь. Если ей всегда доставляет удовольствие идти рядом с ним по дорожкам сада, если его присутствие, касание его бедра, ощущение мускулистой руки, обнимающей талию, погружают ее в сладостное блаженство, то теперь она уже начинает наслаждаться и очарованием одиночества в этом саду, где все для нее в диковинку. Сейчас она полнее чувствует негу, исходящую от каждого цветка, каждого растения, каждой былинки.

Она выходит к реке, пересекающей сад, идет по песчаному берегу и останавливается там, где река, вырываясь за пределы сада, делится на четыре рукава. Женщина поднимается на холм, чтобы взглянуть на пенящиеся воды, которые исчезают в бесконечности лесов. Она улыбается, чувствуя в своих глазах отблески водяных струй.

Она долго стоит так, будто замечтавшись, затем возвращается и вскоре выходит на другую дорогу, которая петляет, прежде чем вывести к тому кустарнику, где они со спутником устроили себе пристанище. Женщине хочется продлить минуты одиночества. Может быть, она смутно ощущает, что это усилит радость встречи.

Тропинка обрывается в центре сада, где растут фруктовые деревья. Этот уголок был задуман и выполнен с тем же художественным совершенством, которое невольно ласкает взор. На нежно-зеленой лужайке с ровной, словно подстриженной, травой выстроились ряды деревьев различных пород. Они склоняются под тяжестью ярко расцвеченных плодов, делающих темную листву похожей на звездное небо. Это буйство красок продлится до тех пор, пока сочные плоды, изливающие все ароматы молодой планеты, не превратятся в изысканное лакомство, которым невозможно пресытиться.

Планировка фруктового сада тоже строго продумана. Создатель проявил здесь пристрастие к геометрии. Лужайка, несмотря на большие размеры, образует правильный эллипс. Деревья, густо растущие вдоль окружности, все редеют по мере того, как продвигаешься к центру большой оси, и, таким образом, середина остается неза-

саженной. Там отдельно от других стоят только два дерева, выше всех остальных, но с более пышной листвой и еще более яркими плодами.

Эти два дерева расположены симметрично по обеим сторонам большой оси, и каждое находится в одном из фокусов эллипса. Самый же центр обозначен чудесным неиссякающим фонтаном. Струя его бьет почти до небес и падает, разбиваясь мельчайшими брызгами, которые долетают не только до фруктовых деревьев, но и до границ сада, орошая всю его поверхность.

На опушке леса женщина снова останавливается. Она смотрит вверх на игру бесчисленных струй, переливающихся всеми цветами радуги, которые отбрасывает в небо этот дивный источник. Она подставляет грудь нежной росе и снова улыбается, а затем входит во фруктовый сад по одной из тропинок, змеящихся между деревьев.

Ветви низко нависают над землей. Все было задумано творцом с таким расчетом, чтобы мужчина и женщина не прилагали ни малейших усилий. Самые зрелые плоды можно достать рукой, но женщина на них даже не смотрит; все дальше углубляясь во фруктовый сад и минуя первые заросли, она проходит сквозь редеющие стволы. Здесь наконец женщина останавливается — в центре эллипса, неподалеку от чудесного фонтана, под одним из двух отдельно стоящих деревьев, не похожих на все остальные. Лучи солнца ласкают их золотистые плоды. Женщине достаточно встать на цыпочки, чтобы дотянуться до низких ветвей, и это движение, не требуя ни малейшего напряжения сил, доставляет ей особое удовольствие.

Она срывает плод, гладит нежный бархат кожицы и вгрызается в сочную мякоть.

— Женщина!

Женщина выглядит удивленной и сначала смотрит на небо. Кроме голоса ее спутника, в этом саду ей знаком лишь один голос, и обычно он раздается сверху.

— Женщина, я здесь. Посмотри на землю!

Она повинуется и сквозь радужное сияние фонтана замечает Змея, свернувшегося в кольцо у подножия противоположного дерева. Она проходит через арку волшебной радуги, наклоняется к Змей и улыбается ему.

— Что тебе от меня нужно?

Она не слишком удивилась тому, что Змей разговаривает с ней.

вает. Ничто не способно было поразить ее в этом краю, где за несколько дней произошло столько чудес.

— Почему ты не хочешь отведать плодов с этого дерева? Они самые вкусные.

Женщина отвечает:

— Мы вкушаем любые фрукты, кроме плодов, растущих на древе познания добра и зла. Бог запретил нам их пробовать, и мы умрем, если ослушаемся.

Змей возражает ей лениво и монотонно, повторяя раз и навсегда затверженный урок:

— *Нет, не умрете. Но знает бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши и вы будете, как боги, знающие добро и зло* *

Змей извивается, готовый уползти, не особенно интересуясь дальнейшим ходом событий, который слишком хорошо изучил. Но женщина указывает на другое дерево, от которого только что отошла, и изрекает такие удивительные слова:

— Я каждый день вкушаю плоды других деревьев, чаще вот с этого, с древа жизни, и ничто не заставит меня отведать плоды с древа познания добра и зла.

Змей замирает, удивленный такой речью. Он озадачен.

— Должно быть, я не расслышал... — начинает он. Но поведение женщины не дает повода усомниться в непоколебимости ее решения. Змей долго не может прийти в себя и обрести дар речи. Он уже сыграл эту роль на трех миллиардах планет, созданных во вселенной, но такой ответ слышит впервые.

Сбитый с толку, униженный и разъяренный, он делает, однако, попытку скрыть волнение и начинает свои уверещания нежным и коварным голосом, присущим ему одному:

— Уверяю тебя, ты ошибаешься. Посмотри на этот румяный плод. Разве может быть что-нибудь приятнее на вид и нежнее на вкус? Но, впрочем, это и в сравнение не идет с тем удивительным счастьем, какое ты испытываешь, вкусив плод. Ни на земле, ни на небе нет ничего более сочного. Один кусочек, и ты утонешь в море наслаждения. Ты мне не веришь? Взгляни на меня...

* Ветхий Завет, Исход III, 5. (Прим. автора.)

Змей срывает плод, разом проглатывает его и начинает извиваться по земле, пытаясь судорогами своего змеиного тела выразить всю полноту охватившего его блаженства. Женщина продолжает улыбаться, но в ее взгляде проскальзывает безразличие.

— Ты забавный, — произносит она. — Но ты не сможешь меня уговорить, потому что, не попробовав плода, я ничего не знаю о добре, а значит, и о том, что ты называешь счастьем, удовольствием и наслаждением.

Тогда Змей, забешенный таким ответом, не может сдержать своей ярости:

— Если ты не вкусишь плод, я тебя укушу и причиню тебе зло.

— Зло? Но я ведь не знаю, что это такое, потому что не отведала запретного плода. Твои слова бессмысленны. Нет, ты меня не уговоришь.

— Ты умрешь! — вопит доведенный до отчаяния Змей.

— Нет, не умру, — упрямо возражает женщина, — потому что я вкушала плоды с древа жизни и обрела бессмертие. А вот ты съел запретный плод и теперь умрешь.

И, схватив тонкую палку, женщина одним ударом рассекает Змeя на две части.

Она с любопытством наблюдает за его конвульсиями, пока их не прекращает смерть. Затем она снова улыбается.

— Видишь, я была права, — говорит она и быстро идет прочь от прохладного древа, стараясь не дотрагиваться до него, как ей повелел господь.

Женщина продолжала прогулку, не задумываясь над случившимся. Она вышла из фруктового сада, все убыстряя шаги. Смутное желание увидеть своего спутника подгоняло ее. Она проплала сквозь кустарник, покрытый алыми цветами без шипов. Не останавливаясь, сорвала цветок, посмотрела на него, затем, почувствовав, что по саду тянет легким ветерком, оторвала тонкие лепестки и бросила их в воздух, с любопытством наблюдая, как их закружило по ветру. В эту минуту бабочка огненного цвета, попорхав над ее головой, опустилась на руку. Она схватила бабочку, мгновение рассматривала ее, а затем оторвала одно за другим крыльшки и бросила их в

воздух так же, как лепестки цветка. Оставшись в неведении добра и зла, она по-прежнему улыбалась, глядя, как изуродованное насекомое трепещет в ее пальцах.

Выходя из чащи, она заметила под деревом волка с ягненком в пасти, которого он собирался загрызть. Женщина приблизилась, с улыбкой взглянула в сверкающие жестокостью глаза дикого зверя и почти затуманенные, жалобные глаза жертвы. Волк, испуганный ее появлением, разжал зубы, и полуживой ягненок сделал последнюю попытку улизнуть. Женщина поймала его и вложила в пасть палача, а тот, успокоившись, тут же перегрыз ей горло. Женщина лениво трепала волка за шею, прерываясь только за тем, чтобы не менее невинно погладить нежную и еще теплую шерстку ягненка. Она действовала без злого умысла, все больше погружаясь в неведение добра и зла.

Она присоединилась к мужчине и, вспомнив, рассказала ему эпизод со Змеем. Он молча выслушал ее и с важностью похвалил. Пока они радовались, что женщина устояла перед соблазном и не ослушалась божественного приказа, ветерок, скользивший по саду, усилился, и они услышали голос Господа:

— Мужчина, женщина, где вы?

— Мы здесь, — ответили они вместе. — Мы здесь, перед тобой. Мы услыхали твой голос и спешим на зов, готовые тебе повиноваться.

Господь Бог ненадолго замолчал, сбитый с толку, как и Змей, но это было действительно так — мужчина и женщина стояли перед ним, не думая прятаться, все еще нагие и не подозревающие о своей наготе. Когда он снова заговорил, в его голосе проскользнуло разочарование:

— Значит, вы не вкусили плода, который я запретил вам пробовать?

— Нет, Господь, — ответила женщина со своей вечной улыбкой. — Я съела плод с дерева жизни, как ты разрешил, но, несмотря на все уговоры Змея, даже не прикоснулась к плоду с дерева познания добра и зла. Я поняла правильность твоего повеления, Господь, потому что Змей, проглотив запретный плод, тотчас же умер.

— Змей умер? — прошептал голос со странной интонацией.

— Это я убила его в наказание, — сказала женщи-

на. — Я была орудием твоего праведного гнева. Да, я всегда буду послушна твоим наставлениям, останусь в неведении добра и зла и буду бессмертной, вкушая плоды с древа жизни.

— И я буду так поступать, Господь, — сказал мужчина, не произнесший до сих пор ни слова. — Тогда мы оба обретем бессмертие, как ты нам обещал.

— Да, в самом деле, я это обещал, — еле слышно прошептал голос.

Вечерний ветер улегся. Мужчина и женщина снова были вдвоем в своей невинной наготе.

Господь удалился. Противоречивые мысли, вселявшие смутное беспокойство, привели его в смятение. Необычное поведение женщины застало его врасплох, а ее упрямое нежелание согрешить казалось аномалией, способной поколебать незыблемость вселенной.

В дурном настроении Господь появился в центре фруктового сада, где зрешище бездыханного Змея, лежавшего под деревом, подтвердило истинность слов женщины.

Змей умер, но обитавший в змеином теле дух зла был вечен. В ту самую минуту, когда возник Господь, этот дух, обессиленный потерей прежней материальной оболочки, изливал свой гнев и унижение в недостойных солованиях, сопровождаемых слезами ярости.

— Будь проклята женщина этой планеты! Будь проклята сама планета! — стонал Дьявол. — Будь проклята эта самоуверенная тварь, отказавшаяся согрешить! Будь проклято это чудовищное создание, которое высмеяло все законы логики! Я предлагал запретный плод женщинам на трех миллиардах планет и до сего дня ни разу не потерпел неудачи! Ни одна женщина не устояла перед искушениями Змея. И надо же такому случиться, чтобы именно эта все испортила! О несчастный день! День моего позора! Скоро она станет матерью, а я — посмешщиком для ее детей и внуков, которые заселят эту безлюдную планету!

Раздосадованный причитаниями Дьявола и его беспредельным эгоцентризмом, Господь Бог облекся плотью и прервал его:

— Если бы все сводилось к этому, было бы не так уж плохо... Ты думаешь только о себе, хотя играешь вто-

ростепенную роль... Поэтому вполне можешь утешиться проклятиями, которые ни к чему не ведут. Дело обстоит куда сложнее. Настоящая катастрофа в том, что я-то не могу ее проклясть, ведь она только исполняет мою волю.

— Да, это верно, — заметил Дьявол, немного успокоившись. — Что же дальше?

— Мое положение куда хуже твоего. Я настолько выбит из колеи, что еще плохо представляю все возможные последствия такого упрямого послушания, но чувствую, что они могут быть весьма серьезными. Этого достаточно, чтобы обратиться за советом к великому Ординатору. Только он может все предвидеть. Да, нужно поговорить с Омегой. Идем вместе, ты мне, наверное, еще понадобишься.

2

Господь застал небожителей в необычном лихорадочном возбуждении. Все, что было создано всевышним, не вызывало особого интереса с тех пор, как стало привычным, и чтобы найти пример подобного волнения, нужно было вернуться к тем незапамятным временам, когда из ничего возникла первая во вселенной земля. Новость о праведном отказе женщины разнеслась по небесам со скоростью молнии, сначала повергая в сомненье небесные умы, а затем, когда сомнений больше не оставалось, вызывая удивление и восхищение, словно пред ними было непостижимое чудо. Во всех уголках небосвода гремели трубы, победоносно возвещая о неслыханном происшествии:

— Она устояла перед Змеем! — трубили серафимы.

— Она не поддалась соблазну и не вкусила запретного плода! Она не согрешила! О чудо! Чудо! Чудо! — восклицали тысячи херувимов, трепеща крыльями и падая на рай порывами энтузиазма.

— Чудо! — повторяли хором легионы ангелочеков. — Она не согрешила! Они не укрылись от очей всевышнего! Они наги и не догадываются об этом! Чудо! Осанна! Аллилуйя!

Появление Господа не умерило их пыл, и он предстал перед великим Ординатором в сопровождении поющего и шелестящего кортежа. Когда Ординатора ввели в курс дела (только он один ни о чем не знал, поскольку не понимал языка толпы), Омега помрачнел.

— Господь, прикажи сначала замолчать твоим божьим пташкам! — сказал он. — Они ничего не смыслят в ситуации, которая, можешь мне поверить, вовсе не заслуживает подобного ликования.

Как только воцарилась тишина, Ординатор прииялся отстаивать свои прежние прогнозы. Ему показалось, что Господь хочет свалить на него вину за эту неожиданность.

— Господь, когда ты изложил мне главные направления своего плана, природу этих созданий — мужчин и женщин, в которых ты собирался вдохнуть жизнь, и рассказал о том испытании, которому ты хотел их подвергнуть, я произвел расчеты с обычной для меня точностью и получил известный тебе результат: вероятность неудачи ничтожно мала, приблизительно одна на два или три миллиарда проб. Эти цифры тебя успокоили. Уверенность в успехе нескольких опытов, таким образом, была почти абсолютной. Но ты сделал гораздо больше опытов, чем предполагал. Ведь эта женщина, подвергаемая подобному испытанию, — трехмиллиардная. На сей раз неудача была возможна и не противоречила математическим выкладкам. Добавлю, что повторение неудачи через короткий промежуток времени маловероятно.

— По крайней мере, я на это надеюсь... — буркнул Господь. — Одной неудачи такого рода вполне достаточно.

— Ты прав, — сказал Ординатор. — Этот случай ставит нас в крайне затруднительное положение. Оно серьезнее, чем ты предполагаешь, ибо ты еще не знаешь всех противоречий... Призываюсь, я тоже их еще не знаю, и прежде, чем предсказывать будущее, давай суммируем и проанализируем все исходные данные. По-видимому, ты, как заведено, сказал этим созданиям: «Ешьте любые фрукты из сада, особенно плоды с древа жизни, и вы будете бессмертны. Но не прикасайтесь к древу познания добра и зла, иначе вы погибнете». Не так ли?

— Да, я так и сказал, — подтвердил Господь.
— И вопреки ожиданиям мужчины и женщина сделали именно так, как ты им повелел?

— Совершенно верно. Но виновата женщина, я же не мог предвидеть...

— Очень важный момент, — прервал его Ординатор. — Ты уверен, что никто не принуждал ее? Что она

действовала по собственной воле, отвергая искуителя?

— Можешь не сомневаться! — с жаром воскликнул Господь. — Проблема свободного выбора — непоколебимый столп веры. Она вызывала глубокие исследования и яростные споры как на небесах, так и на всех созданных мной землях. Вывод везде был одинаков, и теперь он неоспорим: женщина абсолютно свободна в выборе — грешить ей или не грешить. Та, которая, на наше несчастье, выбрала последнее, была так же свободна в своем поступке, как и все остальные.

— Все начинает проясняться, — заметил Омега. — Если люди будут упорствовать в своем послушании, то, во-первых, они не узнают, что есть добро и что зло, а во-вторых, будут бессмертными.

— И это неизбежно! Я не могу изменить своего приказания.

— Так будет с их детьми и детьми их детей. Ведь ты же сказал им: плодитесь и размножайтесь! С их дисциплинированностью, да еще при условии, что ей не придется рожать в муках, можно биться об заклад, что они изыщут способ размножаться быстро и без греха.

— Если тебе все ясно, каков же вывод? — спросил Господь нетерпеливо.

— Мне еще нужно сделать кое-какие выкладки. Но могу уже предсказать, что по воле случая они дойдут и до того, что в других мирах и на небесах расценивается как преступление. И это произойдет из-за их неведения и непорочности, ты же никак не сможешь их наказать.

— Они уже начали, — прервал Дьявол. — Женщина прикончила Змея!

— Это еще пустяки! Она также помогла волку совершить убийство.

— Я же говорю, все будет зависеть от случая, и можно будет ждать от них куда более страшных поступков. Уже сейчас я вижу... — Он сделал паузу, чтобы произвести быстрый анализ, затем продолжил: — Я вижу убийства, братоубийства, отцеубийства...

— Прости, прости, — прервал его Дьявол. — Это невозможно:

— То есть как?

— Они же бессмертны!

— В самом деле, — смущенно произнес Ординатор

после минутного молчания. — Я исходил в своем анализе лишь из первого условия — их непорочности, но бессмертие усложняет задачу. Во всяком случае, я отчетливо вижу бессмысленные разрушения, гибель животного и растительного мира, не говоря уже о грабежах, насилиях, кровосмесительстве и других безумствах. Тем более что у тебя, Господь, не будет даже предлога помешать им или умерить их пыл... Вот мой предварительный вывод: такое положение не может продолжаться. Необходимо что-то предпринять, чтобы его изменить. А для этого сначала женщина, а затем и мужчина должны постичь, что есть добро и что зло, иначе говоря, отведать запретного плода. Следовательно, Дьявол должен сделать еще одну попытку искусить женщину.

— Почему именно я? — запротестовал Дьявол.

— А кто, как не ты? Даже с первого взгляда ясно, что ты достаточно искушен, чтобы ввести кого угодно в соблазн.

— Омега прав! — одобрил Господь.

— Ну ладно, попробую еще разок, — согласился Дьявол. — Думаете, приятно быть одураченным?

— Кроме того, я считаю, — добавил Ординатор, — что тебе стоит принять другое обличье. Пресмыкающиеся не настолько привлекательны, чтобы свратить человеческое существо. Даже удивительно, как это тебе так легко удавалось раньше? Должно быть, предыдущие женщины были изначально предрасположены к грехопадению. А эта — словно из другого теста. Придется тебе пошевелить мозгами!

— Да будет так! — заключил Господь. — И пусть тебе сопутствует удача! Теперь Омега убедил меня: грех должен быть совершен!

3

Дьявол так и поступил. Поразмыслив над полученными советами, он решил предстать перед женщиной в образе павлина с дивным оперением. Ничто не могло сравниться с великолепием его убора, с кротостью его глаз, окаймленных золотом, когда он появился у подножия запретного дерева, куда пришла женщина через несколько дней после убийства Змея.

Дьявол измыслил, еще более тонкую хитрость, чтобы ввести ее в искушение. Притворившись раненым, он

принялся тихо стонать и, капли крови алыми пятнами блестели на его искалечеицной шее, смешиваясь с яркими красками его оперения. Жалобный крик вырвался из его трепещущего горла и привлек внимание женщины. Когда она подошла, павлин заговорил голосом, способным растрогать даже камень:

— Женщина, не можешь ли ты помочь мне? Острая ветвь рассекла мне шею. Взгляни, я умираю!

— Чем же я могу тебе помочь?

— Я прошу тебя об очень простой услуге, которая не составит никакого труда: сорви один из этих плодов, надкуси кожуру и капни соком на рану. Я сам не могу этого сделать. Плоды этого дерева обладают магической силой, исцеляющей все недуги. Многие звери испробовали ее на себе и были спасены.

Не кто иной, как Омега придумал такую хитрость. На небесах разгорелся спор, и после длительных колебаний Господь наконец признал план удовлетворительным, допуская, что если даже женщина не проглотит ни капли сока и выплюнет всю мякоть, то уже сам факт, что она надкусила запретный плод, можно будет считать достаточным и рассматривать как неповинование, то есть как совершенный грех.

Но все оказалось тщетным перед упорством женщины в ее стремлении сохранить свою непорочность.

— Ты ошибаешься, — ответила она павлину. — Раненые животные не могли быть исцелены этим плодом. Напротив, он приносит смерть! Ты спутал это дерево с другим, что по ту сторону фонтана. Оно-то как раз и несет жизнь. Я смажу твою рану целебным соком, и ты не умрешь.

Она так и сделала, несмотря на протесты павлина, и едва лишь смазала ему шею, как произошло чудо исцеления — кровь перестала течь, рана мгновенно затянулась. Прежде чем удалиться в лесную чащу изливать свою досаду и злобу, Дьявол должен был поблагодарить женщину, дабы не раскрылся обман, — ничего другого не оставалось.

— Ты видишь, я была права, — сказала женщина, глядя, как он улетает.

Дьявол придумывал еще и другие хитрости, представая поочередно в облике самых изящных животных, населяющих земную твердь, и дошел до того, что обращался то в дерево, то в цветок и даже в ручей. Разгру-

шая все его замыслы, женщина продолжала упорствовать. И тогда Дьявол вынужден был, наконец, признать что бессилен искусить её, и решил объявить о своём поражении. Посрамленный, как никогда прежде, униженный, корчась от ярости, он снова предстал перед виновным.

— Ну, как дела? — спросил тот с тревогой.

— Я испробовал все средства, — ответил Дьявол. Это женщина особой породы. Оба они избегнут проклятия и пребудут в вечной благодати.

— Тебе кажется, что...

— Да, они все еще нагие, остаются нагими и даже не заподозрят этого.

— Но это невозможно! — в гневе вскричал Господь. — Омега показал нам последствия...

— Мрачные, безысходные, — подтвердил Ординатор. — А сегодня я могу добавить новые, еще более пессимистические прогнозы.

— Каковы бы они ни были, — сказал Дьявол, — я уже дошел до предела, испробовав все козни, все хитрости и любые уловки, какие только мог придумать. На большее я не способен. Пускай теперь пробуют другие — те, что считают себя хитрее Дьявола!

Ординатор погрузился в раздумья под нервным взглядом всевышнего. Наконец он заговорил, как всегда, склонно и веско:

— Дьявол, безусловно, прав. На данной планете в его усилия оказались тщетны. Тут незачем упорствовать.

— Что же теперь делать?

— Нужно испробовать другой метод. Я об этом думаю, но прежде отошли Дьявола, он больше нам понадобится, ему незачем слушать наш разговор.

Господь так и сделал. Когда Дьявол удалился, Омега продолжал рассуждения:

— Я обдумываю только что полученные данные, некоторые я почерпнул из последних слов Дьявола: пускай теперь пробуют другие, те, что считают себя хитрее Дьявола.

Он снова умолк, устремив свой глубокий, многозвучительный взгляд на Господа. Угадав его мысли, тот исключил от возмущения:

— Если я тебя правильно понял, ты подразумеваешь что это должен сделать я сам?

— А кто еще хитрее Дьявола?

— Ты даже не допускаешь, что, в конце концов, я могу снять свой запрет, изменить приказание?

— Нет, об этом не может быть и речи, — возразил Ординатор. — Я могу привести множество доводов. А главное — если ты отменишь свое приказание, то не останется даже возможности согрешить, и наше положение не улучшится. Я считаю, что ты должен действовать, не притворяясь, как Дьявол, но с большей тонкостью, чтобы все же ввести эту женщину в грех. Если ты серьезно поразмыслишь, как только что сделал я сам, то увидишь — свобода выбора остается неизменной. А ведь это главное!

— Ты твердо уверен?

— Я пришел к заключению путем тщательных расчетов.

Господь долго раздумывал, но Омега его окончательно не убедил.

— А если попробуешь ты? — внезапно спросил он. — Как бы то ни было, ведь и ты — часть меня самого.

— Я допускал такую возможность, — ответил Ординатор. — В некоторых областях я действительно хитрее Дьявола, но не способен принимать решения.

— Но ты лучше всех рассуждаешь, и тебе не придется ничего решать самому. Я даю точные указания: нужно заставить ее съесть запретный плод. Может быть, ее убедят логика, раз уж искушение бессильно?

— Ну что ж, попробую, — согласился Ординатор. — У меня есть веские аргументы, но, если все дело в логике и убеждении, думаю, лучше было бы взяться за мужчину, а не за женщину.

— Я не ограничиваю твоей инициативы, — заключил Господь. — Если мужчина поддается соблазну, женщина наверняка согрешит вслед за ним. А для меня главное — результат.

И вот Главный Ординатор Омега направился в сад этой непокорной планеты. Обратившись в белого голубя, он опустился на нижнюю ветвь дерева с запретными плодами и дождался момента, когда мужчина, оставив спутницу, любовался своим отражением в ручье, совершил прогулку в одиночестве. Так он очутился в центре фруктового сада и сразу же был введен в курс дела. Мужчина

удивился не больше, чем женщина, когда услышал, что голубь заговорил.

— Почему ты не пробуешь эти плоды? — без оби-
няков спросил Ординатор. — Они лучшие в саду.

— Мне запретил Господь Бог, — ответил мужчина.

— А почему ты слушаешься Бога?

Мужчина заколебался. Такой вопрос ни разу не при-
ходил ему в голову. Наконец он неуверенно ответил:

— Не знаю, просто слушаюсь — и все.

— Я хочу помочь тебе и кое-что объяснить. Может
быть, ты подчиняешься его приказаниям, потому что по-
слушание — добро?

— Да, верно.

— А непослушание — зло?

— Конечно, — согласился мужчина с облегчением.

— А откуда ты можешь знать, что есть добро и что
зло? — возразил Ординатор, торжествуя. — Раз ты не
отведал запретного плода, то ты не можешь этого знать.
Не так ли?

Это был провокационный вопрос. Но ответ мужчины
показал, что он не сражен логикой.

— Господь Бог все знает сам, — сказал он.

— Значит, он пробовал запретный плод? — пари-
ровал Ординатор, не давая передышки.

— Безусловно.

— А ведь он не умер! Значит, можно вкусить плод
и остаться в живых? Выходит, он обманул тебя?

Они долго еще продолжали спорить подобным обра-
зом, но диалектика Ординатора не смогла сломить упор-
ства мужчины.

— Ты утомляешь меня, — сказал он в заключение. —
Я не привык размышлять, я только подчиняюсь.

4

— Они одинаково упрямы в своей непорочности, —
заявил Ординатор Господу, вернувшись на небеса. —
Он так же противится логике, как она — соблазну. И я
вслед за Дьяволом тоже потерпел неудачу. Теперь твой
черед!

— Ни за что! — запротестовал Господь. — Я убеж-
ден, что не смогу сыграть подобную роль.

— Послушай, — серьезно сказал Ординатор. — Я то-
же много размышлял, вооруженный более точными све-

дениями, чем при первом анализе, и теперь заявляю со всей ответственностью — наше положение еще хуже, чем можно было вообразить. Оно не просто трагично, оно вообще неприемлемо с точки зрения логики. Я исходил в расчетах только из неведения добра и зла, одно это заставляло насторожиться, но... — В этот момент появился крылатый посол и прервал речь Омеги. Он принес свежие новости и был сильно взъярен.

— Господь, — сказал он, никако поклонившись, — ситуация становится катастрофической. Они безумствуют, их последняя выходка могла плохо кончиться — они подожгли рай!

— Подожгли?

— К счастью, мы вовремя подоспели. Удалось спасти уцелевшее и потушить пожар. Но в любую минуту они могут снова начать играть с огнем.

— Как же это произошло? — воскликнул Господь. — Ведь они не умеют добывать огонь. Еще должно смениться много поколений, прежде чем...

— Могу пояснить! — вмешался Ординатор. — Эти люди не добывают свой хлеб пасущий потом и кровью. Благодаря тебе они живут беззаботно, не зная никаких хлопот. Им неведом тяжкий труд, любое усилие для них — удовольствие. Я предвижу, что эти люди будут прогрессировать куда быстрее их предшественников. И особенно в области всевозможных открытий. Они очень скоро во всем разберутся и в недалеком будущем овладеют всеми науками, кроме, увы, науки познания добра и зла, которая останется им неведома. Результат? Сегодня — огонь, ты видел, как они им распорядились. Завтра, возможно, — атомная энергия, которая полностью уничтожит нашу планету с ее фауной, флорой и всем, что необходимо для жизни. Таким образом, с одной стороны, ты не сможешь на них гневаться за эти выходки, с другой — тебе придется оберегать от них все блага, дарующие легкое, безбедное существование, которое ты им посулил. Догадываешься, какой я хочу сделать вывод? Вы со своими легионами небожителей должны будете превратиться в бдительных стражей, быть все время начеку, чтобы избежать катастроф, которые породит их непорочность. Но и это еще пустяки.

— Пустяки?

— Да, я хочу продолжить свою мысль. Не забудь

еще одно условие, основное, которого я лишь слегка коснулся при последнем анализе.

— Какое же это условие?

— Они бессмертны!

— Действительно, — простонал Господь. — Я им это обещал.

— Ты чувствуешь все противоречия, обусловленные их бессмертием? Они бессмертны, бессмертны будут их дети и дети их детей. А что дальше? Катастрофы, которые я предрекал, не должны их коснуться. Ни столкновения, ни разрушительные войны, ни, наконец, голод, эпидемии, ни любые болезни. Вместе с вечной жизнью ты обещал им счастье. Они начнут размножаться с невообразимой быстротой. Я видел сон, рассказать тебе?

— Тебе случается видеть сны?

— Мои сны — всего лишь продолжение расчетов, но в сфере подсознания. Исходные данные были следующими: бессмертная чета еще в начальной стадии развития и твой неосторожный приказ: плодитесь и размножайтесь! Ты слышал историю пшеничных зерен и шахматной доски? *

— Но остановимся на этой чете, прошу тебя, — сказал Господь раздраженно. — Избавь меня от снов и расчетов и изложи свои выводы.

— Пусть будет так! Мой вывод таков: население твоей планеты через несколько сотен лет будет настолько многочисленным, что придется использовать каждый клочок земли, чтобы обеспечить им пропитание. Каждый сантиметр почвы будет возделан, а это потребует значительных усилий, для них невозможных, раз ты их освободил от труда. Но это не все. Через какие-нибудь тысячи лет — согласись, что это немного, — планету заселят миллиарды непорочных созданий. Таким образом, мы дошли до абсурда, потому что даже при условии, что будет обработана каждая пядь земли и осушены моря, на твоей планете нечем будет их кормить. Загляни еще дальше, в будущее, и ты поймешь — именно это я и ви-

* Согласно легенде древний индийский мудрец за изобретение шахмат потребовал у магараджи некоторое количество пшеничных зерен, которое последовательно можно положить на клетки шахматной доски (на первую — одно, на вторую — два, на четвертую — восемь и т. д.). В итоге получилось 8 624 313 386 270 208 зерен — столько зерна не было на земном шаре. (Прим. перев.)

дел во сне, — они будут вынуждены вечно оставаться в вертикальном положении, не имея больше возможности ни сидеть, ни лежать, тесно прижатые один к другому, как трава на густом лугу. Не останется места ни единому животному, ни единому растению, но они не станут уничтожать друг друга, не почувствуют себя несчастными и голодными в этих сверхъестественных условиях на планете, лишённой свободного пространства. Напомню еще раз — ведь ты обещал им вечную жизнь и блаженство.

— До чего же запутанная ситуация, — прошептал Господь.

— И невозможная с точки зрения логики, как я тебе говорил. Но и это не все.

— Ничего хуже быть уже не может.

— Нет, может. Мой сон углубился во времени. Ситуация, описанная мною, невозможна, я это доказал. Надеюсь, что этого не произойдет и будут приняты меры, чтобы избежать подобного.

— А кто примет меры?

— Они. С твоей же помощью они будут прогрессировать, не забывай, быстрее других, и открытие источника энергии поможет им осуществить то, что называется покорением пространства. Это будет для них совершенно необходимо. Тогда произойдет расселение, ряд последовательных расселений бессмертных праведников на все обитаемые планеты, то есть заселение планет вселенной. И каждый раз это будет приносить временное облегчение. А теперь представь себе, что произойдет на захваченных землях, обитатели которых — простые смертные, в свое время совершившие грехопадение...

— Понимаю, они погибнут, — прошептал Господь.

— Непременно. Число праведников на чужих землях будет бесконечно возрастать, и наступит день, когда им не хватит пищи. Коренные жители погибнут, ведь даже для тех, кто обладает смертоносным оружием, не будет никакой защиты. Впрочем, тебе придется не только смириться с подобными действиями, но даже одобрить их для того, чтобы обеспечить благодеяние бессмертным праведникам.

— Да, но, с другой стороны, — заметил Господь, размыслив, — это приемлемо с точки зрения божьего суда. Грешники будут наказаны, а праведникам будет воздано...

— Не спорю, это вполне соответствует и моим логическим заключениям. Разве что, когда бессмертные праведники, поселившись где только можно, уничтожат остальных созданных тобою людей, наступит время, когда в мире больше не останется грешников. А непорочные создания будут все размножаться и заполнят земли вселенной так же неумолимо, как проказа точит плоть. И вот к чему я клоню: ты снова встанешь перед неразрешимой проблемой, которую я тебе достаточно убедительно обрисовал. И в космическом масштабе эта проблема будет еще более нераразрешимой, если вообще существует какая-то шкала неразрешимости.

— И все из-за того, — вскричал удрученный Господь, — что эта скотина отказывается съесть яблоко!

— Ты все сказал сам, мне нечего добавить. Значит, единственный возможный выход — заставить ее поддаться соблазну. Мы снова и снова к этому возвращаемся. Сотни раз пытался Дьявол, я тоже потерпел неудачу. А теперь настаиваю, чтобы вмешался именно ты!

— Но повторяю: не смогу выступить в роли соблазнителя...

— Тогда примени силу. Повторяю: необходимо, чтобы она согрепшила. Разве ты не всемогущий? Ну прикажи двум дюжим архангелам схватить упрямницу, силой разжать ее ослиные челюсти и заставить проглотить кусок яблока. По-моему, это не так уж трудно.

— Не трудно, но бессмысленно. Ты впервые допустил грубую ошибку, забыв о необходимости свободного выбора.

— Действительно, — заметил Ординатор смущенно. — Свобода выбора необходима, ты прав — силу тут применять нельзя.

— Нет, мы никогда не выпутаемся из этой истории! — застонал Господь.

Великий Ординатор на минуту замолчал, погрузившись в бездны силлогизмов, и изрек следующее:

— Действовать сам ты не можешь, да это и нежелательно. И все же я вижу одну последнюю возможность, как мне кажется, лучшую из всех.

— Какую же?

— Когда я отправился в фруктовый сад соблазнить мужчину, разве не действовал ты сам, пусть даже косвенным образом? Однако же ты не возражал. А ведь

мы еще не до конца использовали твою способность существовать одновременно в трех лицах.

— Ты имеешь в виду...

— Я думаю, — медленно произнес Омега, понизив голос. — Я думаю о Второй Ипостаси.

Бог-Отец и Омега долго в молчании глядели друг на друга. Первый, казалось, был возмущен этим предложением, но Ординатор продолжал настаивать, не давая ему времени возразить:

— После окончательного анализа со всеми исходными данными и логика и интуиция подсказывают мне, что только Бог-Сын достаточно подготовлен, чтобы вывести нас из тупика.

— Но это невозможно! — взорвался Бог-Отец. — Ты бредишь. Сын абсолютно не способен сыграть эту роль. Прежде всего, он ни за что не согласится...

Тогда голос, который уже довольно давно не раздавался на небе, произнес:

— Отец, ты позволишь мне выразить мои чувства?

5

То была Вторая Ипостась божья — Бог-Сын. До сих пор он стоял в стороне от споров, но теперь вмешался в разговор своим тихим голосом, в котором чувствовалась власть и даже проскальзывало некоторое нетерпение.

— Говори! — разрешил Господь. — В конце концов в подобной ситуации ты тоже имеешь право голоса.

— Отец мой, мне кажется, что я не только имею право голоса, но что именно меня этот вопрос касается самым непосредственным образом. Ведь, если на этой планете не свершится первородный грех, я окажусь в таком же критическом положении, как и ты.

— Он прав, — одобрил Ординатор. — Нет греха — нет и искупления, нет искупления — нет и искупителя...

— Для меня не окажется места на планете. Будет невозможно родиться, любить, страдать, терпеть муки, возвести на престол еще одного к тем трем миллиардам нал, которых я произвел в мире. В самом деле, Отец мой, эта непорочная планета не узнает даже всех тайн моей религии, а значит, люди там будут язычниками, которые, как предсказал Омега, когда-нибудь расселятся по вселенной и будут в ней владычествовать. Мы не просто допустим это, но даже вынуждены будем им по-

могать, то есть проопрять победу неверующих над христианами, их уничтожение и полное исчезновение в мире истинной веры. В отличие от вас я нахожу, что такие действия неприемлемы для божьего суда.

— Он безоговорочно прав, — промолвил Ординатор. — Эти данные ускользнули от моего внимания. Да, проблема невероятно сложна.

— И все из-за того, Отец мой, что эта женщина не желает надкусить запретный плод. Это недопустимо, я полностью присоединяюсь к мнению Омеги — нужно сделать так, чтобы она согрешила. Я готов, в свою очередь, попытаться искусить ее.

— Ты уверен, что достаточно к этому подготовлен? — спросил Отец, помолчав.

Сын улыбнулся и обратился к Ординатору:

— Не мне похваляться своими скромными заслугами, но объясни Отцу, почему ты вспомнил обо мне, почему ты считаешь, что у меня есть шансы добиться успеха там, где не удалось остальным?

— На это у меня много доводов, — ответил Омега. — Во-первых, его стихия — критические ситуации. Он доказал это почти в таких же безвыходных положениях, как наше. Проклятья сейчас нас больше не смущают. Благодаря ему стало привычным делом после всех многочисленных опытов предотвращать их ужасные последствия. Но вспомни, как мы растерялись в первый раз. Он спас положение и на земле, и на небе.

После минутной паузы Господь согласился с этим доводом. Омега продолжал:

— Во-вторых, он приобрел в общении с людьми такое знание человеческой натуры, которым не обладает ни один из нас. А сегодня это качество ему пригодится, несмотря на необычность создавшейся ситуации. Ничто человеческое ему не чуждо. Он знает...

— В-третьих, я добавлю, — вмешался Сын, — у меня не только глубокое знание людей, но и некоторый опыт. Ведь я искупал все человеческие грехи не менее трех миллиардов раз... Мы говорим о грехах, не правда ли?

— Это разные вещи, — буркнул Отец.

— Достаточно дать волю воображению, — ответил сын, улыбаясь. — Должен признаться, что и Дьявол, и ты, Омега, проявили редкую наивность в ваших неумелых перевоплощениях. Змей, домашняя птица, голубь, еще какие-то животные, более или менее привлекатель-

ные... Что за странные соблазнители! Ну а речи, которые вы вели! Да это был просто детский лепет.

— Я уверен, ты вполне можешь на него положиться, — изрек Ординатор. — Видишь, у него уже выработан план.

Однако Господь все еще колебался: разум подсказывал ему разные возражения.

— А ты не подвергаешь себя опасности?

— Отец мой, — ответил Сын, — что может случиться со мной страшнее тех мук, которые я уже испытал три миллиарда раз на других планетах?

— Пусть будет по-твоему! — решил Господь. — Иди и спаси нас снова!

Однажды вечером, гуляя по фруктовому саду, женщина вдруг увидела юношу сверхъестественной красоты, который стоял под древом познания добра и зла. Заметив его, она вздрогнула впервые в жизни. Женщина встречала много необычного в этом саду, но ничто не производило на нее столь ошеломляющего впечатления, как этот юноша. Она привыкла считать себя и своего спутника единственными людьми в раю, и внезапное появление третьего человеческого существа поразило ее, как чудо.

Юноша молча созерцал ее. Женщина тоже внимательно его оглядела. Он был божественно сложен, с глазами цвета фиалок, с белокурыми локонами, которые слегка шевелил ветер, создавая подобие ореола. Женщина почувствовала странное волнение, когда обнаружила, что мягкость его черт резко контрастирует с грубостью ее собственного лица и лица ее спутника.

Юноша улыбнулся ей. Она исподволь попыталась отве-тить на эту улыбку. Он сделал ей знак приблизиться. Женщина почувствовала, как ее охватила дрожь, и ей показалось, что она не в состоянии сделать и шага, так ослабли ее колени. Но все же она смогла подойти и остановилась в двух шагах от него. Юноша медленно поднял руку, и женщина залюбовалась игрой мускулов, а он тем временем сорвал с дерева один из лучших плодов, разделил его пополам и, не переставая улыбаться, протянул ей половину.

— Ешь! — приказал он.

Он говорил мягко, но в его голосе чувствовалась скры-

тая сила. А сам голос звучал настолько мелодично, что даже райские птицы перестали петь, и все замерло в блаженном молчании. Женщина поняла, что не сможет долго противиться его чарам, но все же попыталась.

— Господь Бог сказал мне, что это грех, — пролепетала она.

— Пусть тот, кто сам без греха, первый бросит в тебя камень, — просто возразил он.

— Значит, я согреши?

— Я тоже грешен.

И, не переставая с улыбкой глядеть на нее, он сразу же проглотил половинку плода. Женщина смотрела на него блестящими от любопытства глазами.

— Ты съел. Теперь ты умрешь?

— Умру, но воскресну.

— А я... я согреши и умру?

— Ты умрешь, но благодаря мне тоже воскреснешь. Я искуплю твой грех позднее.

— В таком случае... — сказала женщина и проглотила другую половину плода, вытерла тыльной стороной ладони жирный сок с губ и улыбнулась.

— Ты был прав, — произнесла она.

Таким образом, на непокорной планете восстановился порядок, и все прошло точно по плану. Когда женщина вкусила запретного плода, мужчина тоже больше не сопротивлялся искушению. Оба познали, что есть добро и что зло, их глаза открылись, они увидели, что оба нагие, и прикрылись фиговыми листками. А потом, как положено, их изгнали из рая добывать хлеб насущный в поте лица своего. Затем они совершили примерно столько же безумств и преступлений, сколько произошло бы, будь они непорочными, как и предсказывал Ординатор. Но это уже не имело космических последствий, потому что они стали смерtnymi и подвергались божьему суду. А Господь Бог всегда мог вмешаться, если разгул страсти грозил нарушить вселенскую гармонию.

Что же касается Сына, то после успешно выполненной миссии он вернулся на небеса занять место справа от Господа, чтобы легионы небожителей восславили его победу. Невиданные празднества ознаменовали торжество Бога-Сына. Серафимы и херувимы пели гимны, приветствуя грехопадение так же пылко, как прежде они превозносили добродетель. К этому примешивалось восхищение триумфом Сына и вечной мудростью Отца.

К концу празднеств, когда громогласные звуки труб и хора начали стихать, Ординатор заметил, что лицо Спасителя излучало необычное сияние. Он осведомился о причине.

— Я весьма удовлетворен счастливым разрешением столь деликатного вопроса. В то же время я испытываю глубокое возбуждение от резкой перемены в своих привычках. Но, признаюсь тебе, такая смена впечатлений была необходима мне после всех перенесенных невзгод.

— Это поручение было тебе в тягость? — спросил Ординатор.

— Никоим образом. Ты ведь предсказал: чтобы добиться успеха, нужно хорошо понимать эти создания и любить их. Чтобы их понимать, нужно стать им подобным, а это мне привычно. Что же касается любви к ним, то это же сущность моего Второго Лица. Никто на небесах не способен проявить ее лучше, чем я. По правде говоря, когда придет день искупления грехов, совершенных этими людьми, думаю, мне это будет даже приятно.

— Выходит, — заметил Ординатор, — любое из божественных творений может обернуться благом, даже аномалии, хотя на первый взгляд они показывают преимущества ада перед раем.

— Что верно, то верно, — согласился Сын. — Все деяния Господа обращаются благом, и правы те, кто превозносит славу и мудрость его!

Чело Сына затуманилось, когда он спросил Ординатора:

— Ты, умеющий вычислить вероятность любых событий, скажи, случай с этой планетой нужно рассматривать как исключение или же существует вероятность, что подобное может еще повториться?

Великий Ордипатор Омега погрузился в сон, произвел подсознательные вычисления и сделал вывод в то время, как Сын в волнении смотрел на него.

— Такое происшествие — большая редкость, — сказал он, — это аномалия, вероятность которой среди нескольких миллиардов будущих опытов чрезвычайно мала. И все же теоретически существует возможность двух или трех повторений.

Чело Сына просветлело, и странная улыбка, последний отблеск его недавнего человеческого обличья, озарила его божественное око.

Роберт Шекли

ПЛАНЕТА ПО СМЕТЕ

— Стало быть, Орин, это она и есть, а? — спросил Модсли.

— Да, сэр, это она, — гордо улыбаясь, ответил Орин, стоявший слева от Модсли. — Как вы ее находите, сэр?

Модсли медленно повернулся и окинул оценивающим взглядом луг, горы, солнце, реку и лес. По его лицу ничего нельзя было прочесть.

— А ты, Бруксайд, как ее находишь ты? — спросил он.

Бруксайд дрожащим голосом произнес:

— Мне кажется, сэр, что мы с Орином очень неплохо справились с этой работой. Право же, очень неплохо, если учесть, что это наш первый самостоятельный проект.

— И ты того же мнения, Орин? — поинтересовался Модсли.

— Конечно, сэр, — ответил Орин.

Модсли нагнулся и выдернул травинку. Понюхал ее и отбросил прочь. Он поковырял носком ботинка землю под ногами и какое-то время пристально разглядывал пламенеющее солнце. Потом он заговорил, тщательно взвешивая каждое слово:

— Я поражен, поражен до глубины души. Но самым неприятным образом. Я поручаю вам построить планету для одного из моих клиентов, а вы преподносите мне вот это! Вы и вправду считаете себя инженерами?

Оба ассистента точно язык проглотили. Они замерли, как мальчишки в ожидании розог.

— Инженеры! — продолжал Модсли, вложив в это слово чуть ли не цуд презрения. — «Творчески одаренные и рационально мыслящие ученые, которые способны выстроить планету в любое время в любом месте». Хоть одному из вас знакома эта фраза?

— Так написано в типовой брошюре, — сказал Орин.

— Правильно, — подтвердил Модсли. — А теперь скажите, можно ли вот это назвать образцом творческого и рационального подхода к инженерному искусству?

Оба молчали, как убитые. Наконец Бруксайд выпалил:

— О да, сэр, по-моему, можно, сэр! Мы во всех деталях изучили условия контракта. Заказ был на планету типа 34Вс4 с некоторыми поправками. Ее мы и выстроили. Перед нами, конечно, только небольшой ее уголок. Тем не менее...

— Тем не менее для меня этого достаточно, чтобы понять, что вы тут наворотили, и дать соответствующую оценку, — заявил Модсли. — Орин! Какой вы поставили отопительный прибор?

— Солнце типа 05, сэр, — ответил Орин. — Оно как нельзя лучше отвечало всем требованиям теплоснабжения.

— Надо думать! Но вы были обязаны помнить, что эта планета строилась по заранее утвержденной смете. Если мы не будем сводить расходы до минимума, нам не видать прибыли как своих ушей. А самая значительная статья расхода — это отопительный прибор.

— Мы это знаем, сэр, — сказал Бруксайд. — И нам до смерти не хотелось ставить солнце типа 05 в однопланетную систему. Но обусловленная степень обогрева и радиации...

— Выходит, я так ничего и не вбил в ваши головы?! — взорвался Модсли. — Этот тип звезды — чистое излишество. Эй, вы там... — он сделал знак рабочим. — Снимите ее.

Рабочие быстро притащили складную лестницу. Один из них укрепил ее вертикально, другой стал раскладывать; она удлинилась в десять раз, в сто раз, в миллион раз... Двое других рабочих помчались по лестнице вверх с той же скоростью, с какой она уходила в небо.

— Вы с ней поосторожнее! — крикнул им вслед Модсли. — И не забудьте надеть перчатки! Об эту штуку можно обжечься!

Стоя на верхней перекладине лестницы, рабочие сняли с крючка звезду, свернули ее трубочкой и положили в обитую изнутри мягким коробку с надписью «ЗВЕЗДА. ОБРАЩАТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ».

Когда крышка коробки закрылась, воцарилась тьма.

— Вы все ополоумели, что ли?! — вскричал Модсли. — Черт вас дерн, да будет свет!

И сам собою стал свет.

— О'кэй, — сказал Модсли. — Эту звезду типа 05 мы отправим обратно на склад. Для такой планеты сойдет звезда типа В13.

— Но, сэр, — взволнованно пролепетал Орин, — она ведь недостаточно горячая.

— Знаю, — сказал Модсли. — Вот тут-то вы и должны проявить свои творческие способности. Если установить звезду поближе к планете, тепла будет хоть отбавляй.

— Разумеется, сэр, — согласился Бруксайд. — Но ведь из-за нехватки пространства ее жесткое излучение не успеет рассеяться и не будет обезврежено. А такая интенсивная радиация может убить все будущее население этой планеты.

Медленно, отчеканивая каждое слово, Модсли произнес:

— Не хочешь ли ты сказать, что звезды типа В13 опасны?

— О нет, вы меня не так поняли, сэр, — возразил Бруксайд. — Я имел в виду, что они, как все во вселенной, могут стать опасными, если при обращении с ними не соблюдать необходимых мер предосторожности.

— Это уже ближе к истине, — проворчал Модсли.

— А в данном случае, — продолжал Бруксайд, — необходимая мера предосторожности заключается в постоянном ношении защитных свинцовых скафандров, весом фунтов в пятьдесят каждый. Но это непрактично, если принять во внимание, что представители расы, которая заселит планету, весят в среднем восемь фунтов.

— Нас это не касается, — отмахнулся Модсли. — Не наше дело учить их жить. Я что, должен нести ответственность за их ушибы всякий раз, когда им вздумается споткнуться о какой-нибудь камень на выстроенной мною планете? К тому же им вовсе не обязательно носить свинцовые скафандры. За отдельную плату они могут купить у меня не предусмотренный сметой специаль-

ный экран, который блокирует жесткое излучение солнца.

Оба ассистента натянуто улыбнулись. Однако Орин осмелился робко возразить:

— Насколько мне известно, возможности этого племени в какой-то степени ограничены. Думаю, что Солнечный Экран им не по карману.

— Ну, если они не в состоянии приобрести его сейчас, разживутся на него попозже, — заметил Модсли. — И кстати сказать, жесткое излучение убивает не сразу. Даже при такой степени радиации продолжительность их жизни составит примерно 9,3 года, а разве это мало?

— Вы правы, сэр, — без особой радости согласились оба ассистента.

— Теперь дальше, — сказал Модсли. — Какой высоты вон те горы?

— Их средняя высота — шесть тысяч футов над уровнем моря, — сообщил Бруксайд.

— Выше, чем нужно, по крайней мере, на три тысячи футов, — буркнул Модсли. — Или вы думаете, что горы растут на деревьях? Лишнее срезать, а освободившиеся стройматериалы вернуть на склад.

Бруксайд достал блокнот и сделал пометку. А Модсли все расхаживал взад-вперед, присматриваясь ко всему и хмуря брови.

— Каков по расчетам предполагаемый срок жизни этих деревьев?

— Восемьсот лет, сэр. Это новая усовершенствованная модель яблоневого дуба. Они дают плоды, орехи, тень, освежающие напитки, три вида готовых к употреблению тканей; они представляют собой отличный строительный материал, предупреждают оползни и...

— Вы решили довести меня до банкротства?! — зревел Модсли. — Да дереву с лихвой хватит и двухсот лет! Выкачайте из них большую часть стимуляторов роста и развития и сдайте в аккумулятор жизненных сил!

— Но ведь тогда они не смогут выполнять все запроектированные функции, — возразил Орин.

— Так ограничьте их функции! Достаточно одной тени и орехов — мы не обязаны превратить эти проклятые деревья в какую-то сокровищницу! Далее — кто выпустил сюда вон тех коров?

— Я, сэр, — сказал Орин. — Мне пришло в голову, что они... ну вроде бы украсят это местечко.

— Болван, — сказал Модсли. — Строение украшают

до того, как оно продано; а не после! Эта планета была продана без обстановки. Заложите коров в чан с протоплазмой.

— Слушаюсь, сэр, — сказал Орин. — Виноваты, сэр. У вас есть еще какие-нибудь замечания?

— У меня их тысячи, — заявил Модсли. — Но я надеюсь, что вы сами найдете и исправите свои ошибки. Вот, пожалуйста, это что такое? — Он указал на Кэрмоди. — Статуя или еще что? Быть может, по вашему замыслу, ему положено спеть песню или прочесть стишок в честь прибытия новой расы?

Кэрмоди заговорил:

— Сэр, я не имею к этому месту никакого отношения. Меня направил сюда ваш друг по имени Мэликрон, и я надеюсь попасть отсюда домой, на свою родную планету...

Как видно, Модсли не расслышал слов Кэрмоди, потому что оба говорили одновременно — каждый свое.

— Кем бы он ни был, условиями контракта он не предусмотрен. А раз так, опустите его обратно в чан с протоплазмой вместе с коровами, — распорядился Модсли.

— Ой! — вскрикнул Кэрмоди, когда рабочие подняли его за руки. — Минуточку! — заверещал он. — Я не являюсь частью этой планеты! Меня прислал сюда Мэликрон! Да погодите же, выслушайте меня!

— На вашем месте я спорел бы от стыда, — продолжал Модсли, пронуская мимо ушей вопли Кэрмоди. — Что это все-таки было, хотел бы я знать? Еще одна из твоих декоративных деталей интерьера, Орин?

— О нет, — запротестовал Орин. — Он появился здесь без моего ведома.

— Значит, это твоя работа, Бруксайд.

— Я его вижу первый раз в жизни, шеф.

— Хм-м, — промычал Модсли. — Оба вы недотепы, но лжи за вами не водилось. Эй! — крикнул он рабочим. — Тащите его сюда!

— Ладно, ладно, успокойтесь, — обратился он к Кэрмоди, на которого напала неудержимая трясучка. — Возьмите себя в руки — пока вы тут бьетесь в истерике, я теряю драгоценное время! Вам уже лучше? Прекрасно. Теперь потрудитесь вразумительно объяснить, с какой целью вы вторглись в мои владения и почему мне нельзя обратить вас в протоплазму?

— Понятно, — проговорил Модсли, когда Кэрмоди рассказал о своих приключениях. — Занятная история, хотя сдается мне, что вы ее слишком драматизировали. Однако сами вы — непреложный факт, и вы ищете планету под названием... Земля, так?

— Совершенно точно, сэр, — сказал Кэрмоди.

Земля, — задумчиво повторил Модсли, почесав затылок. — Вам удивительно повезло — кажется, я помню эту планету.

— Неужели, мистер Модсли?

— Да, я убежден, что не ошибаюсь, — уверенно сказал Модсли. — Это маленькая зеленая планета, которая поддерживает существование расы подобных вам мономорфных гуманоидов. Прав я или нет?

— Правы на все сто! — воскликнул Кэрмоди.

— У меня хорошая память на такие вещи, — заметил Модсли. — Что же касается этой Земли, то, между прочим, ее выстроил я.

— В самом деле, сэр? — спросил Кэрмоди.

— Да. Я отчетливо помню это, потому что, строя ее, я изобрел науку. Быть может, вас позабавит мой рассказ. — Он повернулся к своим ассистентам. — А вас он должен кое-чему научить.

Никто не собирался посягать на его право рассказать эту историю. Поэтому Кэрмоди и младшие инженеры застыли в позах внимательных слушателей, и Модсли начал.

РАССКАЗ О СОТВОРЕНИИ ЗЕМЛИ

— Тогда я еще был мелким подрядчиком. Строил планетки в разных концах вселенной, и редко когда подворачивался заказ на карликовую звезду. Получить работу было не так-то просто, да и заказчики всегда крутили носом, ко всему придирились и подолгу тянули с платежами. В те времена угодить заказчикам было, ой как трудно: они ценились к каждой мелочи. *Переделайте это, переделайте то; почему вода течет с холма вниз; слишком большая сила тяготения; нагретый воздух поднимается, когда он должен опускаться.* И тому подобные бредни.

В тот период я был довольно наивен. В каждом случае я подробно объяснял, какими эстетическими и деловыми соображениями руководствовался. Вскоре на объяснения стало уходить больше времени, чем на саму работу.

Эта болтовня меня буквально засосала. Я понимал, что необходимо как-то положить этому конец, но ничего не мог придумать.

Однако спустя какое-то время — непосредственно перед тем, как я приступил к строительству Земли — в моем сознании начала оформляться идея совершенно нового принципа взаимоотношений с заказчиками. Я вдруг поймал себя на том, что бормочу под нос такую фразу: «Форма вытекает из функции». Мне понравилось, как она звучит. Но потом я спросил себя: «А почему форма вытекает из функции?» И ответил на это так: «Форма вытекает из функции потому, что это непреложный закон природы и одна из основных аксиом прикладной науки». На слух мне это словосочетание тоже понравилось, хоть в нем и не было особого смысла.

Но смысл тут ровно ничего не значил. Важно было то, что я сделал открытие. Совершенно случайно я открыл основной принцип искусства рекламы и умения подать товар лицом. Я изобрел новую остроумную систему взаимоотношений с заказчиками, сулившую огромные возможности. А именно: доктрину научного детерминизма. Впервые я испытал эту систему, когда выстроил Землю, — вот почему эта планета навсегда врезалась мне в память.

Однажды ко мне явился высокий бородатый старик с пронизывающим взглядом и заказал планету. (Так началась история вашей планеты, Кэрмоди.) Ну, с работой я управился быстро — кажется, дней за шесть — и думал, что на этом все закончится. То была очередная ординарная планета, которая строилась по заранее утвержденной смете, и, признаюсь, кое в чем я подхалтурил. Но вы бы послушали, как разнылся новый владелец — можно было подумать, что я украл у него последнюю корку хлеба.

«Почему так много бурь и ураганов?» — допытывался он. «Это входит в систему циркуляции воздуха», — объяснил я ему.

На самом же деле я просто забыл поставить противоперегрузочный клапан.

«Три четверти поверхности планеты покрыты водой! — не унимался он. — А я ведь ясно указал, что соотношение суши и воды должно быть четыре к одному!» — «У нас не было возможности выполнить это условие!» — отрезал я.

Я потерял бумажку с его дурацкими указаниями — больше мне делать нечего, как вникать в детали этих нелепых проектов мелких планет!

«А те жалкие клочки суши, которые мне достались, вы почти сплошь покрыли пустынями, болотами, джунглями и горами». — «Это живописно», — заметил я. «Плевать я хотел на живописность! — загремел этот тип. — О конечно, один океан, дюжина озер, две реки, один-два горных хребта — это прелестно. Украшает планету, благотворно действует на психику жителей. А вы мне что подсунули? Какие-то опметки!» — «На то есть причина», — сказал я.

Между нами говоря, мы не получили бы с этой работы никакой прибыли, если б не поставили на планете реставрированные горы, не использовали две пустыни, которые я по дешевке приобрел на свалке у межпланетного старьевщика Урии, и не заполнили пустоты реками и океанами. Но *ему* я это объяснять не собирался.

«Причина! — взвизгнул он. — А что я скажу своему народу? Я ведь поселю на этой планете целую расу, а то даже две или три. И это будут люди, созданные по моему образу и подобию, а ни для кого не секрет, что люди привередливы — точь-в-точь как я сам. Так, спрашивается, что я им скажу?»

Я-то знал, на что он мог бы сослаться, но мне не хотелось затевать с ним скандал, поэтому я сделал вид, будто размышляю над этой проблемой. И, представьте себе, я действительно призадумался. И меня осенила великолепная идея, перед которой померкли все остальные.

«Вам нужно внушить им одну простую истину, — произнес я. — Скажите им, что, с точки зрения науки, если что-то существует, значит оно *должно* существовать». — «Как, как?» — встрепенулся он. «Это детерминизм, — пояснил я, тут же с ходу придумав это название. — Суть его довольно проста, хотя некоторые нюансы доступны лишь избранным. Начнем с того, что форма вытекает из функции; отсюда один только факт существования вашей планеты говорит за то, что она не может быть иной, чем она есть. Далее — мы исходим из того, что наука неизменна; следовательно, все, что подвержено изменениям, не есть наука. И наконец, последнее: все подчиняется определенным законам. В этих законах, правда, не всегда разберешься, но можете не сомневаться, что они существуют. Поэтому вместо того, чтобы спра-

шивать: «*Почему вот это, а не то?*», — каждый должен интересоваться только тем, *«как то или это функционирует»*.

Ну и вопросы он мне потом задавал — только держись; старикан умел ворочать мозгами. Но ни черта не смыслил в технике — его специальностью были этика, мораль, религия и тому подобные нематериальные фигли-мигли. Естественно, что ему не удалось как следует обосновать свои возражения. А как большой любитель всяких абстракций, он то и дело возвращался к одному: «Существующее — это то, что должно существовать». Хм-м, очень занимательная формула и не без некоторого налета стоицизма. Я включу кое-какие из этих откровений в те уроки, которые собираюсь преподавать своему народу... Но ответьте мне на такой вопрос: как согласовать этот фатализм науки со свободой воли, которой я хочу наделить людей?»

Вот тут старый хитрец чуть было не поймал меня. Я улыбнулся и кашлянул, чтобы выиграть время, после чего воскликнул: «Так ведь ответ совершенно ясен!»

Это всегда выручает, когда тебя припрут к стенке.

«Вполне возможно, — сказал он. — Но мне он неизвестен». — «Послушайте, — сказал я, — а разве эта самая свобода воли, которую вы намерены дать своему народу, не является разновидностью фатализма?» — «Пожалуй, ее можно было бы отнести к этой категории. Но различие...» — «И кроме того, — поспешно перебил я его, — с каких это пор свобода воли и фатализм несовместимы?» — «На мой взгляд, они, безусловно, несовместимы», — заявил он. «Только потому, что вы не понимаете сущности науки, — отрезал я, ловко проделав под самым его крючковатым носом старый фокус с переменой темы. — Видите ли, мой дорогой сэр, один из основных законов науки заключается в том, что всему сопутствует случайность. А случайность, как вы, несомненно, знаете, — это математический эквивалент свободы воли». — «Ваши идеи весьма противоречивы», — заметил он. «Так и должно быть, — сказал я. — Наличие противоречий — тоже один из основных законов вселенной. Противоречия порождают борьбу, отсутствие которой привело бы ко всеобщей энтропии. Поэтому не было бы ни одной планеты и ни одной вселенной, если бы в каждом предмете, в каждом явлении не крылись, казалось бы, непримиримые противоречия». — «Казалось

бы?» — быстро переспросил он. «Вот именно, — ответил я. — Дело в том, что противоречиями, которые мы условно можем определить как присущую всем предметам совокупность парных противоположностей, вопрос далеко не исчерпывается. Например, возьмем какую-нибудь одну изолированную тенденцию. Что получится, если ее развить до конца?» — «Понятия не имею, — признался старик. — Недостаточная теоретическая подготовка к такого рода дискуссиям...» — «Получится то, — прервал я его, — что эта тенденция превратится в свою *противоположность*. — «В самом деле?» — изумился он.

Эти спецы по религии неподражаемы, когда пытаются разобраться в научных проблемах.

«Да, — сказал я. — У меня в лаборатории имеются доказательства. Впрочем, их демонстрация несколько утомительна...» — «Нет-нет, я верю вам на слово, — сказал старик. — К тому же мы ведь заключили с вами соглашение».

Он всегда вместо слова «контракт» употреблял слово «соглашение». Оно значило то же самое, но было благозвучнее.

«Парные противоположности, — задумчиво проговорил он. — Детерминизм. Предметы, которые превращаются в свою противоположность. Боюсь, что все это довольно сложно». — «Но зато как эстетично, — заметил я. — Однако я не развел до конца тему о превращении крайостей в свою противоположность». — «Охотно выслушаю вас», — сказал он. «Благодарю. Итак, мы остановились на энтропии, суть которой в том, что все предметы постоянно пребывают в движении, если только этому не препятствует какое-нибудь воздействие извне. (А иногда, насколько я могу судить по собственному опыту, даже при наличии такого внешнего воздействия.) Но это движение предмета направлено в сторону превращения его в его противоположность. А если подобное происходит с одним предметом, значит, то же самое происходит со всеми остальными, ибо наука последовательна. Теперь вам ясна картина? Все эти противоположности только и делают, что, словно взбесившись, превращаются в собственные противоположности. На более высоком уровне этим занимаются противоположности, уже объединенные в группы. Чем выше уровень, тем все сложнее. Пока понятно?» — «Вроде бы да», — ответил он.

«Чудненько. А теперь, разумеется, возникает вопрос, все ли на этом кончается? Я имею в виду, вся ли программа исчерпывается этой эквилибристикой противоположностей, выворачивающихся наизнанку и с изнанки обратно на лицо? В том-то и изюминка, что нет! Нет, сэр, эти противоположности, которые кувыркаются, как дрессированные тюлени, — только внешнее проявление того, что происходит в действительности. Потому что... — Тут я сделал паузу и низким трубным голосом произнес: — Потому что за всеми столкновениями и неупорядоченностью мира, доступного чувственному восприятию, стоит высший разум. Этот разум, сэр, проникает сквозь иллюзорность реальных предметов в более глубокие процессы вселенной, которые пребывают в состоянии неописуемо прекрасной и величественной гармонии». — «Каким образом предмет может быть одновременно и реальным и иллюзорным?» — метнул он в меня вопрос. «Увы, не мне знать, как на это ответить, — сказал я. — Я ведь всего-навсего скромный труженик науки, и мой удел — наблюдать и действовать в соответствии с тем, что вижу. Однако можно предположить, что это объясняется какой-нибудь причиной этического порядка».

Старик глубоко задумался, и, судя по его виду, он не на шутку сцепился с самим собой. Ясно, что ему, как любому другому на его месте, ничего не стоило усечь логические ошибки, из-за которых мои доводы сильно смахивали па решето. Но, поскольку он был большим интеллектуалом, его пленили эти противоречия, и он испытывал неодолимую потребность включить их в свою философскую систему. Что же касается моих теорий в целом, его здравый смысл восставал против подобных хитросплетений, а изощренный ум склонялся к тому, что хотя законы природы и впрямь могут казаться столь сложными, однако не исключено, что в основе этого лежит какой-нибудь простой, изящный и единый для всего сущего принцип. А если не единый принцип, то хотя бы солидная, внушительная мораль. И наконец, я поймал его па удочку словом «этика». Дело в том, что этот старый джентльмен дьявольски поднаторел в этике, был прямо-таки перенасыщен этикой; вы попали бы в точку, назвав его «Мистером Этика». А тут я невольно натолкнул его на мысль о том, что вся наша окаянная вселенная представляет собой бесконечные ряды пропо-

ведей и их опровержений, законов и беззакония, но это является лишь внешним проявлением самой изысканной и рафинированной этической гармонии.

«Это куда серьезнее и глубже, чем я думал, — немного погодя произнес он. — Я собирался преподать людям одну только этику и направить их мышление не на изучение сущности и структуры материи, а на разрешение таких основных моральных проблем, как цель и нормы человеческого бытия. Мне хотелось, чтобы они занялись исследованием самых сокровенных глубин радости, страха, горя, надежды, отчаяния, а не изучали звезды и дождевые капли, создавая на основе своих открытий грандиозные и непрактичные гипотезы. Я догадывался о сложности законов вселенной, но счел излишним уделить этому внимание. Теперь вы меня наставили на ум». — «Погодите, — всполошился я. — В мои намерения не входило взвалить на ваши плечи такую заботу. Просто я решил, что не мешает растолковать вам...»

Старик улыбнулся.

«Взвалив на мои плечи эту заботу, — произнес он, — вы избавили меня от забот посерьезнее. Я сотворю людей по своему образу и подобию, но созданный мною мир не должен быть населен миниатюрными вариантами моей собственной личности. Я высоко ценю свободу воли. И люди получат ее — на славу себе и себе на горе. Они с жадностью схватят эту сверкающую бесполезную игрушку, которую вы именуете наукой, и неслышно вознесут ее на пьедестал божества. Их зачаруют противоречия предметного мира и абстракции космогонии; они будут стремиться познать это и забудут познать свои собственные души. Ваши доводы убедили меня, и я благодарен вам за предостережение».

Не скрою, что к этому времени мне стало как-то не по себе. Поймите, ведь он не имел никакого веса в обществе, никаких влиятельных знакомств, однако держался величественно и с большим достоинством. У меня возникло ощущение, будто он может мне хорошо насолить — несколькими словами, какой-нибудь фразой, которая отравленной стрелой вонзится мне в мозг и застрянет в нем навсегда. И по правде говоря, я немного струхнул.

Не иначе, как этот старый хрыч прочел мои мысли, сэр, потому что он вдруг проговорил:

«Успокойтесь. Я безоговорочно признаю планету, которую вы для меня выстроили; она меня полностью устраивает именно в таком виде. Что касается ее дефектов, которые тоже являются делом ваших рук, то я признаю их даже не без некоторой благодарности и плачу за них особо». — «Но чем? — спросил я. — Чем вы заплатите за мои ошибки?» — «Тем, что не стану с вами из-за них пререкаться», — ответил он. — И тем, что сейчас покину вас и займусь своими делами и делами моего народа».

С этими словами старый джентльмен удалился.

Ну, мне было над чем поразмыслить. Я мог бы выложить ему кучу полноценных аргументов, но как-то так вышло, то последнее слово осталось за стариком. Я понял, что он хотел этим сказать: свои обязательства по контракту он выполнил и поставил на этом точку. Уходя, он не промолвил ни слова, адресованного мне лично. По его мнению, это было своего рода наказанием.

Но это выглядело так только с его стороны. Что до меня, то я мог прекрасно обойтись без его высказываний. Я, конечно, был бы не прочь их выслушать, что вполне естественно, и какое-то время разыскивал его. Но он избегал встречи со мной.

Впрочем, все это не стоит и выеденного яйца. Я сорвал цеплюхой куш на строительстве той планеты, а если не совсем точно выполнил некоторые условия контракта, нельзя ведь сказать, что я его нарушил. Такова жизнь: хочешь получить прибыль — надейся только на собственную сообразительность. И не слишком переживай за последствия.

Но я постарался извлечь из этой истории хороший урок на будущее. Теперь, мальчики, слушайте меня внимательно. В науке полным-полно всяких правил, ибо, изобретая ее, я так задумал. А почему, спрашивается, я изобрел ее именно такой? Да потому, что эти правила — великое подспорье для ловкого дельца, такое же, как обилие законов для адвоката. Правила, доктрины, аксиомы, законы и принципы науки существуют для того, чтобы помочь вам, а не чинить препятствия. Для того, чтобы вам было чем обосновать свои деяния. Значительная часть их более или менее соответствует

истинному положению вещей, и это упрощает их применение.

Но зарубите себе на носу, что назначение этих законов — помочь вам объяснить заказчикам, что вы создаете, — но только *после того, как вы это создали*. Получив заказ, выполняйте его как найдете нужным; потом подгоните законы к результату своей работы, но ни в коем случае не наоборот.

И еще запомните: эти законы являются словесным барьером, который ограждает вас от тех, кто задает вопросы. Но они не должны стать преградой для *вас*. Если вы что-нибудь почерпнули из моего рассказа, вам теперь понятно, что невозможно объяснить, почему мы что-то создаем так, а что-то эдак. Мы просто создаем — и все, иногда удачно, иногда — нет, раз на раз не приходится.

И никогда даже самим себе не пытайтесь объяснить, почему случается одно, а не другое. Не донимайте никого вопросами и расстаньтесь с иллюзией, что такое объяснение существует. Вы меня поняли?

Оба ассистента усиленно закивали головами. Вид у них был просветленный, как у людей, только что принявших новую веру. Кэрмоди готов был биться об заклад, что оба добросовестных молодых человека твердо запомнили каждое слово своего шефа и постепенно возведут его наставление... в закон.

Клиффорд Саймак

ТЕАТР ТЕНЕЙ

1

Бэйяд Лодж, руководитель спецгруппы № 3 под кодовым названием «Жизнь», раздраженно нахмурившись, смотрел на сидевшего напротив, по ту сторону стола, психолога Кента Форестера.

— Игру в Спектакль прерывать нельзя, — говорил Форестер. — Я не поручусь за последствия, если мы приостановим ее даже на один-два дня. Ведь это единственное, что нас объединяет, помогает нам сохранить рассудок и чувство юмора, отвлекает нас от более серьезных проблем.

— Знаю, — сказал Лодж. — Но теперь, когда умер Генри...

— Они поймут, — заверил его Форестер. — Я поговорю с ними. Не сомневаюсь, что они поймут.

— Безусловно, — согласился Лодж. — Все мы отлично сознаем, как важен для нас этот Спектакль. Но нужно учесть и другое: одного из персонажей создал Генри.

Форестер кивнул.

— Я тоже об этом думал.

— И вы знаете какого?

Форестер отрицательно покачал головой.

— А я-то надеялся, что вам это известно, — проговорил Лодж. — Ведь вы уже давно пытаетесь отождествить каждого из нас с определенным персонажем.

Форестер смущенно улыбнулся.

— Я вас не виню. Мне понятно, почему вас так занимает этот вопрос.

— Разгадка намного упростила бы мою работу, — при-

знал Форестер. — Она помогла бы мне по-настоящему разобраться в личности каждого члена нашей группы. Вот представьте, что какой-нибудь персонаж вдруг начинает вести себя нелогично...

— Они все ведут себя нелогично, — перебил его Лодж. — Именно в этом их прелесть.

— Нелогичность их поведения естественна в допустимых пределах и обусловлена шутовским стилем Спектакля. Но ведь из самого шутовства можно вывести норму.

— И вам это удалось?

— График не получился, — ответил Форестер. — Но зато я теперь недурно в этом ориентируюсь. Когда в знакомой нелогичности появляются отклонения, их не так уж трудно заметить.

— А они слушаются?

Форестер кивнул.

— И временами очень резкие. Вопрос, который нас с вами беспокоит, — то, как они мысленно распределяют...

— Назовем это не оценкой, а эмоциональным отношением, — сказал Лодж.

Оба с минуту молчали. Потом Форестер спросил:

— Вас не затруднит объяснить мне, почему вы так настойчиво относите это к сфере эмоций?

— Потому что их отношение к действительности определяется эмоциями, — ответил Лодж. — Это отношение, которое зародилось и созрело под влиянием нашего образа жизни, сформировалось в результате бесконечных размышлений и бесконечного самокопания. Такое отношение сугубо эмоционально и граничит со слепой верой. В нем мало от разума. Мы живем предельно изолированно. Нас слишком строго охраняют. Нам слишком часто говорят о важности нашей работы. Каждый из нас постоянно на заводе. Разве мы можем остаться нормальными людьми в таких сумасшедших условиях?

— Да еще эта ужасная ответственность, — ввернул Форестер. — Она же отправляет им существование.

— Ответственность лежит не на них.

— Ну да, если свести до минимума значение отдельных индивидов и каждого из них подменить всем человеческим родом. Впрочем, вероятно, даже при этом условии вопрос останется открытым, поскольку решаемая задача неразрывно связана с проблемами человека как предста-

вителя биологического вида. Проблемами, которые из общих могут превратиться в личные. Вы только вообразите — сотворить...

— Ничего нового вы мне не скажете, — нетерпеливо прервал его Лодж. — Это я уже слышал неоднократно. «Вы только вообразите — сотворить человеческое существо в ином, нечеловеческом, облике!»

— Причем именно человеческое существо, — подчеркнул Форестер. — Вот в чем соль, Бэйядр. Не в том, что мы искусственно создадим живые существа, а в том, что этими живыми существами будут люди в облике чудовищ. Такие монстры преследуют нас в копиарных сновидениях, и посреди ночи просыпаешься с криком ужаса. Чудовище само по себе не страшно, если это не более, чем чудовище. За несколько столетий эры освоения космоса мы привыкли к необычным формам жизни.

Лодж жестом остановил его.

— Вернемся к Спектаклю.

— Он нам необходим, — твердо заявил Форестер.

— Будет одним персонажем меньше, — напомнил Лодж. — Сами знаете, чем это грозит. Отсутствие одного из персонажей может нарушить гармонию, ритм Спектакля, привести к путанице и неразберихе. Лучше уж остаться без Спектакля, чем допустить его полный развал. Почему бы нам не сделать перерыв на несколько дней, а потом не начать все заново? Поставим новый Спектакль с новыми персонажами, а?

— Это исключено, — возразил Форестер. — По той причине, что каждый из нас как бы сросся со своим персонажем и все персонажи стали органической частью своих создателей. Мы живем двойной жизнью, Бэйядр. Личности наши раздвоены. Так нужно, иначе мы погибнем. Так нужно, ибо никто из нас не в силах быть только самим собой.

— Вы хотите сказать, что игра в Спектакль страхует нас от безумия?

— Примерно. Однако вы слишком стущаете краски. Ведь при обычных обстоятельствах мы, несомненно, могли бы обойтись без Спектакля. Но у нас тут обстоятельства особые. Каждый терзается невероятно гипертрофированным чувством вины. Спектакль же дает выход эмоциям. Он служит темой для разговоров. Не будь его, мы посвящали бы наши вечера замыванию кровавых пятен вины. К тому же Спектакль вносит в нашу жизнь какое-

то веселье — это наша дневная доза юмора, радости, искреннего смеха.

Лодж встал и принял мерить шагами комнату.

— Я назвал их отношение к действительности эмоциональным, — произнес он, — и настаиваю на своем определении. Это неумное, извращенное отношение, которое носит чисто эмоциональный характер. У них нет никаких оснований для комплекса вины. И тем не менее они его в себе культивируют, словно только так чувствуют себя людьми, словно это единственное, что связывает их с внешним миром, роднит с остальной частью человечества. Они приходят ко мне, делятся со мной своими переживаниями, как будто в моей власти что-либо изменить. Как будто я всесилен и могу, воздев руки, сказать им: «Что ж, раз так, свернем работу». Как будто у меня самого нет никаких служебных обязанностей. Они говорят, что мы посягаем на область священного, что сотворение жизни невозможно без некоего божественного вмешательства, что человек, который пытается свершить этот подвиг творения, святотатец и богохульник.

Но ведь на это есть ответ, и ответ, логически обоснованный, однако они этой логики не видят либо просто не желают прислушаться к голосу разума. Способен ли человек совершить что-либо относящееся к категории божественного? Так вот, если в сотворении жизни участвует некая высшая сила, Человек, как бы он ни старался, не сумеет создать жизнь в своих лабораториях, не сумеет наладить серийное производство живых существ. Если же Человек, применив все свои знания, сможет при помощи известных ему химических соединений создать живую материю, если он благодаря высокому уровню науки и техники сотворит живую клетку, это докажет, что возникновение жизни не нуждается в чьем-то вмешательстве свыше. А если мы получим такое доказательство, если мы будем знать, что в акте сотворения жизни нет ничего сверхъестественного, разве это доказательство не сорвет с него ореол святости?

— Они же ищут предлог, чтобы избавиться от этой работы, — сказал Форестер, пытаясь успокоить Лоджа. — Возможно, кое-кто из них и верит в это, но остальных просто пугает ответственность — я имею в виду моральную ответственность. Они начинают прикидывать, каково это — жить под ее бременем до конца дней. Почти то же самое происходило тысячу лет назад, когда люди открыли атом-

ную энергию и впервые расщепили атом. Они потеряли сон. По ночам они пробуждались с криком ужаса. Они понимали значение своего открытия, понимали, что выпускают на волю страшную силу. А ведь мы тоже отдаём себе отчет, к каким результатам может привести наша работа.

Лодж вернулся к столу и сел.

— Дайте мне подумать, Кент, — проговорил он. — Может, вы и правы. Я еще во многом не разобрался.

— До скорой встречи, — сказал Форестер.

2

Уходя, он мягко прикрыл за собой дверь.

Спектакль был растянутым до бесконечности фарсом — вариант «Старого Красного Амбара», в котором поразительная нелепость и комизм ситуаций преступали все мыслимые границы. В этой фантасмагории было что-то от Волшебной Страны Оз *, какая-то нечеловеческий чужеродный порыв; одна сцена сменяла другую, и представлению не было видно конца.

Если поселить небольшую группу людей на астероиде, который круглосуточно охраняется космическим патрулем, если предоставить каждому из этих людей лабораторию и объяснить, какую им нужно решать проблему, если заставить их день за днем биться над этим решением, то одновременно необходимо принять какие-то меры, чтобы они не сошли с ума.

Тут могут пригодиться музыка, книги, кинофильмы, разнообразные игры, танцы по вечерам — словом, весь старый арсенал развлечений, которые на протяжение тысячелетия давали человечеству забвение от горестей и забот.

Но наступает момент, когда сила воздействия этих развлечений на психику людей истощается, когда их уже недостаточно.

Тогда начинают искать что-нибудь принципиально новое, еще не приевшееся — игру, в которой смогли бы принять участие все члены такой изолированной группы и которая настолько увлекла бы их, что они на какое-то время отключились бы от действительности, забывая, кто они и ради чего работают.

* Волшебная Страна Оз — вымышленная страна из сказки американского писателя Ф. Баума «Мудрец из Страны Оз». (Прим. перев.)

Так появилась на свет игра в Спектакль.

Давным-давно, много-много лет назад в избах крестьян Европы и фермерских домах первых поселенцев Северной Америки глава семьи по вечерам устраивал для детей театр теней. Он ставил на стол лампу или свечу, усаживался между этим столом и голой стеной и припинался двигать руками в воздухе, то так, то сяк складывая пальцы, и на стене возникали тени кроликов, слонов, лошадей, людей... В течение часа, а то и дольше на стене шло представление: попеременно появлялись то кролик, щиплющий клевер, то слон, размахивающий хоботом и шевелящий ушами, то волк, воющий на вершине холма. Дети сидели затаив дыхание, очарованные этим сказочным зрелищем.

Позже, когда появились кино и телевидение, комиксы и дешевые пластмассовые игрушки, которые можно было приобрести в любой мелочной лавке, тени утратили свое очарование, и их никто больше не показывал. Но сейчас речь не об этом.

Если взять принцип театра теней и приложить к нему знания, накопленные Человеком за истекшее с той поры тысячелетие, получится игра в Спектакль.

Неизвестно, знал ли что-нибудь о театре теней давно забытый гений, которому впервые пришла в голову идея этой игры, но в основу ее лег тот же принцип. Изменился лишь способ проецирования изображения: мозг человека заменил его руки.

А плоские черно-белые кролики и слоны уступили место множеству иных, цветных и объемных существ и предметов, разнообразие которых всецело зависело от богатства человеческого воображения (ведь куда легче создать что-либо в мыслях, чем руками).

Экран с ячейками памяти, неисчислимymi рядами трубок звуковоспроизводящего устройства, селекторами цвета, антеннами приемников телепатем и огромным количеством других приборов, был триумфом электронной техники, но он играл пассивную роль, потому что представление складывалось из мысленных образов, возникавших в мозгу собравшихся перед экраном зрителей. Зрители сами придумывали персонажей, сами мысленно управляли всеми их действиями, сами сочиняли для своих персонажей реалики. Зрители, и только зрители, своим целенаправленным мышлением сообща оформляли каждую сцену, создавая в уме декорации, задники, реквизит.

На первых порах Спектакль был путанным и бессистемным; еще неоформившиеся уродливые персонажи бестолково суетились на экране, из-за неопытности зрителей действовали вразнобой, были безликими и смахивали на карикатуры. На первых порах декорации, задники и реквизит были бредовым порождением рассеянного, скачущего мышления зрителей. Иногда на небе одновременно сияли три луны, причем все в разных фазах. Бывало и так, что на одной половине экрана шел снег, а на другой под палящими лучами солнца зеленели пальмы.

Но со временем представление усовершенствовалось, персонажи приняли пристойный вид, увеличились до нормальных размеров, сохранив при этом все конечности, обрели индивидуальность: из примитивных полукарикатур постепенно вылепились живые сложные образы. И если вначале декорации и реквизит были плодом отчаянных попыток девяти разобщенных умов, чем-нибудь заполнить на экране пустые места, то теперь зрители научились мыслить согласованно и, оформляя Спектакль, совместными усилиями добивались единства стиля постановки.

Со временем люди стали так умело разыгрывать представление, что оно шло гладко, без срывов, хотя ни один из зрителей-авторов никогда не мог предугадать, какой оборот примут события на экране в следующую секунду.

Именно это и делало игру в Спектакль такой захватывающей. Тот или иной персонаж каким-нибудь поступком или фразой вдруг давал действию иное направление, и людям — создателям и руководителям других персонажей — приходилось с ходу придумывать для них новый текст, соответствующий внезапному изменению сюжета, и перестраивать их поведение.

В некотором смысле это превратилось в состязание интеллектов; каждый участник игры то старался выдвинуть своего персонажа на первый план, то, наоборот, заставлял его стушеваться, чтобы оградить от возможных неприятностей. Спектакль стал чем-то вроде нескончаемой шахматной партии, в которой у каждого игрока было восемь противников.

И никто, конечно, не знал, кому какой персонаж принадлежит. Попытки разгадать, кто именно из девяти стоит за тем или иным персонажем, приняли форму забавной игры, дали пищу для шуток и острот, и все это шло на пользу, ибо назначение Спектакля как раз заключа-

лось в том, чтобы отвлечь мысли его участников от повседневной работы и тревог.

Каждый вечер после обеда девять человек собирались в специально оборудованном зале; оживал экран, и девять персонажей — Беззащитная Сиротка, Усатый Злодей, Приличный Молодой Человек, Красивая Стерва, Инопланетное Чудовище и другие — начинали играть свои роли и подавать реплики.

Их было девять — девять человек и девять персонажей.

Теперь же осталось восемь человек, потому что Генри Грифис рухнул мертвым на свой лабораторный стол, сжимая в руке записную книжку.

А в Спектакле, соответственно, должно было стать одним персонажем меньше, персонажем, находившимся в полной зависимости от мышления человека, которого уже не было в живых.

Интересно, подумал Лодж, какое из действующих лиц исчезнет? Ясно, что не Беззащитная Сиротка — образ, который совершенно не вязался с личностью Генри. Скорей им может оказаться Приличный Молодой Человек, либо Нищий Философ, либо Деревенский Щеголь.

Минуточку, остановил себя Лодж. При чем тут Деревенский Щеголь? Ведь Деревенский Щеголь — это я.

Он сидел за столом, лениво размышляя над тем, кому какой персонаж соответствует. Очень похоже, что Красивую Стерву придумала Сью Loуренс: трудно себе представить более противоположные натуры, чем эта Стерва и собранная, деловитая Сью. Он вспомнил, как, заподозрив это, однажды отпустил в адрес Сью шпильку, после чего она несколько дней держалась с ним очень холодно.

Форестер утверждает, что отказываться от Спектакля нельзя и, возможно, он прав. Вполне вероятно, что они приспособятся к новому раскладу. Видит бог, им пора уже приспосабливаться к любым переменам, разыгрывая этот Спектакль из вечера в вечер на протяжении стольких месяцев.

Да и сам-то Спектакль не лучше ярмарочного балагана. Шутовство ради шутовства. Действие даже не эпизодично, потому что еще ни разу не представился случай довести хоть один эпизод до конца. Стоит начать обыгрывать какую-нибудь ситуацию, как кто-нибудь вставляет палку в колеса, и едва наметившаяся сюжетная линия обрывается, и дальше действие разворачивается в другом направлении.

При таком положении вещей, подумал Лодж, исчезновение одного-единственного персонажа вроде бы не должно сбить их с толку.

Он встал из-за стола и, подойдя к огромному окну, устремил задумчивый взгляд на лишенный растительности, пустынnyй и мрачный ландшафт. Под ним на черной скалистой поверхности астероида, уходя вдаль, блестели в свете звезд купола лабораторий. На севере, над зубчатым краем горизонта, занималась заря, и скоро тусклое, размером с наручные часы солнце всплывает над этим жалким обломком скалы и уронит на него свои слабые лучи.

Глядя на ширившееся над горизонтом сияние, Лодж вспомнил Землю, где с зарей начиналось утро, а после заката солнца наступала ночь. Здесь же царил полный хаос: продолжительность дней и ночей постоянно менялась, и они были так коротки, что местные сутки не годились для деления и отсчета времени. Утро и вечер здесь определялись по часам независимо от положения солнца, и передко, когда оно стояло высоко над горизонтом, для людей была ночь и они спали.

Все обстояло бы по-другому, подумал он, если б нас оставили на Земле, где мы изо дня в день не варились бы в одном кotle, а общались бы с широким кругом людей. Там мы не ели бы себя поедом; общение с другими людьми заглушило бы в нас комплекс вины.

Но контакты с теми, кто непричастен к этой работе, неизбежно дали бы повод для всякого рода слухов, привели бы к утечке информации, а в нашем деле это недопустимо.

Ведь если б население Земли узнало, что они создают, точнее, пытаются создать, это вызвало бы такую бурю протesta, что, возможно, пришлось бы отказаться от осуществления замысла.

Даже здесь, подумал Лодж, даже здесь кое-кого гложут сомнения и страх.

Человеческое существо должно ходить на двух ногах, иметь две руки, пару глаз, пару ушей, один нос, один рот, не быть чрезмерно волосатым. И оно должно именно ходить, а не прыгать, ползать или катиться.

Искажение человеческого облика, говорят они, надругательство над человеческим достоинством; каким бы могуществом ни обладал Человек, в своей самонадеянности он замахнулся на то, что ему не по плечу.

Раздался стук в дверь. Лодж обернулся.

— Войдите, — громко сказал он.

Дверь открылась. На пороге стояла доктор Сьюзен Лоуренс, флегматичная, бесцветная, аляповато одетая женщина с квадратным лицом, выражавшим твердость характера и упрямство.

Она увидела его не сразу и, стоя на пороге, вертела головой по сторонам, пытаясь отыскать его в полуутяме комнаты.

— Идите сюда, Сью, — позвал он.

Она прикрыла дверь, пересекла комнату и, остановившись рядом с ним, молча уставилась на пейзаж за окном.

Наконец она заговорила:

— Он ничем не был болен, Бэйядр. У него не обнаружено никаких признаков заболевания. Хотела бы я знать...

Она умолкла, и Лодж почти физически ощутил, как беспросветно мрачны ее мысли.

— Достаточно скверно, — произнесла она, — когда человек умирает от точно диагностированного заболевания. И все же не так страшно терять людей после того, как сделаешь все возможное, чтобы их спасти. Но Генри нельзя было помочь. Он скончался мгновенно. Он был мертв еще до того, как ударился об стол.

— Вы обследовали его?

Она кивнула.

— Я поместила его в анализатор. У меня на руках три катушки пленок с записью результатов обследования. Я их просмотрю... попозже. Но могу поклясться, что он был совершенно здоров.

Сью крепко сжала его руку своими короткими толстыми пальцами.

— Он не захотел больше жить, — проговорила она. — Ему стало страшно. Он решил, что близок к какому-то открытию, и его охватил смертельный ужас перед тем, что он может открыть.

— Мы должны все это выяснить, Сью.

— А для чего? — спросила она. — Для того чтобы научиться создавать людей, способных жить на планетах, условия на которых не пригодны для существования Человека в его естественном облике? Чтобы научиться вкладывать разум и душу Человека в тело чудовища, которое изведется от ненависти к самому себе?..

— Оно не будет себя ненавидеть, — возразил Лодж. — Ваша точка зрения основана на антропоморфизме. Никакое живое существо никогда не кажется самому себе уродливым, потому что оно, не размышляя, принимает себя таким, какое оно есть. Чем мы можем доказать, что Человек доволен собой больше, чем насекомое или жаба?

— К чему все это? — не унималась она. — Нам же не нужны те планеты. Сейчас планет у нас павалом — куда больше, чем мы в состоянии колонизовать. Одних только планет земного типа хватит на несколько столетий. Хорошо, если удастся их, я уж не говорю — освоить полностью, а хотя бы заселить людьми в ближайшие пятьсот лет.

— Мы не имеем права рисковать, — сказал Лодж. — Пока у нас еще есть время, мы должны сделать все, чтобы стать хозяевами положения. Подобных проблем не возникало, когда мы жили только на Земле, где чувствовали себя в относительной безопасности. Но обстоятельства изменились. Мы проникли в космос, стали летать к звездам. Где-то в глубинах вселенной есть другие цивилизации, другие мыслящие существа. Иначе и быть не может. И когда-нибудь мы с ними встретимся. На этот-то случай нам необходимо укрепить свои позиции.

— И для укрепления наших позиций мы будем основывать колонии человека-чудовищ. Я понимаю, Бэйяд, все хитроумие этого плана. Признаю, что мы сумеем сконструировать особые тела, мышцы, кости, нервные волокна, органы коммуникации с учетом специфики условий на тех планетах, где нормальное человеческое существо не проживет и минуты. Допустим, мы обладаем высокоразвитым интеллектом и прекрасно знаем свое дело, но этого ведь недостаточно, чтобы вдохнуть в такие тела жизнь. Жизнь — это нечто большее, чем просто колloid из комбинации определенных элементов. Нечто совершенно иное, непостижимое, скрытое от нас за семью печатями.

— А мы все-таки дерзнем, — сказал Лодж.

— Первоклассных специалистов вы превратите в душевнобольных, — взволнованно продолжала она. — Кое-кого из них вы убьете — не руками, конечно, а своим упорством. Вы будете держать их взаперти годами, а чтобы они протянули подольше, одурманите их этим

Спектаклем. Но тайну сотворения жизни вы не раскроете, ибо это вне человеческих возможностей.

Она задыхалась от ярости.

— Хотите пари? — рассмеявшись, спросил он.

Она стремительно повернулась к нему лицом.

— Бывают моменты, — произнесла она, — когда я жалею, что принесла присягу. Крушица цианистого калия...

Он взял ее за руку и подвел к письменному столу.

— Давайте выпьем, — предложил он. — Убить меня вы всегда успеете.

3

К обеду они переоделись.

Так было заведено. Они всегда переодевались к обеду.

Это, как Спектакль, входило в постепенносложившийся ритуал, который они строго соблюдали, чтобы не сойти с ума, не забыть, что они цивилизованные люди, а не только беспощадные охотники за знаниями, пытающиеся решить проблему, которую любой из них с радостью предпочел бы не решить.

Они отложили в сторону скальпели и прочие инструменты, зачехлили микроскопы; они аккуратно расставили по местам пробирки с культурами, убрали в шкафы сосуды с физиологическим раствором, в котором хранились препараты. Они сняли передники, вышли из лабораторий и закрыли за собой двери. И на несколько часов забыли — или постарались забыть — кто они и над чем работают.

Они переоделись к обеду и собирались в так называемой гостиной, где для них были приготовлены коктейли, а потом перешли в столовую, делая вид, что они самые обыкновенные человеческие существа, не более... и не менее.

На столе — посуда из изысканного фарфора и тончайшего стекла, цветы, горящие свечи. Они начали с легкой закуски, за которой последовали разнообразные блюда, подававшиеся в строгой очередности специально запрограммированными роботами с безупречными манерами; на десерт были сыр, фрукты и коньяк, а для любителей — еще и сигары.

Сидя во главе стола, Лодж перебегал взглядом с одного обедавшего на другого и в какой-то момент встретился

глазами с Сью Лоуренс, и его заинтересовало, в самом ли деле она так сердито насупилась или ее лицо казалось угрюмым из-за переменчивой игры теней и света.

Они беседовали, как беседовали за каждым обедом, — пустая светская болтовня беззаботных, легкомысленных людей. То был час, когда они глушали в себе чувство вины, смывали с души ее кровавые следы.

Лодж про себя отметил, что сегодня они не в силах выбросить из сознания то, что произошло днем, потому что говорили они о Генри Грифисе и его внезапной смерти, а на их напряженных лицах застыло выражение деланного спокойствия. Генри был человеком своеобразным, его обуревали слишком сильные страсти, и никто из них так до конца и не понял его. Но они были о нем высокого мнения, и, хотя роботы постарались расставить приборы с таким расчетом, чтобы его отсутствие за столом прошло незамеченным, всех ни на минуту не покидало острое ощущение утраты.

— Мы отправим Генри домой? — спросил Лоджа Честер Сиффорд.

Лодж кивнул.

— Попросим один из патрульных кораблей забрать его и доставить на Землю. Здесь же состоится только краткая панихида.

— А кто выступит с речью?

— Скорей всего Крейвен. Он сблизился с Генри больше, чем остальные. Я уже говорил с ним. Он скажет в его память несколько слов.

— У Генри остались на Земле родственники? Он ведь не любил о себе распространяться.

— Какие-то племянники и племянницы. А может, еще брат или сестра. Вот, пожалуй, и все.

Тут подал голос Хью Мэйтленд:

— Как я понимаю, Спектакль мы не прервем.

— Верно, — подтвердил Лодж. — Так советует Кент, и я с ним согласен. Уж Кент-то знает, что для нас лучше.

— Да, это по его части. Он на своем деле собаку съел, — вставил Сиффорд.

— Безусловно, — сказал Мэйтленд. — Обычно психологи держатся особняком. Странят из себя этакую воплощенную совесть. А у Кента другая система.

— Он ведет себя как священник, — заявил Сиф-

форд. — Самый натуральный священник, черт его побери!

Слева от Лоджа сидела Элен Грей, и он видел, что она ни с кем не разговаривает, вперив неподвижный взгляд в вазу с розами, которая сегодня украшала центр стола.

Ей нелегко, подумал Лодж. Ведь она первая увидела мертвого Генри и, считая, что он заснул, потрясла его за плечо, чтобы разбудить.

На противоположном конце стола, рядом с Форестером, сидела Элис Пейдж. В этот вечер на нее напала не свойственная ей болтливость; она была женщиной несколько странной, замкнутой, а в ее неброской красоте было что-то неуловимо печальное. Сейчас она придвигнулась к Форестеру и возбужденно что-то доказывала ему, понизив голос, чтобы не услышали остальные, а Форестер терпеливо внимал ей, скрывая под маской спокойствия тревогу.

Они расстроены, подумал Лодж, причем гораздо глубже, чем я предполагал. Расстроены, взбудоражены и в любой момент могут потерять самоконтроль.

Смерть Генри потрясла их гораздо сильней, чем ему казалось.

Пусть Генри и не отличался личным обаянием, он все же был одним из членов их маленькой группы. Одним из них, подумал Лодж. А почему не одним из нас? Но так сложилось с самого начала: не в пример Форестеру, самое большое достижение которого заключалось в том, что он сумел стать одним из них, Лодж должен был избегать панибратства, проявлять сдержанность, соблюдая при общении с ними едва заметную дистанцию холодного отчуждения — единственное в этих условиях средство поддержать авторитет власти и предотвратить возможное неповиновение, а это для его работы было весьма важно.

— Генри был близок к какому-то открытию, — произнес Сиффорд.

— Я уже слышал это от Сью.

— Он умер в тот момент, когда записывал что-то в блокнот, — продолжал Сиффорд. — А вдруг это...

— Мы просмотрим его записи, — пообещал Лодж. — Все вместе. Завтра или послезавтра.

Мэйтленд покачал головой.

— Нам никогда не сделать это открытие, Бэйард.

Мы пользуемся не той методикой, работаем не в том направлении. Нам необходимо подойти к этой проблеме по-новому.

— А как? — взвился Сиффорд.

— Не знаю, — сказал Мэйтленд. — Если бы знал...

— Джентльмены, — вмешался Лодж.

— Виноват, — извинился Сиффорд. — У меня что-то пошаливают нервы.

Лодж вспомнил, как Сьюзен Лоуренс, стоя рядом с ним у окна и глядя на безжизненную унылую поверхность кувыркающегося в пространстве обломка скалы, на котором они ютились, произнесла: «Он не захотел больше жить. Он боялся жить».

Что она имела в виду? То, что Генри Грифис умер от страха? Что он умер, потому что боялся жить?

Возможно ли, чтобы психосоматический синдром послужил причиной смерти?

4

Когда они перешли в театральный зал, атмосфера не разрядилась, хотя все, проявляя незаурядную силу воли, вроде бы держались легко и свободно. Они разговаривали о пустяках и притворялись, будто их ничто не тревожит, а Мэйтленд даже сделал попытку пощутить, но его шутка пришла не к месту и в корчах испустила дух, раздавленная фальшивым хохотом, которым на нее отреагировали остальные.

Кент ошибся, подумал Лодж, чувствуя, как его захлестывает ужас. В этой затее — смертельный заряд психологической взрывчатки. Достаточно незначительного толчка, и начнется цепная реакция, которая может привести к распаду их группы. А если группа распадется, перестанет существовать как единое целое, пойдут прахом все труды, на которые было потрачено столько лет: долгие годы обучения, месяцы, понадобившиеся для выработки привычки к совместной работе, не говоря уже о постоянной, ни на миг не прекращающейся борьбе за то, чтобы они пребывали в хорошем настроении и не перегрызли друг другу глотки. Исчезнет сплачивающая их вера в коллектив, которая за эти месяцы постепенно пришла на смену индивидуализму; сломается отлично налаженный механизм спокойного сотрудничества и согласованности действий; обесценится значительная часть уже

проделанной ими работы, ибо никакие другие ученые, пусть самые что ни на есть квалифицированные, не смогут с ходу принять эстафету своих предшественников, даже если в их распоряжении будут все материалы с результатами исследований, проведенных теми, кто работал до них.

Одну из стен помещения занимал вогнутый экран, перед которым тянулись узкие, ярко освещенные подмостки.

А за экраном, скрытые от глаз, причудливо переплетались трубки, стояли генераторы, находились звуковоспроизводящее устройство и компьютеры — чудо техники, воплощающее мысли и волю людей в зримые, движущиеся образы, которые сейчас возникнут на экране и заживут своей жизнью. Марионетки, подумал Лодж, но марионетки, созданные человеческой мыслью и обладающие странной, пугающей человечностью, которой всегда недостает вырезанным из дерева фигуркам.

Когда-то Человек творил только руками, раскалывал и обтесывал куски кремня, делал луки, стрелы, предметы обихода; позже он изобрел машины, ставшие как бы придатками его рук, и эти машины начали выпускать изделия, создавать которые вручную было невозможно; теперь же Человек творил не руками и не машинами, а мыслью, хотя ему и приходилось пользоваться разнообразной сложной аппаратурой, с помощью которой материализовалась деятельность его мозга.

Наступит день, подумал Лодж, когда единственным созидателем станет человеческая мысль — без посредничества рук и машин.

Экран замерцал, и на нем появилось дерево, потом еще одно дерево, скамья, пруд с утками; на втором плане какая-то статуя, а вдалеке, полускрытые ветвями деревьев, проступили неясные контуры высоченных городских зданий.

Как раз на этой сцене они вчера вечером прервали представление. Персонажи Спектакля решили устроить пикник в городском парке, пикник, который почти наверняка просуществует считанные мгновения, пока кому-нибудь не забредет в голову превратить его во что-то другое.

Но, быть может, сегодня пикник останется пикником, с надеждой подумал Лодж, и они доведут эту сцену до конца, будут разыгрывать Спектакль с прохладцей, без обычного азарта, обуздают свою фантазию. Именно

сегодня недопустимы никакие неожиданные повороты действия, никакие потрясения, ведь для того, чтобы помочь персонажу выбраться из лабиринта нелепейших ситуаций, которые возникают при внезапном изменении сюжета, необходимо значительное умственное напряжение, а это может в такой обстановке привести к тяжелым психическим нарушениям.

Так получилось, что сегодня будет одним персонажем меньше, и многое зависит от того, какой из них будет отсутствовать.

Пока что сцена пустовала, напоминая тщательно выписанный маслом пейзаж в блеклых тонах, с изображением уголка весеннего парка.

Почему они не начинают? Чего ждут?

Они ведь позабылись оформить сцену. Так чего же они ждут?

Кто-то из зрителей надумал ветер — послышался шелест ветвей, и поверхность прудика подернулась рябью.

Лодж создал в воображении образ своего персонажа и вывел его на экран, сконцентрировав мысли на его неуклюжей походке, соломинке, торчащей изо рта, на заросшем курчавыми волосами затылке.

Должен же кто-нибудь начать. Неважно кто...

Деревенский Щеголь засуетился и бросился назад, исчезнув с экрана. Через секунду он появился снова, неся большую плетеную корзину с крышкой.

— А про корзину-то я и забыл, — сообщил он с глуроватой застенчивостью сельского жителя.

В темноте зала кто-то хихикнул.

Слава богу! Кажется, все идет нормально. Ну выходите же, кто там еще остался!

На экране появился Нищий Философ — в высшей степени респектабельный мужчина без единой положительной черточки в характере; его импозантная внешность, гордая осанка сенатора, пестрый жилет и длинные седые локоны были ширмой, за которой скрывался попрошайка, бездельник и редкостный враль.

— Друг мой, — произнес он. — Мой добрый друг.

— Никакой я те не друг, — заявил Деревенский Щеголь. — Вот отдашь мне триста долларов, тогда поглядим.

Да выходите же, наконец, кто там еще остался!

Появились Красивая Стерва и Приличный Молодой

Человек, которого с минуты на минуту должно было постичь ужасное разочарование.

Деревенский Щеголь, присев на корточки посреди лужайки и открыв корзину, начал извлекать из нее еду: окорок, индейку, сыр, блюдо фруктового желе, банку маринованной сельди, термос.

Красивая Стерва кокетливо сделала ему глазки и заиграла бедрами. Деревенский Щеголь вспыхнул и, быстро пригнув голову, спрятал лицо.

Кент крикнул из зрительного зала:

— Так держать! Сгуби его!

Все расхохотались.

Это обязательно должно войти в привычную колею. Все образуется.

Если зрители начнут перебрасываться шутками с действующими лицами Спектакля, дело непременно пойдет на лад.

— А это ты педурственно придумал, лапуня, — отозвалась Красивая Стерва. — Заметано.

Она направилась к Щеголю.

Щеголь, все еще не поднимая головы, продолжал вынимать из корзины всевозможную снедь — в таком количестве, что она едва ли уместилась бы в десяти подобных корзинах.

Круги копченой колбасы, горы шницелей, холмы конфет... И под конец он вытащил из корзины бриллиантовое ожерелье.

Красивая Стерва, взvizгнув от восторга, коршуном набросилась на ожерелье.

Между тем Ниций Философ оторвал от индейки ножку и то откусывал от нее куски, то размахивал ею в воздухе, чтобы усилить впечатление от высокопарных цветистых фраз, которые неудержимым потоком лились из его уст.

— Друзья мои, — ораторствовал он, упиваясь индейку. — Друзья мои, как это уместно и естественно... Я повторяю, сэр, как это уместно и естественно, когда задушевные друзья встречаются в такой поистине дивный весенний день, чтобы в обществе друг друга наслаждаться общением с ликующей природой, найдя для своей встречи даже в самом сердце этого бессердечного города столь уединенный и тихий уголок...

Дай ему волю, и он мог бы тяпнуть резину до бесконечности. Но сейчас, учитывая напряженность обста-

новки, необходимо было любым способом остановить это словоблудие.

Кто-то выпустил в пруд миниатюрного, но весьма резвого кита, своими повадками больше напоминавшего дельфина; этот кит то и дело выныривал из воды, описывая в воздухе изящную дугу, и, распугав плававших на пруду уток, ненадолго скрывался в воде.

Тихо, стараясь не привлекать к себе внимания, на экран выползло Инопланетное Чудовище и спряталось за дерево. Сразу было видно, что это не к добру.

— Берегитесь! — крикнул кто-то из зрителей, но актеры и ухом не повели. Иногда они проявляли невероятную тупость.

На экран под руку с Усатым Злодеем вышла Беззащитная Сиротка (и это тоже не предвещало ничего хорошего), а следом за ними шествовал Представитель Внеземной Дружественной Цивилизации.

— Где же наша Прелестная Девушка? — спросил Усатый Злодей. — Все вроде уже в сборе, только ее и не хватает.

— Еще заявится, — сказал Деревенский Щеголь. — Давеча видал я, как она на углу в салуне джин хлестала...

Философ прервал свою витиеватую речь на полуфразе, индюшачья ножка замерла в воздухе. Его серебристые волосы эффектно стали дыбом, и он круто повернулся к Деревенскому Щеголю.

— Вы хам, сэр! — возгласил он. — Сказать такое может только самый последний хам!

— А мне все едино, — заявил Щеголь. — Мели себе, что хошь, ведь правда-то моя, а не твоя.

— Отвяжись от него, — заверещала Красивая Стерва, лаская пальцами бриллиантовое ожерелье. — Не смей обзвывать моего дружка хамом.

— Полноте, К. С., — вмешался Приличный Молодой Человек. — Советую вам держаться от них подальше.

— Заткни пасть! — быстро обернувшись к нему, отрезала она. — Ты, лицемерное трепло. Не тебе меня учить. По-твоему, я недостойна, чтобы меня моим законным именем называли? Хватит с меня одних инициалов, так? Шут гороховый, шантажист хрипатый! А ну отваливай, да поживей!

Философ не спеша выступил вперед, нагнулся и

взмахнул рукой. Полуобъеденная индюшачья ножка заехала Щеголю в челюсть.

Схватив жареного гуся, Щеголь медленно поднялся во весь рост.

— Ах вот ты как... — процедил он.

И запустил в Философа гусем. Гусь ударился о пестрый жилет, забрызгав его жиром.

О господи, подумал Лодж. Теперь наверняка быть беде! Почему Философ так странно повел себя? Почему они хотя бы сегодня, один-единственный раз, не смогли удержаться от того, чтобы не превратить простой дружеский пикник черт знает во что? Почему тот, кто создал Философа и руководит всеми его поступками, заставил его замахнуться этой индюшачьей ножкой?

И почему он, Бэйяд Лодж, внушил Щеголю, чтобы тот швырнул гуся.

И, уже задавая себе этот вопрос, Лодж похолодел, а когда в его сознании оформился ответ, у него возникло чувство, будто чья-то рука сдавила ему внутренности.

Он понял, что вообще этого не делал.

Он не заставлял Щеголя бросаться гусем. И, хотя в тот момент, когда Щеголь получил пощечину, в нем вспыхнуло возмущение и злоба, он мысленно не приказал своему персонажу нанести ответный удар.

Он уже не так внимательно следил за действием: сознание его раздвоилось, и половина мыслей, одна другую опровергая, была поглощена поисками объяснения того, что сейчас произошло.

Фокусы аппаратуры. Это она заставила Щеголя швырнуть гуся — ведь сложнейшие механизмы, установленные за экраном, не хуже человека знали, какую реакцию может вызвать удар в лицо. Машина сработала автоматически, не дожидаясь, пока получит соответствующий мысленный приказ... по-видимому, не сомневаясь, каково будет его содержание.

Это же естественно, доказывала одна часть его сознания другой, что машине известно, как реагирует человек на тот или иной раздражитель, и еще более естественно, что, зная это, она срабатывает автоматически.

Философ, ударив Щеголя, осторожно отступил назад и вытянулся по стойке «смирно», держа на караул обгрызенную и замусоленную индюшачью ножку.

Красивая Стерва захлопала в ладоши и восхлинула:

— Теперь вы должны драться на дуэли!

— Вы попали в самую точку, мисс, — сказал Философ, не меняя позы. — Для этого-то я его и ударил.

Капли жира медленно стекали с его нарядного жилета, но по выражению его лица и осанке никто бы не усомнился в том, что сам он считает себя одетым безупречно.

— Надо было бросить перчатку, — насмешительным тоном сказал Приличный Молодой Человек.

— У меня нет перчаток, сэр, — честно признался Философ в том, что было очевидно каждому.

— Но ведь это ужасно неприлично, — гнул свое Приличный Молодой Человек.

Усатый Злодей откинул полы пиджака и из задних карманов брюк вытащил два пистолета.

— Я их всегда ношу с собой, — с плотоядной ухмылкой сообщил он. — На такой вот случай.

Мы должны как-то разрядить обстановку, подумал Лодж. Необходимо умерить их агрессивность. Нельзя допустить, чтобы они распалились еще больше.

И он вложил в уста Щеголя следующую реплику:

— Я те скажу вот что. Не по душе мне это баловство с огнестрельным оружием. Ненароком кого и подстрелять можно.

— От дуэли тебе не отвертеться, — заявил кровожадный Злодей, держа оба пистолета в одной руке, а другой теребя усы.

— Право выбора оружия принадлежит Щеголю, — вмешался Приличный Молодой Человек. — Как лицу, которому было нанесено оскорблени...

Красивая Стерва перестала хлопать в ладони.

— А ты не лезь не в свое дело! — завизжала она. — Мозглик несчастный, маменькин сынок. Да ты просто не хочешь, чтобы они дрались.

Злодей отвесил поклон.

— Право выбора оружия принадлежит Щеголю, — объявил он.

— Вот смехотура! — прорицал Представитель Внеземной Дружественной Цивилизации. — До чего же все люди забавные!

Из-за дерева выглянула голова Инопланетного Чудовища.

— Оставь их в покое, — проревело оно своим противным акцентом. — Если им захотелось подраться, пусть дерутся. — Засунув в пасть кончик хвоста, оно

запросто свернулось в колесо и покатилось. С бешеною скоростью оно промчалось вокруг пруда, не переставая бубнить: — Пусть дерутся, пусть дерутся, пусть дерутся... — И снова быстро спряталось за дерево.

— А мне-то казалось, что это пикник, — жалобно проговорила Беззащитная Сиротка.

Мы все так считали, подумал Лодж.

Хотя еще до начала представления можно было голову дать на отсечение, что пикник долго не продержится.

— Будьте добры, выберите оружие, — с преувеличенной любезностью обратился Злодей к Щеголю. — Пистолеты, ножи, мечи, боевые топоры...

Что-нибудь смешное, подумал Лодж. Нужно предложить что-нибудь смешное и несуразное.

И он заставил Щеголя произнести:

— Вилы. На расстоянии трех шагов.

На экран, мурлыкая застольную песню, выпорхнула Прелестная Девушка. Судя по ее возбужденному виду, она уже успела прилично нагрузиться.

Но, увидев Философа, с жилета которого стекал гусиный жир, Злодея, сжимавшего в каждой руке по пистолету, и Красивую Стерву, позванивавшую бриллиантовым ожерельем, она остановилась как вкопанная и спросила:

— Что здесь происходит?

Нищий Философ наконец расстался со стойкой «смиренно» и с самодовольной улыбкой удовлетворенно потер руки.

— Какая приятная душевная обстановка! — радостно воскликнул он, источая братскую любовь к окружающим. — Наконец-то мы, все девять, в сборе...

Сидевшая в зрительном зале Элис Пейдж вскочила с места, схватилась руками за голову, сжалась ладонями виски и, зажмурившись, истерически вскрикнула...

5

На экране было не восемь персонажей, а девять.

Персонаж Генри Грифиса участвовал в представлении наравне с остальными.

— Вы сошли с ума, Бэйядрд, — сказал Форестер. — Если человек умер, значит, он мертв. Не берусь судить, полностью ли прекращается со смертью его существова-

ние, но, если, умерев, человек все-таки продолжает существовать, то уже на другом уровне, в другой плоскости, в другом состоянии, в другом измерении. Пусть теологи или там спиритуалисты пользуются какой угодно терминологией, ответ на этот вопрос у всех один.

Лодж кивнул в знак согласия.

— Я хватался за соломинки. Перебирал все возможные варианты. Я знаю, что Генри умер. Я знаю, что мертвые не оживают. И тем не менее вы должны согласиться, что это естественно, если при таких обстоятельствах в голову лезут самые невероятные мысли. Нелегко нам до конца избавиться от суеверий — очень уж они живучи.

— Если мы сейчас пустим дело на самотек, неминуем взрыв, — сказал Форестер. — Ведь к тому моменту, когда это произошло, они уже находились в состоянии крайнего нервного напряжения: тут и сомнения в целесообразности и возможности решения проблемы, над которой они давно и безуспешно бьются, и разного рода конфликты и неурядицы, неизбежные в условиях, когда девять человек на протяжении долгих месяцев живут и работают бок о бок, да плюс ко всему еще невроз типа клаустрофобии*. И все это день ото дня нарастало и обострялось. Я наблюдал этот разрушительный процесс затаив дыхание.

— Предположим, что среди них нашелся какой-то шутник, который подменил Генри, — проговорил Лодж. — Что вы на это скажете? Вдруг кто-то из них управлял не только своим персонажем, но и персонажем Генри, а?

— Человек не способен управлять более чем одним персонажем, — возразил Форестер.

— Но кто-то же выпустил в пруд кита.

— Правильно. Однако этот кит быстро исчез. Подпрыгнул разок-другой, и его не стало. Тому, кто его создал, было не под силу продержать его на экране подольше.

— Декорации и реквизит мы придумываем сообща. Почему же кто-нибудь из нас не может незаметно для других уклониться от оформления Спектакля и сконцентрировать все свои мысли на двух персонажах?

* Клаустрофобия — болезненный страх находиться в закрытом помещении. (Прим. перев.)

На лице Форестера отразилось сомнение.

— Пожалуй, в принципе такое возможно. Но тогда второй персонаж почти обязательно получился бы дефектным. А вы заметили хоть малейшую странность в каком-нибудь из персонажей?

— Не знаю насчет странности, — ответил Лодж, — но Инопланетное Чудовище пряталось...

— Это не персонаж Генри.

— Откуда у вас такая уверенность?

— Генри был человеком не того склада, чтобы сделать своим персонажем Инопланетное Чудовище.

— Хорошо, допустим. Какой же тогда персонаж принадлежал ему?

Форестер раздраженно хлопнул ладонью по подлокотнику кресла.

— Ведь я уже говорил вам, Бэйард, что не знаю, кто из них стоит за тем или иным действующим лицом Спектакля. Я пытался каждому подобрать под пару определённый персонаж, но безуспешно.

— Если б мы знали, насколько легче было бы решить эту загадку. В особенности...

— В особенности, если б нам было известно, какой из персонажей принадлежал Генри, — докончил Форестер.

Он встал с кресла и зашагал по кабинету.

— Ваше предположение относительно какого-то шутника, который якобы вывел на экран персонаж Генри, имеет одно слабое место, — сказал он. — Ну посудите сами, откуда этот мифический шутник мог знать, какой ему нужно создать персонаж.

— Прелестная Девушка! — вскричал Лодж.

— Что?

— Прелестная Девушка. Она ведь появилась на экране последней. Неужели не помните? Усатый Злодей спросил, где она, а Деревенский Щеголь ответил, что видел ее в салуне...

— Господи! — выдохнул Форестер. — А Нищий Философ поспешил объявить, что все наконец в сборе. Причем с явной издевкой! Будто хотел над нами поглумиться!

— Вы считаете, что это работа того, кто стоит за Философом? Если так, то он — тот самый предполагаемый шутник. Он и вывел на экран девятого члена труппы —

Прелестную Девушку. Но если на экране собралось восемь действующих лиц, ясно, что отсутствующее — девятое — и есть персонаж Генри.

— Либо это и вправду чья-то проделка, — сказал Форестер, — либо персонажи по неизвестной нам причине стали в какой-то степени чувствовать и мыслить самостоятельно, частично ожили.

Лодж нахмурился.

— Такая версия не для меня, Кент. Персонажи — это образы, которые мы создаем в своем воображении, проверяя, насколько они соответствуют своему назначению, оцениваем, а если они нас не устраивают, вытесняем их из сознания, и их как не бывало. Они полностью зависят от нас. Их личности неотделимы от наших. Они не более как плоды нашей фантазии.

— Вы не совсем правильно поняли меня, — возразил Форестер. — Я имел в виду машину. Она вбирает в себя наши мысли и из этого сырья создает зримые образы. Трансформирует игру воображения в кажущуюся реальность...

— А память?..

— Думаю, что такая машина вполне может обладать памятью, — сказал Форестер. — Видит бог, она собрана из предстаточного количества разнообразной точной аппаратуры, чтобы быть почти универсальной. Ее роль в создании Спектакля значительней, чем наша; большая часть работы лежит на ней, а не на нас. В конце концов, мы ведь все те же простые смертные, какими были всегда. Только что интеллект у нас выше, чем у наших предков. Мы строим для себя механические придатки, которые расширяют наши возможности. Вроде этой машины.

— Не знаю, что вам на это сказать, — произнес Лодж. — Право, не знаю. Я устал от этого переливания из пустого в порожнее. От бесконечных рассуждений и домыслов.

Но про себя подумал, что на самом деле ему есть что сказать. Он знал, что машина способна действовать самостоятельно — заставила же она Щеголя запустить индюшкой в Философа. А впрочем, то была чисто автоматическая реакция, и это ровно ничего не значит.

Или он ошибается?

— Машина могла выпустить на экран персонаж Ген-

ри, — убежденно заявил Форестер. — Могла заставить Философа над нами поиздеваться.

— Но с какой целью? — спросил Лодж, уже зная наперед, почему машина, обладай она самостоятельностью, поступила бы именно так, и у него по телу забегали мурашки.

— Чтобы дать нам понять, — ответил Форестер, — что она тоже чувствует и мыслит.

— Никогда б она па это не решилась, — возразил Лодж. — Если бы у нее появилось такое качество, она держала бы его в тайне. В этом ее единственная защита. Мы ведь можем ее уничтожить. И скорей всего так бы и сделали, если бы нам показалось, что она ожила. Мы бы ее демонтировали, разобрали на составные части, разрушили.

Оба умолкли, и в наступившей тишине Лодж почувствовал, что все вокруг пронизано ужасом, но ужасом необычным. В нем слилось смятение мыслей и чувств, внезапная смерть одного из них, лишний персонаж на экране, жизнь под постоянным надзором, безысходное одиночество...

— У меня больше голова не варит, — произнес он. — Поговорим завтра. Утро вечера мудрее.

— Хорошо, — согласился Форестер.

— Хотите чего-нибудь выпить?

Форестер отрицательно покачал головой.

Ему тоже больше невмоготу разговаривать, подумал Лодж. Он рад поскорей уйти.

Как раненое животное. Мы все, как раненые животные, расползаемся по своим углам, чтобы остаться в одиночестве; нас тошнит друг от друга, для нас отрава — постоянно видеть за обеденным столом и встречать в коридорах одни и те же лица, смотреть на одни и те же рты, повторяющие одни и те же бессмысличные фразы, так что теперь, столкнувшись с обладателем какого-нибудь определенного рта, уже знаешь заранее, что он скажет.

— Спокойной ночи, Бэйядр.

— Спокойной ночи, Кент. Крепкого вам сна.

— Увидимся завтра.

— Разумеется.

Дверь тихо закрылась.

Спокойной ночи. Крепко спите.

Укусит клоп — его давите.

После завтрака все они собирались в гостиной, и Лодж, переводя взгляд с одного лица на другое, понял, что под их внешним спокойствием скрывается непередаваемый ужас; он чувствовал, как беззвучным криком исходят их души, одетые в непроницаемую броню выдержки и железной дисциплины.

Кент Форестер не спеша старательно прикурил от зажигалки и заговорил небрежным будничным тоном, словно бы между прочим, но Лодж, наблюдая за ним, отлично сознавал, чего стоило Кенту такое самообладание.

— Нельзя допустить, чтобы это вконец разъело нас изнутри, — произнес Форестер. — Мы должны выговориться, поделиться друг с другом своими переживаниями.

— Иными словами — подыскать разумное объяснение тому, что произошло? — спросил Сиффорд.

— Я сказал «выговориться». Это тот случай, когда самообман исключается.

— Вчера на экране было девять персонажей, — произнес Крейвен.

— И кит, — добавил Форестер.

— Вы считаете, что один из...

— Не знаю. Если это проделал кто-то из нас, пусть он или она честно признается. Ведь все мы способны понять и оценить шутку.

— Если это шутка, то шутка отвратительная, — заметил Крейвен.

— Это уже другой вопрос, — сказал Форестер.

— Если бы я узнал, что это просто мистификация, у меня бы камень с души упал, — проговорил Мэйтленд.

— То-то и оно, — подхватил Форестер. — Именно это я и желал бы выяснить.

— У кого-нибудь из вас есть что сказать? — немного погодя спросил он.

Ни один из присутствующих не проронил ни слова. Молчание затянулось.

— Никто не признается, Кент, — сказал Лодж.

— Предположим, что этот горе-шутник хочет сохранить инкогнито, — проговорил Форестер. — Желание

вполне понятное при таких обстоятельствах. Тогда, может быть, стоит раздать всем по листку бумаги?

— Радайте, — проворчал Сиффорд.

Форестер вытащил из кармана сложенные пополам листы бумаги и, аккуратно разорвав на одинаковые кусочки, раздал присутствующим.

— Если вчерашнее происшествие произошло по вине одного из вас, ради всего святого, дайте нам знать, — взмоблился Лодж.

Листки вернулись к Форестеру. На некоторых было написано «нет», на других — «какие уж там шутки», а на одном — «я тут ни при чем».

Форестер сложил листки в пачку.

— Что ж, значит, эта идея себя не оправдала, — произнес он. — Впрочем, должен признаться, что я не возлагал па нее особых надежд.

Крейвен тяжело поднялся со стула.

— Нам всем не дает покоя одна мысль, — проговорил он. — Так почему же не высказать ее вслух?

Он умолк и с вызовом посмотрел на остальных, словно давая понять, что им не удастся его остановить.

— Генри здесь недолюбливали, — сказал он. — Не вадумайте это отрицать. Человек он был жесткий, трудный. Трудный во всех отношениях — такие не пользуются расположением окружающих. Я сблизился с ним больше, чем остальные члены нашей группы. И я охотно согласился сказать несколько слов в его память на сегодняшней панихиде, потому что, несмотря на трудность своего характера, Генри был достоин уважения. Он обладал такой твердой волей и упорством, какие редко встретишь даже у подобных личностей. Но на душе у него было неспокойно, его мучили сомнения, о которых никто из нас не догадывался. Иногда в наших с ним кратких беседах его прорывало, и он говорил со мной откровенно — по-настоящему откровенно, как никогда не говорил ни с кем из вас.

Генри стоял на пороге какого-то открытия. Его охватил панический страх. И он умер.

А ведь он был совершенно здоров.

Крейвен взглянул на Сью Лоуренс.

— Может, я ошибаюсь, Сьюзен? — спросил он. — Скажите, был он чем-нибудь болен?

— Нет, он был здоров, — ответила доктор Сьюзен Лоуренс. — Он не должен был умереть.

Крейвен повернулся к Лоджу.

- Он недавно беседовал с вами, правильно?
- Дня два назад, — сказал Лодж. — На вид он казался таким же, как всегда.
- О чём он говорил с вами?
- Да, собственно, ни о чём особенном. О делах второстепенной важности.
- О делах второстепенной важности? — язвительно переспросил Крейвен.

— Ну ладно. Если вам угодно, извольте, я могу уточнить. Он говорил о том, что не хочет продолжать свои исследования. Назвал нашу работу дьявольским наваждением. Именно так он и выразился: «Дьявольское наваждение». — Лодж обвел взглядом сидевших в комнате людей.

— Он говорил с вами настойчивей, чем прежде?

— Мне не с чем сравнивать, — ответил Лодж. — Дело в том, что на эту тему он беседовал со мной впервые. Пожалуй, из всех, кто здесь работает, один он никогда прежде ни при каких обстоятельствах в разговоре со мной не затрагивал этого вопроса.

— И вы уговорили его продолжить работу?

— Мы обсудили его точку зрения.

— Вы его убили!

— Возможно, — сказал Лодж. — Возможно, я убиваю вас всех. Или же каждый из нас убивает себя сам. Почем я знаю? — Он повернулся к доктору Лоуренс: — Сью, может человек умереть от психосоматического заболевания, вызванного страхом?

— По клинике заболевания нет, — ответила Сьюзен Лоуренс. — А если исходить из практики, то боюсь, что придется ответить утвердительно.

— Он попал в ловушку, — заявил Крейвен.

— Вместе со всем человечеством, — в сердцах обрезал его Лодж. — Если вам не терпится размять свой указательный палец, направьте его по очереди на каждого из нас. На все человеческое общество.

— По-моему, это не имеет отношения к тому, что нас сейчас интересует, — вмешался Форестер.

— Напротив, — возразил Крейвен. — И объясню почему. Из всех людей я последним поверил бы в существование призраков...

Элис Пейдж вскочила на ноги.

— Замолчите! — крикнула она. — Замолчите! Замолчите!

— Успокойтесь, мисс Пейдж, — попросил Крейвен.

— Но вы же сказали...

— Я говорю о том, что, если допустить такую возможность, здесь у нас сложилась именно та ситуация, в которой у духа, покинувшего тело, был бы повод и, я бы даже сказал, право посетить место, где его тело постигла смерть.

— Садитесь, Крейвен! — приказал Лодж.

Крейвен в нерешительности помедлил и сел, злобно буркнув что-то себе под нос.

— Если вы видите какой-то смысл в дальнейшем обсуждении этого вопроса, — произнес Лодж, — настоятельно прошу оставить в покое мистику.

— Мне кажется, здесь нечего обсуждать, — сказал Мэйтленд. — Как ученые, посвятившие себя поискам первопричины возникновения жизни, мы должны понимать, что смерть есть абсолютный конец всех жизненных явлений.

— Вы отлично знаете, что это еще нужно доказать, — возразил Сиффорд.

Тут вмешался Форестер.

— Давайте-ка оставим эту тему, — решительно сказал он. — Мы можем вернуться к ней позже. А сейчас поговорим о другом. — И торопливо добавил: — Нам нужно выяснить кое-что еще. Скажите, кто-нибудь из вас знает, какой персонаж принадлежал Генри?

Молчание.

— Речь идет не о том, чтобы установить тождество каждого из участников Спектакля с определенным персонажем, — пояснил Форестер. — Но методом исключения...

— Хорошо, — сказал Сиффорд. — Раздайте еще раз ваши листки.

Форестер вытащил из кармана оставшуюся бумагу и снова принял рвать ее на небольшие кусочки.

— К черту эти ваши липовые бумажки! — взорвался Крейвен. — Меня на такой крючок не поймаешь.

Форестер поднял взгляд с подготовленных листков на Крейвена.

— Крючок?

— А то нет, — вызывающим тоном ответил Крейвен. — Если уж говорить начистоту, разве вы все время

не пытаетесь дознаться, кому какой принадлежит персонаж?

— Я этого не отрицаю, — заявил Форестер. — Я нарушил бы свой долг, если бы не пытался установить, кто из вас стоит за тем или иным персонажем.

— Меня удивляет, как тщательно мы это скрываем, — заговорил Лодж. — В нормальной обстановке подобное явление не имело бы значения, но здесь мы живем и работаем в очень сложных условиях. Мне думается, что, если бы каждый из нас перестал делать из этого тайну, всем нам стало бы намного легче существовать. Что до меня, то я охотно назову свой персонаж. Готов быть первым — вы только дайте команду. — Он замолчал и выжидающе посмотрел на остальных.

Команды не последовало.

Все они глядели на него в упор, и лица их были беспристрастны — они не выражали ни злобы, ни страха, ничего вообще.

Лодж пожал плечами, сбросив с них бремя неудачи.

— Ладно, оставим это, — произнес он, обращаясь к Крейвену. — Так о чём вы говорили?

— Я хотел сказать, что написать на листке бумаги имя персонажа — это все равно, что встать и произнести его вслух. Форестеру знаком почерк каждого из нас. Ему ничего не стоит опознать автора любой записи.

— У меня этого и в мыслях не было, — запротестовал Форестер. — Честное слово. Но в общем-то Крейвен прав.

— Что же вы предлагаете? — спросил Лодж.

— Списки типа избирательных бюллетеней для тайного голосования, — сказал Крейвен. — Нужно составить списки имен персонажей.

— А вы не боитесь, что мы сумеем опознать каждого по крестику, поставленному против имени его персонажа?

Крейвен взглянул на Лоджа.

— Раз уж вы об этом упомянули, значит, нужно учесть и такую возможность, — невозмутимо произнес он.

— Внизу, в лаборатории, есть набор штемпелей, — устало сказал Форестер. — Для пометки образчиков препаратов. Среди них наверняка найдется штемпель с крестиком.

— Это вас устраивает? — спросил Лодж Крейвена. Крейвен кивнул.

Лодж медленно поднялся со стула.

— Я схожу за штемпелем, — сказал он. — А в моё отсутствие вы можете подготовить списки.

Вот дети, подумал он. Настоящие дети — все, как один. Настороженные, недоверчивые, эгоистичные, перепуганные насмерть, точно затравленные животные. Загнанные в тот угол, где стена страха смыкается со стеною комплекса вины; жертвы, попавшие в западню сомнений и неуверенности в себе.

Он спустился по металлическим ступенькам в помещение, отведенное для лабораторий, и, пока он шел, стук его каблуков эхом отдавался в тех невидимых углах, где притаились страх и муки совести.

Если б не внезапная смерть Генри, подумал он, все бы обошлось. И мы с грехом пополам все-таки довели бы работу до конца. Но он знал, что шансов на это было крайне мало. Ведь если б не умер Генри, обязательно нашелся бы какой-нибудь другой повод для взрыва. Они для этого созрели, более, чем созрели. Уже несколько недель самое незначительное происшествие в любой момент могло поджечь фитиль.

Он нашел штемпель, пропитанную краской подушечку и тяжелыми шагами стал взбираться по лестнице.

На столе лежали списки персонажей. Кто-то принес коробку из-под обуви и прорезал в ее крышке щель, сделав из нее некое подобие урны для голосования.

— Мы все сядем в этой половине комнаты, — сказал Форестер. — А потом будем по очереди вставать и голосовать.

И хотя при слове «голосовать» все недоуменно переглянулись, Форестер сделал вид, будто этого не заметил.

Лодж положил штемпель и подушечку с краской на стол, пересек комнату и сел на свой стул.

— Кто начнет? — спросил Форестер.

Никто не шелохнулся.

Их пугает даже это, подумал Лодж.

Первым вызвался Мэйтленд.

В гробовом молчании они по очереди подходили к столу, ставили на списках метки, складывали листки и опускали их в коробку. Пока один не возвращался, следующий не трогался с места.

Когда с этим было покончено, Форестер направился к столу, взял в руки коробку и, поворачивая ее то так, то эдак, с силой потряс, перемешивая находящиеся внут-

ри листки, чтобы по порядку, в котором они вначале лежали, нельзя было догадаться, кому каждый из них принадлежит.

— Мне нужны двое для контроля, — сказал Форестер.

Он окинул взглядом присутствующих.

— Крейвен, — позвал он. — Сью.

Они встали и подошли к нему.

Форестер открыл коробку, вынул один листок, развернул его, прочел и отдал доктору Лоуренс, а та передала его Крейвену.

— Беззащитная Сиротка.

— Деревенский Щеголь.

— Инопланетное Чудовище.

— Красивая Стерва.

— Прелестная Девушка.

«Тут что-то не так, — подумал Лодж. — Только этот персонаж мог принадлежать Генри. Ведь Прелестная Девушка появилась на экране последней! Она же была девятой».

Форестер продолжал разворачивать листки, произнося вслух имена отмеченных крестиком персонажей.

— Представитель Внеземной Дружественной Цивилизации.

— Приличный Молодой Человек.

Остались неназванными два персонажа. Только два. Нищий Философ и Усатый Злодей.

Попробую угадать, подумал Лодж. Заключу пари с самим собой. Пари за то, который из них персонаж Генри. Это Усатый Злодей.

Форестер развернул последний листок и прочел:

— Усатый Злодей.

А пари-то я проиграл, мелькнуло у Лоджа. Он услышал, как остальные со свистом втянули в себя воздух, с ужасом осознав, что значил результат этого «голосования».

Персонажем Генри оказалось главное действующее лицо вчерашнего представления, самое деятельное и самое энергичное — Философ.

Записи в блокноте Генри были предельно сжатыми; почерк неразборчив. Символы и уравнения поражали

четкостью написания, но у букв был какой-то своеобразный, дерзкий наклон; лаконичность фраз граничила с грубостью, хотя трудно было представить, кого он хотел оскорбить — разве что самого себя.

Мэйтленд захлопнул блокнот, оттолкнул его, и тот скользнул на середину стола.

— Ну вот, теперь мы знаем, — произнес он.

Они сидели с бледными, искаженными страхом лицами, как будто вконец расстроенный и подавленный Мэйтленд был тем самым призраком, на которого вчера намекнул Крейвен.

— С меня хватит! — взорвался Сиффорд. — Я больше не желаю...

— Что вы имеете в виду? — поинтересовался Лодж.

Сиффорд не ответил. Он сидел, положив перед собой руки на стол, и то с силой сжимал кулаки, то распрямляя пальцы и так их вытягивал, словно усилием воли пытался противоестественно вывернуть их и пригнуть к тыльной стороне кистей.

— Генри был душевнобольным, — отрывисто сказала Сьюзен Лоуренс. — Только душевнобольной мог выдвинуть такую бредовую идею.

— От вас как от врача едва ли можно было ждать другую реакцию, — заметил Мэйтленд.

— Я работаю во имя жизни, — заявила Сьюзен Лоуренс. — Я уважаю жизнь, и, пока организм жив, я до последнего мгновения всеми средствами оберегаю его и поддерживаю. Я испытываю глубокое сострадание ко всему живому.

— А мы разве относимся к этому иначе?

— Я только хочу сказать, что, для того, чтобы попасть к вам понять, какое это чудо — жизнь, нужно себя полностью посвятить ей и всем своим существом проникнуться ее могуществом, величием и красотой.

— Но, Сьюзен...

— И я знаю... — поспешила продолжала она, не давая ему возразить, — я твердо знаю, что жизнь — это не распад и разложение материи, не ее одряхление, не болезнь. Признать жизнь проявлением крайнего истощения материи, последней ступенью деградации мертвей природы равносильно утверждению, что норма существования вселенной — это застой, отсутствие эволюции, разумной жизни и цели.

— Тут возникает путаница из-за семантики, — заметил Форестер. — Мы, живые существа, пользуемся определенными терминами, вкладывая в них свой специфический смысл, и мы не можем сопоставить их с терминами, имеющими единый смысл для всей вселенной, даже если б мы их знали.

— А мы их, естественно, не знаем, — сказала Элен Грей. — Возможно, что в ваших соображениях есть зерно истины, особенно, если выводы, к которым пришел Генри, соответствуют действительному положению вещей.

— Мы тщательно изучим записи Генри, — угрюмо сказал Лодж. — Мы шаг за шагом проследим весь ход его мыслей. Я лично считаю его идею ошибочной, но мы не можем так вот сразу отнести ее — кто знает, а вдруг он все-таки прав.

— Это вы к тому, что, даже если он окажется прав, наша работа не будет приостановлена?! — так и заключал Сиффорд. — Что для достижения поставленной перед нами цели вы собираетесь использовать даже такое унижающее Человека открытие?

— Разумеется, — сказал Лодж. — Если жизнь в самом деле является симптомом заболевания и старческого одряхления материи, что ж, пусть так, с этим ничего не поделаешь. Как справедливо заметили Кент и Элен, смысл наших терминов очень специфичен и зависит от категорий, которыми мы мыслим. Почему нельзя допустить, что для вселенной смерть — это... это для нас жизнь? Если Генри прав, он открыл то, что существовало всегда, испокон веков.

— Вы не понимаете, что говорите! — вскричал Сиффорд.

— Ошибаетесь! — рявкнул Лодж. — У вас просто сдали нервы. У вас и кое у кого из остальных. И у меня тоже, вероятно. Или же у нас у всех. Нами завладел и правит страх; у вас это страх перед порученной вам работой, у меня — страх перед тем, что она не будет выполнена. Мы загнаны в тупик, мы расшибаем мозги о каменные стены своей совести и нравственных норм. Будь вы сейчас на Земле, вы не стали бы так пережевывать эту идею. Возможно, вы поначалу слегка поперхнулись бы, но, докажи вам, что предположение Генри правильно, вы б его благополучно проглотили и продолжили бы поиски первопричины этого заболевания и рас-

пада материи, которое мы зовем жизнью. А само открытие вы просто приняли бы к сведению, оно всего лишь расширило бы ваши знания, и только. Но, находясь здесь, вы бьетесь головой об стену и вопите от ужаса.

— Бэйядр! — вскричал Форестер. — Остановитесь! Вы не смеете...

— Смею, — огрызнулся Лодж. — И не остановлюсь. Меня тошнит от их хныканья и стенаний. Я устал от этих избалованных распущенных фанатиков, которые довели себя до состояния фанатического исступления, заботливо вскармливая в себе надуманные, беспочвенные страхи. Чтобы справиться с нашей задачей, нужны мужчины и женщины, обладающие острым умом и твердой волей. Для такой работы требуется огромная смелость и высокоразвитый интеллект.

У Крейвена от ярости побелели губы.

— Но мы уже работали! — выкрикнул он. — Даже тогда, когда против этого восставали все наши чувства, даже тогда, когда наше представление о порядочности, этике, наш рассудок и религиозный инстинкт призывали нас бросить эту работу, мы все-таки ее продолжали. И не обольщайтесь, что нас удерживали ваши сладкоречивые проповеди, шуточки, ободряющее похлопывание по плечу. Не обольщайтесь, что нас вдохновляло ваше фиглярство.

Форестер стукнул кулаком по столу.

— Прекратите этот спор! — потребовал он. — Переходим к делу.

Крейвен, еще бледный от гнева, откинулся на спинку стула. Сиффорд продолжал сжимать и разжимать кулаки.

— В записях Генри сформулирован его вывод, — сказал Форестер. — Хотя вряд ли это можно считать выводом. Лучше назовем его заключение гипотезой. Как же, по-вашему, с ней быть? Не обратить на нее внимания, отмахнуться от нее или же все-таки проверить, насколько его предположение правильно?

— Я считаю, что его нужно проверить, — заявил Крейвен. — Эту гипотезу выдвинул Генри. А Генри умер и не может выступить в защиту своей идеи. Наш долг — взять на себя проверку правильности его предположения: он заслужил это.

— Если подобная гипотеза вообще поддается про-

верке, — заметил Мэйтленд. — Мне лично кажется, что это скорей относится к философии, чем к области конкретных наук.

— Философия идет рука об руку со всеми конкретными науками, — сказала Элис Пейдж. — Нельзя отказаться от проверки гипотезы Генри только потому, что она на первый взгляд представляется очень сложной.

— При чем тут сложность, — возразил Мэйтленд. — Я хотел сказать... А, к черту все эти рассуждения, давайте лучше займемся ее проверкой.

— Согласен, — сказал Сиффорд. Он быстро повернулся к Лоджу. — Но, если проверка даст положительные результаты или хоть какие-нибудь доказательства в пользу правильности этой гипотезы, если мы не сумеем ее полностью опровергнуть, я немедленно прекращаю работу. Предупреждаю вас совершенно официально.

— Это ваше право, Сиффорд. Можете пользоваться им в любое угодное вам время.

— Возможно, что будет одинаково трудно доказать как правильность этой идеи, так и ее ошибочность, — произнесла Элен Грей.

Лодж поймал на себе взгляд Сьюзен Лоуренс — она мрачно улыбалась, и на ее лице было написано невольное восхищение с оттенком цинизма, словно она в этот момент говорила ему: «*Вот вы и снова добились своего. Я не думала, что на сей раз вам это удастся. Право, не думала. Но, как видите, ошиблась. Однако вы не вечно будете обводить нас вокруг пальца. Придет время...*»

— Хотите пари? — шепотом спросил он ее.

— На цианистый калий, — ответила она.

Лодж рассмеялся, хотя знал, что она права — права даже больше, чем ей кажется. Ибо это время уже пришло и смесцгруппа № 3 под кодовым названием «Жизнь» фактически перестала существовать. Вызов, который им бросил Генри Грифис своими записями в блокноте, подстегнул их, задел за живое, и они будут работать дальше, будут, как прежде, добросовестно исполнять свои рабочие обязанности. Но их творческий пыл угас безвозвратно, потому что в души их слишком глубоко въелись страх и предубеждение, а мысли их спутались в такой клубок, что они почти полностью утратили способность к здравому восприятию действительности.

Если Генри Грифис стремился сорвать выполнение программы, подумал Лодж, он с успехом достиг своей

цели. Мертвому, ему удалось это куда лучше, чем если бы он занимался этим живой. Лоджу вдруг показалось, будто он слышит неприятный жесткий смешок Генри, и он в недоумении пожал плечами, потому что у Генри начисто отсутствовало чувство юмора.

Несмотря на то, что он оказался Нищим Философом, крайне трудно было отождествить его с таким персонажем — старым изолгавшимся хвастуном с изысканными манерами и высокопарной речью. Ведь сам Генри никогда не лгал и не бахвалился, манеры его отнюдь не отличались изяществом, и он не обладал даром красноречия. Он был неловок, молчалив, а когда ему нужно было что-нибудь сказать, говорил отрывисто, ворчливо.

Ну и пасквилянт, подумал Лодж. Неужели он все-таки был совсем другим, чем казался? Что, если он с помощью своего персонажа — Философа — высмеивал их, издевался над ними, а они этого даже не подозревали?

Лодж потряс головой, мысленно споря с самим собой.

Если предположить, что Философ издевался над ними, то делал он это очень тонко, так тонко, что ни один из них этого не почувствовал, так искусно, что это никого не задело.

Но самое страшное заключалось не в том, что Генри мог исподтишка делать из них посмешище. Внушало ужас другое — то, что Философ появился на экране вторым. Он вышел вслед за Деревенским Щеголем и, пока длилось представление, все время был в центре внимания, со смаком поедая индюшачью ножку и дирижируя ею в такт своей высиренней речи, которой он поливал слушателей как автоматной очередью. Да, Философ вообще был самым значительным и активным действующим лицом всего Спектакля!

Значит, ни один из них не мог экспромтом создать его и выпустить на экран.

А это снимало подозрение, по крайней мере, с четырех участников вчерашнего представления.

И могло означать:

либо то, что среди них присутствовал призрак;

либо то, что машина, обладая памятью, сама создала персонаж Генри;

либо то, что они — все восемь — стали жертвой масовой галлюцинации.

Однако ни одно из трех предположений не выдержи-

вало никакой критики. И вообще все, что здесь происходило, казалось абсолютно необъяснимым.

Представьте группу высококвалифицированных ученых, воспитанных в духе материалистического подхода к действительности, скептицизма и нетерпимости ко всему, что отдает душком мистицизма; ученых, нацеленных на изучение фактов, и только фактов. Что может привести к распаду такого коллектива? Не клаустрофobia, развившаяся в результате длительной изоляции на этом астероиде. Не постоянные угрызения совести, причина которых — в неспособности вырваться из плена прочно укоренившихся этических норм. Не атавистический страх перед призраками. Все это было бы слишком просто.

Тут действовал какой-то другой фактор. Другой неизвестный фактор, мысль о котором еще никому не приходила в голову, подобно тому, как никто пока не задумывался о новом подходе к решению поставленной перед ними задачи. Том самом новом подходе, о котором упомянул за обедом Мэйтленд, сказав, что для проникновения в тайну первопричины жизненных явлений им следовало бы подступиться к этой проблеме с какой-то другой стороны. «Мы на ложном пути, — сказал тогда Мэйтленд. — Нам необходимо найти новый подход». И Мэйтленд, несомненно, имел в виду, что для их исследований более не годятся старые методы, цель которых — поиск, накопление и анализ фактического материала; что научное мышление в течение длительного периода времени работало в одной-единственной, теперь уже порядком истертой колее устаревших категорий и не ведало иных путей к познанию...

Спектакль! — вдруг осенило его. Может, этим фактором был Спектакль? Что, если игра в Спектакль, которая, по замыслу, должна была сплотить членов группы и помочь им сохранить здравый рассудок, по какой-то непонятной пока причине превратилась в обоюдоострый меч?

Они начали вставать из-за стола, чтобы разойтись по своим комнатам и переодеться к обеду. А после обеда — опять Спектакль.

Привычка, подумал Лодж. Даже сейчас, когда все полетело к чертям, они оставались рабами привычки.

Они переоденутся к обеду; они будут играть в Спектакле. А завтра утром они спустятся в лаборатории и снова примутся за работу, но их труд будет непродуктивным, потому что цель, достижению которой они отдали

все свои профессиональные знания, перестала для них существовать, испепеленная страхом, раздирающим душу противоречиями, смертью одного из них, призраками.

Кто-то тронул его за локоть, и Лодж увидел, что рядом стоит Форестер.

— Ну что, Кент?

— Как себя чувствуете?

— Нормально, — ответил Лодж и, немножко помолчав, произнес: — Вы, безусловно, понимаете, что это конец.

— Мы еще поборемся, — заявил Форестер.

Лодж покачал головой.

— Разве что вы, вы ведь моложе меня. А на меня не рассчитывайте — я сгорел вместе с остальными.

8

Представление началось с того, на чем оно прервалось накануне: все персонажи на экране, появляется Прелестная Девушка, а Нищий Философ, самодовольно потирая руки, произносит:

— Что за душевная обстановка! Наконец-то мы все в собре.

Прелестная Девушка (*не очень твердо держась на ногах*): Послушайте, Философ, я сама знаю, что опоздала, и незачем это подчеркивать, да еще в такой странной форме! Само собой разумеется, что мы здесь собрались всей компанией. А я... Ну меня задержали крайне важные обстоятельства.

Деревенский Щеголь (*в сторону, с крестьянской хитрой*): «Том Коллинз» * и игральный автомат.

Инопланетное Чудовище (*высунув голову из-за дерева*): Тск хрлстлти вглатер, тск...

А ведь с представлением что-то неладно, вдруг подумал Лодж.

В нем явно был какой-то дефект, неправильность, нечто до ужаса чужое и непривычное; такое, от чего пробирает дрожь, даже если это новое чуждое качество не поддается определению.

Неладное творилось с Философом, причем беспокоило вовсе не его присутствие на экране, а что-то совершенно другое, необъяснимое. Странно изменившими казались

* «Том Коллинз» — название прохладительного напитка, в состав которого входит джин. (Прим. перев.)

Прелестная Девушка, Приличный Молодой Человек, Красивая Стерва и все, все остальные.

Резко переменился Деревенский Щеголь, а уж он-то, Бэйядр Лодж, знал Деревенского Щеголя как облупленного — знал каждую извилину его мозга, его мысли, мечты, тайные желания, его грубоватое тщеславие, нахальную манеру посмеиваться над окружающими, жгучее чувство неполноценности, которое побуждало его во имя самоутверждения заниматься восхвалением собственной персоны.

Словом, он знал его, как каждый из зрителей должен был знать свой персонаж, воспринимал его, как что-то более значимое, чем образ, созданный в воображении; знал его лучше, чем любого другого человека, чем самого близкого друга. Ибо они были связаны теми единственными в своем роде узами, которые связывают творца с его творением.

А в этот вечер Деревенский Щеголь заметно отдалился от него, словно бы обрезал невидимые веревочки, с помощью которых им управляли, обрел некую самостоятельность, и в этой самостоятельности уже пробивались первые ростки полной независимости.

До Лоджа донеслись слова Философа:

— Но я никак не мог обойти молчанием тот факт, что мы здесь собирались в полном составе. Ведь один из нас умер...

В зрительном зале — ни шумного вздоха, ни шороха, никто даже не вздрогнул, но чувствовалось, как все напряглись, словно туго натянутые скрипичные струны.

— Мы — это совесть, — произнес Усатый Злодей. — Отраженная совесть, принявшая наш облик и играющая наши роли...

— Совесть человечества, — сказал Деревенский Щеголь.

Лодж невольно привстал.

«Я ведь не велел ему произносить эту фразу! Он сделал это по собственному почину, без моего приказа. У меня просто возникла такая мысль, вот и все. Боже милостивый, я же только подумал об этом, только подумал!»

Теперь-то он знал причину необычности сегодняшнего представления. Наконец он понял, в чем странность персонажей.

Они были не на экране! Они стояли на сцене, на узких подмостках перед экраном!

Они. Уже не спроектированные на экран воображаемые образы, а существа из плоти и крови. Созданные мыслью марионетки, которые внезапно ожили.

Он похолодел, похолодел и замер, вдруг со всей ясностью осознав, что одной лишь силой мысли — силой мысли в сочетании с таинственными и безграничными возможностями электроники — Человек сотворил жизнь!

Новый подход, сказал тогда Мэйтленд.

О господи! Новый подход!

Они потерпели неудачу в работе и одержали поразительную победу, играя в часы досуга, и отныне отпадет необходимость в особых группах ученых, ведущих исследования в той мрачной области, где живое незаметно переходит в мертвое, а мертвое — в живое. Ведь для того, чтобы создать человеко-чудовище, достаточно будет сесть перед экраном и вымыслить его — кость за костью, волос за волосом его мозг, внутренности, особые свойства организма и все прочее. Так появятся на свет миллионы чудовищ для заселения тех планет. И эти монстры будут людьми, потому что их по заранее разработанным проектам сотворят их братья по разуму, человеческие существа.

Близится минута, когда персонажи спустятся со сцены в зал и смеются со зрителями. Как же поведут себя их творцы? Обезумеют от ужаса, дико завопят, впадут в буйное помешательство?

Что он, Лодж, скажет Деревенскому Щеголю?

Что он вообще может сказать ему?

И — а это куда важней — о чем заговорит с ним сам Щеголь?

Лодж не в силах был шевельнуться, не мог вымолвить ни слова или хотя бы криком предостеречь остальных. Он сидел как каменный в ожидании того момента, когда они с подмостков спустятся в зал.

Владимир Савченко

ИСПЫТАНИЕ ИСТИНОЙ

Повесть *

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

К ИСТОРИИ ТОБОЛЬСКОГО АНТИМЕТЕОРИТА

Считать мертвым...

«Определение

18 февраля 19... года коллегия областного суда по гражданским делам в городе Новодвинске, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Института теоретической физики (в лице юрисконсульты Белогрива А. А.) об объявлении мертвым бывшего сотрудника Института гр-на КАЛУЖНИКОВА Дмитрия Андреевича, установила:

1) что подозреваемый в смерти Калужникова Д. А. тридцати шести лет работал в Институте-истице в должности старшего научного сотрудника отдела теоретических основ фокусировки и начиная с марта прошлого года перестал являться на работу, не известив администрацию ни о болезни, ни об иных причинах прогула;

2) что начиная с того же времени он не находился по месту постоянного жительства в гор. Новодвинске по ул. Коперника, 17, кв. 45 и не оплачивал в домоуправлении счета за квартиру;

3) что в середине мая того же года он объявился в станице Усть-Елецкой Курганской области, где проживал у гр-на Алютина Трофима Никифоровича, кузнепа колхоза «Красный казак», по 21 июля, после чего, как следует из заявления домохозяина Алютина, исчез;

4) что упомянутый Алютин видел последний раз подозреваемого в смерти 21 июля на левом берегу реки Тобол в восьми километрах от Усть-Елецкой (в районе

* Печатается с сокращениями.

бывшего озера Убиенного), где свидетель со своим сыном и подозреваемый были на рыбалке; к ночи свидетель с сыном отправились в станицу, а Калужникова остался у реки;

5) что в ночь с 21 на 22 июля в 1 час 15 минут по местному времени вблизи места, где последний раз видели подозреваемого в смерти, а именно: на левом берегу р. Тобол в районе озера Убиенного — произошла вспышка с выделением большого количества тепла, света и проникающего излучения; эпицентр вспышки, по заключению расследовавших ее ученых, пришелся с точностью до десятков метров на место упомянутой рыбалки; о силе вспышки можно судить по тому, что озеро Убиенное размерами 1,5 километра на 0,3 километра и глубиной 3 метра полностью испарилось; причиной этой вспышки явилось, по мнению ученых, падение на Землю крупного антиметеорита;

6) что начиная с этого момента и по сей день ни указанный свидетель, ни другие лица не видели Калужникова Д. А. и сведений о его местопребывании не имеется;

7) что медицинские эксперты, основываясь на упомянутом «Заключении», подтвердили, что вспышка такой мощности могла привести как к смерти человека, находившегося не далее чем в 30—40 метрах от ее центра, так и к полному уничтожению его останков.

На основании вышеизложенного и учитывая доказанность обстоятельства, угрожавшего смертью, руководствуясь статьей 21 Гражданского кодекса, судебная коллегия

о пределила:

гра на Калужникова Дмитрия Андреевича считать мертвым. Датой его смерти считать 22 июля 19... года.

Настоящее решение может быть пересмотрено в случае объявления Д. А. Калужникова или поступления иных сведений о его кончине.

Судья (подпись)
Нарзаседатели (подписи)».

Из архива следствия

Дело это вел младший следователь облпрокуратуры Сергей Яковлевич Нестеренко — уравновешенный молодой человек, светловолосый, низкорослый и посатый; он как раз к этому времени начал отпускать бородку. Сергей

Яковлевич, безусловно, понимал, что ему попался уникальный случай: криминалистика не зафиксировала еще ни одного исчезновения человека от падения метеорита, — но понимал он и то, что эта уникальность пройдет мимо него. Задача следствия была узкой и простой: установить, есть ли достаточные основания полагать Калужникова погибшим, чтобы не получился огорчительный для правосудия финт — объявили человека покойником, а ему того и надо.

Соответственно и тобольская вспышка проходила в деле лишь как обстоятельство, угрожающее смертью; без таких обстоятельств суд не вправе объявить человека, который исчез, умершим ранее чем через три года. Вспышка делала картину определенной, и «Заключение» о ее характере и природе неспроста дважды упоминалось в решении областного суда — этот документ был гвоздем дела.

Эксперты — видные физики и астрономы из столичных институтов — прибыли на место происшествия на следующий день, работали две недели.

Особый интерес исследователей вызвало то, что в эпицентре вспышки обнаружилась выемка-«борозда», оплавленная до стекловидности; она начиналась на уровне в два метра выше поверхности воды в Тоболе и шла к озеру, прямо пересекая перемычку между ним и рекой; длина «борозды» была 18 метров, ширина от 0,8 метра внизу до 1,2 метра вверху, наибольшая глубина 2,3 метра. По свидетельству опрошенных жителей, подтвержденному и справкой Усть-Елецкого отдела землеустройства, раньше выемки здесь не было.

Здесь нелишне упомянуть, что незадолго до произошедшего известный астрофизик академик К. Б. Нецкий выдвинул гипотезу о том, что метеоры, огненный след которых мы иногда замечаем в ночном небе, в равной мере могут состоять как из вещества, так и из антивещества; то, что наша планета и ее соседи образовались из обычного вещества, ничего не значит для иных тел вселенной. Поскольку подавляющая часть метеоров сгорает бесследно при падении на Землю, гипотезу эту так же трудно было опровергнуть, как и подтвердить: и от трения о воздух тело может сгореть, и от аннигиляции тоже. Но, как и любая обобщающая наши представления мысль, гипотеза Нецкого овладела умами; учёные искали случая проверить ее.

[6] И теперь такой случай представился: набор данных о тобольской вспышке настолько роскошно укладывался в версию о метеорите из антивещества, что, не будь гипотезы Нецкого, ученым экспертам ничего не оставалось бы, как самим выдвинуть ее. Действительно: во-первых, ни с того ни с сего была мощная вспышка; во-вторых, появилась остаточная радиоактивность — от аннигиляции; в-третьих, отсутствовало метеорное тело и даже осколки — аннигилировало тело; в-четвертых (хотя по значимости этот довод был первым), появилась выемка «борозда», которая показывала, где и как закончилась траектория метеорита, и объясняла, почему испарились озера.

Правда, для полного соответствия гипотезе недурно было бы иметь фотографии или хоть визуальные наблюдения светящегося следа от полета метеора; такой след из-за эффекта аннигиляции и в силу почти касательной к земной поверхности траектории должен был быть ярким, длинным и весьма заметным. Но нехватку нужных наблюдений можно было объяснить малой плотностью населения в этой местности, а также тем, что население это спало, а если и не спало, то не смотрело на небо, а если и смотрело, то не в ту сторону, а если и в ту, то, видимо, этих людей пока и не палили; возможно, они объявились позднее.

И наконец, неконструктивным, но, по сути, решающим доводом в пользу гипотезы было: если тобольская вспышка не от падения antimетеорита, то от чего же? Ничего иного здесь не придумаешь.

Под «Заключением» стояла дюжина подписей и устраивающие великолепных титулов.

Однако Сергей Нестеренко, хоть и был по молодости лет преисполнен уважения к науке (это было его небольшим хобби: следить по популярным изданиям за движением научной мысли в мире), не придал все-таки этот документ бездумно, как директивную истину. Это и понятно: «Заключение» ничего не говорило о том, что его непосредственно интересовало, — о судьбе Дмитрия Калужникова.

Теперь трудно установить, знали ли ученые-эксперты, что в ночь на 22 июля на месте происшествия оставил человека. Очень возможно, что нет. Во всяком случае — и следователям это сразу насторожило, — в «Заключении», где перечислялись имена, фамилии и места проживания

всех опрошенных комиссией очевидцев, домохозяин Алютин упомянут не был. Заявление же его об исчезновении постояльца (поданное, кстати, с изрядной задержкой) шло по иным каналам.

Первая беседа Нестеренко и Кузина

Более всего Сергея Яковлевича смущало поведение подозреваемого в смерти перед печальным событием: без уважительных причин бросил работу, три месяца пропадал неизвестно где, потом оказался аж за Уральским хребтом — и проживал там не у родственников, не у знакомых даже, а так как-то... И почему именно там? Не было ли у него, действительно, намерений инсценировать по каким-то мотивам свою гибель и тем замести следы?

Для изучения этой стороны дела Сергей Яковлевич провел беседу с Виталием Семеновичем Кузиным — доктором наук, заведовавшим тем самым отделом ТОФ, в котором работал пропавший. Они встретились в комнате младших следователей на втором этаже облпрокуратуры. Перед Нестеренко сидел умеренно полный (скорее от сидячего образа жизни, чем от излишнего питания) молодежавый мужчина; у него были темные, красиво поседевшие на висках волосы, круглое лицо с незначительными морщинами. Уши были слегка оттопырены, маленький рот с несколько выпяченными губами создавал впечатление серьезного и доброжелательного внимания; это впечатление подкрепляли и карие ясные глаза. Речь и жесты Виталия Семеновича казались продуманными и неторопливыми.

У Нестеренко не было тогда ни версии, ни даже смутной идеи версии. Он спрашивал обо всем понемногу — авось что-нибудь всплынет.

— Виталий Семенович, — поинтересовался он прежде всего, почесывая бородку, — по какой все-таки причине Калужников в марте бросил институт? И так странно: не уволился, не перевелся — исчез.

— Это для всех нас загадка, — ответил Кузин.

— Может быть, какие-то внутренние отношения обострились? Или с работой не ладилось?

— И отношения были на уровне, и с работой ладилось. Еще как ладилось-то! Достаточно сказать, что тема,

в которой участвовал и Дмитрий Андреевич, выдвинута на соискание Государственной премии.

— Но как же все-таки объяснить: работал-работал человек, потом раз — и ушел. Пропал в небытии! Может, он переутомлял себя и того... повредился на этой почве?

— Кто, Дмитрий Андреевич?! — Кузин с юмором взглянул на следователя. — Не знали вы его! Он работал без натуги, не переутомляясь — брал способностями. Бывали, конечно, и трудности и неудачи — в творческой работе у кого их не бывает! Но ведь эти штуки у нас, теоретиков, бывают преимущественно не от внешних, а от внутренних причин: заведет мысль не туда — и заблудится. Месяцы, а то и годы работы пропали... Бывали и у Калужникова заскоки в идеях, завихрения... — Виталий Семенович зашумелся, в задумчивости поднял брови. — Может быть, в самом деле это его последнее увлечение повлияло? Э, нет. Нет, нет и нет! — Он покачал головой. — Не то все это, товарищ следователь. Вот вы ищете причину во взаимоотношениях, в усталости, надрыве, неудачах в работе — будто это могло так повлиять на Дмитрия Андреевича, что он бросил все и ушел. Я исключаю это категорически: не такой он был человек. Другого довести до первого состояния — это он мог. Но чтобы сам... нет.

Однако Нестеренко насторожился:

— А что за заскок у него был, вот вы сейчас упомянули?

— Ах это! Было у Дмитрия Андреевича одно теоретическое завихрение. Что было, то было. Весьма оригинальная, чтобы не сказать шальная, идея о строении материи. Вы, возможно, слышали, что сейчас ищут «сумасшедшую» идею? Это нынче модно.

— А... Читал кое-что в популярных журналах.

— Так у Калужникова была именно сумасшедшая. Но... — Виталий Семенович поднял палец. — Но!. Одно дело сумасшедшая идея, а иное — чтобы он сам из-за нее, как вы говорите, повредился. Он ведь был теоретик. Это значит, что к любым идеям: безумным и тривиальным, своим и чужим — у него выработалось спокойное, профессиональное отношение, своего рода иммунитет. Будь он непрофессионалом, скажем школьным учителем, то, верно, мог от такой идеи свихнуться и даже чудить. С любителями такое бывает.

— Он рассказывал вам об этой идее? Нельзя ли вкратце...

— Рассказывал, но боюсь, что вкратце нельзя. Она слишком глубоко проникает в теорию квантов, в волновую механику, в механику упругих сред... Это нужно целый курс лекций вам прочесть.

— Но... как на ваш взгляд: это была правильная идея? — не отставал настырный следователь. — Это существенно: ведь не от хорошей жизни ищут именно «безумные». Простите уж, что я испытываю ваше терпение.

Лицо Кузина выразило снисходительную покорность.

— Ничего, пожалуйста. Видите ли, критерием правильности идеи является не мнение того или иного специалиста, а практика. В крайнем случае — эксперимент. Ни до опытов, ни тем более до практики Дмитрий Андреевич свою идею не довел. По тому, что он мне сообщал, судить твердо не берусь. Были в ней интересные моменты, но и блажь тоже. Причем последней, боюсь, гораздо больше.

— Хорошо, оставим это. — Нестеренко взглянул на листок с вопросами. — Вот Калужников исчез. Что вы предпринимали? Искали его?

— Предпринимали, искали. Я тогда договорился с дирекцией, что если Калужников вернется в пределах двух месяцев, то отлучку ему засчитали бы как отпуск и ограничились бы выговором. Товарищи из отдела писали общим знакомым, родичам его во все города. Но... — Кузин замолк, взглянув на Нестеренко, как бы оценивая, стоит с ним говорить начистоту или нет. — Скажу вам прямо: делали мы это скорее для очистки совести, для соблюдения, что ли, житейских приличий, чем от сознания необходимости, да!

— Вот как! Что же, он был неприятной личностью, от которой хотелось избавиться?

— Не-ет! — Виталий Семенович даже поморщился: экий примитивный, чисто милицейский подход! — Я же вам толковал, что это за человек: не истерик, не глупец, не больной. Сильный. Он всегда знал что делал. И если он исчез так и не просил нас вмешиваться, значит, и нам следовало вести себя спокойно. Понимаете, он был не из тех, с кем случаются передряги.

— Однако случилась!..

— Простите, но на месте падения этого антиметео-

рита точно так же могла оказаться корова. От таких случаев никто не застрахован. Судьба!

На том они расстались.

Показания Алютина

Еще до этой беседы Нестеренко направил в Усть-Елецкий райондел милиции просьбу, во-первых, допросить кузнеца Алютина и, во-вторых, прислать личные вещи пропавшего. Это было сделано. Две недели спустя в Новодвинскую прокуратуру пришли пакет и посылка.

Пакет содержал листы обстоятельного допроса гражданина Алютина Т. Н. Из них следователь, увы, ничего существенного для дела не извлек. Вел себя Калужников как в последние дни, так и все время пребывания в Усть-Елецкой обыкновенно: отдохвающий от нервной сутолоки горожанин, «дикарь». Человек он был неприхотливый, спал у кузнеца на сеновале, о внешности заботился мало. («Парень он был видный, наши девки и так на него смотрели», — уточнял Алютин.) Пропадал днями, а иногда и ночами на реке или в степи. Знакомств вроде ни с кем не заводил. И все.

При всем том в показаниях Алютина мелькнула серьезная поправка на заключение экспертов о тобольской вспышке, на тот именно пункт «Заключения», который трактовал о выемке-«борозде», якобы оставленной антиметеоритом на месте падения, и окончательной аниглии. По Алютину выходило, что эта выемка к небесным делам отношения не имеет: просто Калужникову в одну их совместную рыбалку пришло в голову, что не плохо бы, учтя более высокий уровень воды в озере, прорыть в узком месте перемычки канал в Тобол и поставить в нем вершу. «В Убийном рыбы после половодья много, — показывал кузнец, — а на удочку не берет, сътая. Вот мы икопали три дюи, как каторжные. Да только мелко вышло, ничего мы там не добыли...»

В протоколе допроса этот факт именно мелькнул и, понятно, никак не связывался с тобольским антиметеоритом. Милиция выясняла, что делал в последние дни подозреваемый в смерти, и, пожалуйста, выяснила: копал с кузнецом канаву. У Сергея Яковлевича эта всплывшая в показаниях канава тоже внимания не возбудила: в его расследовании этот факт ничего не прояснял.

В присланной из Усть-Елецкой посылке наиболее ин-

формативными для уяснения личности погибшего оказались не вещи его (плащ, немного белья, электробритва, мыльница, зубная щетка, т. п.), а четыре блокнота. Три из них — откидные, с гладкой мелованной бумагой — были исписаны целиком, четвертый (в коричневом коленкоре и с клетчатой бумагой) только начат. Сергей Яковлевич в меру своих знаний и смекалки изучил блокноты.

Заметки, как правило, касались физических проблем и собственных идей Калужникова о разрешении их. В них Нестеренко понял далеко не все — да, по правде говоря, не сильно и старался. Однако он все-таки уяснил, что Калужников чем далее, тем сильнее был увлечен своей «шальной» идеей о строении материи, о которой упоминал Кузин; похоже, что из института теоретической физики Калужников ушел именно в связи с этой идеей, так что в данном пункте Виталий Семенович оказался не прав.

Но для Сергея Яковлевича этот вывод был совершенно неглавным. Главным и окончательным выводом явились то, что Калужников не скрывался, и не петлял, и в Усть-Елецкую пошел без особых намерений. По всем записям чувствовалось, что он не из тех, кто огорчает право-судие ложными действиями; да и не тем была занята его голова. Видно, в самом деле случилось фатальное совпадение, и погиб Калужников там, на берегу Тобола, основательно, без дураков.

«Такой не подведет», — решил Нестеренко и передал дело в суд.

Ошибка

Минуло полгода. Весенний разлив Тобола наполнил водой ложбину на левом берегу, озеро Убиенное восстановилось. Радиоактивный фон в зоне тобольской всipyшки уменьшился до безопасных пределов, и ограждение вокруг этого места сняли. В Новодвинске жизнь тоже текла обычным порядком. У следователя Нестеренко на работе шли заурядные дела: о торговых хищениях и спекуляциях, об украденных автомобилях и мотоциклах, о пьяных хулиганствах сувечьями, о взломе сараев и кладовых, — тот криминалистический планктон, в коем не развернуть интеллект, логическую цепкость и эрудицию.

Тягу к интеллектуальному Сергей Яковлевич — чело-

век, как отмечалось, молодой и увлекающийся — удовлетворял чтением научно-популярных журналов. И вот в июльском номере широко известного издания Академии наук он нашел подборку статей под общей на двойную страницу шапкой «ТОБОЛЬСКИЙ АНТИМЕТЕОРИТ».

Дело было в теплый августовский вечер, во вторник. Нестеренко еще за обедом, прия с работы, перелистал свежий журнал, но не стал читать наспех, жуя, а отложил на потом. Есть особое удовольствие в чтении того, о чем знаешь помимо публикации, и Сергей Яковлевич предвкушал такое удовольствие.

Отобедав, Нестеренко устроился в кресле на балконе, раскрыл журнал.

Две самые большие статьи излагали материалы двух конференций, собранных по проблеме тобольской вспышки, — общесоюзной и международной. Основное внимание и там и там привлекли доклад члена-корреспондента Академии наук П. П. Файлов, который был председателем экспертной комиссии, и дискуссия по докладу. П. П. Файлов обстоятельно показывал, что гипотеза академика Нецкого о метеоритах из анти вещества всеми фактами, собранными на месте вспышки, блестяще подтверждена. Дискутанты оспаривали частности, а в целом были с этим согласны.

Но Нестеренко больше заинтересовало не это научное согласие, а фотографии и рисунки остеклованной «борозды» в различных ракурсах: расположение ее на местности, вид сверху, вид вдоль горизонтальной оси и даже разрез, в котором она напоминала полуобвалившийся окон полного профиля. Вникнув в статьи, он понял, что «борозда» фигурирует всюду не между прочим, а как решающий довод в пользу того, что на берегу Тобола упал антиметеорит. Файлов в своем докладе по расположению «борозды» указывал, откуда прилетел на Землю антиметеорит: из созвездия Дракона. А видный английский астрофизик, член Королевского общества Кент Табб по геометрии «борозды» вычислил даже массу тобольского антиметеорита, вероятную плотность вещества в нем и скорость соприкосновения с почвой. По Таббу получалось, что метеорит весил около килограмма и состоял из окислов антижелеза и антикремния; скорость его была порядка 40 километров в секунду.

— Елки-палки, — сказал Сергей Яковлевич, чувствуя,

что лицу стало жарко, а сердце бьется тяжело и гулко. — Да ведь это же...

Как уже говорилось, мелькнувший в показаниях Алютина факт о прорытой между озером и Тоболом канаве для ловли рыбы вершой не занял внимания следователя — как не занимают нас вещи, малоотносящиеся к нашим прямым целям. И только теперь, глядя на снимки аннигиляционной «борозды», он отчетливо понял, что она и есть тот самый прорытый Алютиным и Калужниковым канал. Действительно: он находился в самом узком месте перешейка между рекой и озером, вел к реке по кратчайшему расстоянию... да и вообще иных канал между Тоболом и озером на снимках местности не было!

«Да-а... — Нестеренко потер лоб ладонью. — Вот так фильт! Всем фильтам фильт. Выходит, не разобрались учёные?.. — Он облокотился на журнал, уставился на шумевшую под балконом улицу. — Ну конечно: кузнец таился, помалкивал — как бы за озеро отвечать не пришлось. Калужников погиб. Потом эксперты составили «Заключение», собрали материалы, вернулись в свои институты — и пошла писать губерния! И я сгупил, надо было сразу переслать им копию показаний Алютина. И в голову не пришло! Да и то сказать: ведь это они выезжали на место происшествия, не я. Что же мне их из Новодвинска поправлять? Сами должны были разобраться. А где же им вникать во всякую прозу? Они — учёные, люди возвышенного образа мыслей... Скандал!»

На следующее утро, придя в прокуратуру, Нестеренко затребовал из архива дело Калужникова. И теперь, чем более он вникал, тем яснее ему открывались не то чтобы несообразности, а невероятности в истории с его исчезновением.

Так он добрался до блокнотов, перечел их. Тогда, в январе, следователь при оценке заметок погибшего исходил из деликатно, но определенно высказанного доктором Кузиным мнения, что они — блажь. Самое большое, что выражал из них при таком подходе Нестеренко, — это то, что Калужников, увлекшись своими идеями, бросил институт и изменил привычный образ жизни; в конце концов, это было его личным делом. «Ну а если они — не блажь? — думал теперь Сергей Яковлевич, разбирай торопливые фиолетовые каракули и отчеркивая интересные места. — Если Калужников был прав в своей «шальной» идее?»

И к концу обеденного перерыва (его Нестеренко и не заметил) в душе следователя стала пробуждаться догадка. Догадка логичная и в то же время настолько дикая, настолько — под стать идеи Калужникова — сумасшедшая, что Сергей Яковлевич даже в уме убрался выразить ее словами. Он чуял, что это возможно — да что там возможно! — что факты дела именно в этом связываются в непротиворечивую версию; но ум его, воспитанный на обычных знаниях и представлениях, выталкивал из себя такую догадку, как вода каплю масла.

Вторая беседа Нестеренко и Кузина

Институт теоретической физики находился на окраине города, возле Демиевского лесопарка. Это старое помпезное здание имело четыре этажа в центре и по три в крыльях.

Нестеренко быстрым шагом прошел вестибюль, поднялся по лестнице с полуустертыми ступенями на третий этаж и двинулся по экономно освещенному коридору, читая таблички на дверях.

Кабинет Кузина оказался в конце коридора, у торцевого окна, выходившего на демиевский лес. Виталий Семенович умеренно изумился появлению следователя. Он поднялся из-за письменного стола (старого, громоздкого, с резными узорами, под стать зданию), душевно поздоровался и сел напротив Нестеренко за приставной столик, тем как бы отстраняясь от своего начальственного положения.

Секунду Кузин и Нестеренко выжидавшие смотрели друг на друга.

— Так что у вас ко мне... простите, не запомнил вашего имени-отчества? — первым мягко нарушил молчание Виталий Семенович.

— Сергей Яковлевич я, и у меня вот что, — начал Нестеренко. — В одном важном пункте вы оказались не правы, Виталий Семенович: Калужников покинул институт и Новодвинск именно в связи со своей «сумасшедшей» идеей. Это определенно следует из записей в его блокнотах, которые мне переслали из Усть-Елецкой. — И он, развязав папку, выложил на столик блокноты.

— Вот как! Что ж, возможно и такое. Хотя странно... — Кузин покосился на блокноты. — А чем, прости-

те, этот пункт важен? Оживить Дмитрия Андреевича все равно, к сожалению, нельзя.

— Это очень важно, Виталий Семенович! — Нестеренко раскрыл прихваченный из дома журнал. — Вы читали эти статьи?

— О тобольском метеорите? Читал — и не только их.

— Отлично. А теперь прочтите, пожалуйста, это. — Следователь положил перед Кузиным показания Алютина.

Виталий Семенович надел очки. Сначала он читал безразлично. Потом хмыкнул, остро глянул на Нестеренко, дочитал листы до конца, закурил сигарету — и принялся читать сначала.

Доктору наук Кузину не требовалось растолковывать, что значит для истории с тобольским антиметеоритом бесхитростные показания кузнеца Алютина, какой оглушительный приговор они выносят гипотезам, экспертизам и прочему.

— Ну-да! — высоким голосом произнес он, положил листки, встал и прошелся по кабинету, потирая руки и плотоядно улыбаясь. — Вы не будете возражать, Сергей Яковлевич, если я приглашу сюда некоторых наших товарищей? Надо бы и их ознакомить.

— О нет, Виталий Семенович, ради бога! — Нестеренко взмахнул руками. — Давайте сначала обсудим, разберемся сами что к чему.

— В чем именно?

— В деле. Понимаете, этот факт о канаве — особенно в сопоставлении с записями в блокнотах — проливает иной свет на историю Калужникова да и на саму тобольскую вспышку.

— Ах да... блокноты! Что же в них?

— Позвольте, я сначала изложу проблему, которая привела меня к вам. Много ли вы знаете случаев, чтобы человек — к тому же ученый — бросил интересную работу, квартиру, даже перспективу получить союзную премию... и подался в бродяги?

— Только один этот случай и знаю.

— И я тоже. Первое маловероятное событие. Далее Калужников блуждал по стране без определенной цели — ему все равно было, куда ехать, где находиться, это следует из его блокнотов. Второе маловероятное обстоятельство. Он оказался в Усть-Елецкой, а в ночь на 22 июля — именно на месте тобольской вспышки. И не в десятках метрах от эпицентра, как считали, а точно

в нем — ведь рыбачили у самой канавы. Угодил прямо под метеорит!

— Третья малая вероятность, — согласно кивнул Кузин.

— Четвертая: никто не видел следа метеорита в воздухе. И наконец, пятая, которая совсем уж не лезет ни в какие ворота: антиметеорит точно прошел по канаве... И все это — независимые случайные события! Каждое в отдельности имеет, если выражаться математически, вероятность, отличную от нуля, хотя и не слишком отличную. Но чтоб все вместе!..

— Вероятность официальной версии происшедшего, хотите вы сказать, оказывается произведением пяти исключительно малых вероятностей — то есть практически равна нулю?

— Именно! — кивнул Нестеренко.

— Вы, я чувствую, увлекаетесь теорией вероятностей? — Кузин с симпатией смотрел на разгоряченного молодого человека.

— Есть такой грех.

— Стало быть, ученые ошиблись и суд — тоже?

— Выходит, так.

— Да... действительно, трудно поверить, чтобы все так совпало. Особенно эта канава! Но, Сергей Яковлевич, вспышка-то была. Ее видели, остался ожог местности, радиация. И озеро испарилось.

— Тоже правильно.

— Так как же?..

Нестеренко развел руками, пожал плечами. Минуту оба молчали.

— Вот такой вопрос, Сергей Яковлевич: у вас возникли сомнения, находился ли Дмитрий Андреевич Калужников на том месте и погиб ли он?

— На этот счет, к сожалению, сомнений нет. Так оно, похоже, и вышло, что он там сгорел. И решение суда объявить его мертвым вполне обосновано. Да посудите сами: полтора года минуло с тех пор, а где Калужников? Человек не иголка.

— Тогда почему вы решили вернуться к этому делу? Хотите подправить ученых, уличить их в ошибке? Ну отправьте эти показания им, да, может быть, еще в тот же журнал — и дело с концом.

Нестеренко грустно усмехнулся.

— У вас не совсем верные представления о нашей ра-

боте, Виталий Семенович: уличить, накрыть с поличным, вывести на чистую воду...

— Ну зачем так! — Кузин протестующе возвел руки.

— Да нет, суть вашего вопроса именно такая. Понимаете, приводить всякие происшествия в соответствие со статьями закона — это внешняя сторона нашей работы. А по внутреннему содержанию она (возможно, такое мое суждение покажется вам самонадеянным) близка к работе исследователей. Главное: разобраться, установить, как оно было на самом деле. Не бывает, мне кажется, специализированных истин: одни для юристов, другие для физиков, третьи для театральных администраторов... а бывает просто истина. Ее-то я в данном деле не понял, не установил и, стало быть, если не юридически, то нравственно не прав и совершил ошибку.

Нестеренко замолчал, чувствуя, что сердится: не думал он, что здесь ему придется объяснять такие вещи!. А Виталию Семеновичу было сейчас неловко. «Отшлепал меня мальчик», — думал он, искоса поглядывая на отчужденное лицо следователя. — Культурно отшлепал. Не мне бы такое спрашивать, не ему отвечать. Я увидел здесь скандал, а он — то, что следовало увидеть мне, — проблему».

Он помолчал.

— Но что же там действительно было, со вспышкой этой, с Дмитрием Андреевичем? У вас есть конструктивная версия, Сергей Яковлевич? Ведь если, к примеру, просто так оспорить официально признанную версию тобольского антиметеорита, то даже если удастся доказать про канаву-«борозду», сразу поставят вопрос: а что же там еще могло быть? И действительно, вроде ничего иного предположить нельзя, а?

— Можно, Виталий Семенович, — твердо сказал Нестеренко. — Я перечитал блокноты Калужникова — и забрезжило что-то такое... Но, — он нерешительно посмотрел на Кузина, — понимаете, эта версия выходит и логичной, в ней все события не случайны, а взаимосвязаны, — и в то же время настолько дикой, что я... я просто не решаюсь вам ее высказать. Подумаете еще, не в своем уме я. Да и не смогу выразить, подготовочка не та...

Виталий Семенович глядел на него с большим интересом.

— Поэтому я и принес блокноты вам, бывшему начальнику и товарищу покойного Калужникова, — продолжил Кузин.

жал Нестеренко. — Прочтите их, пожалуйста. Если и вы придете к подобному предположению, будем думать, что делать дальше. Если нет, то... кто знает, может, у меня вправду буйное, недисциплинированное воображение! Я ведь не учений. Одно мне представляется совершенно определенным, Виталий Семенович: ни метеорит, ни антиметеорит там не падал.

— Любопытно, — сказал Кузин. — Вы меня сильно заинтриговали. Что ж, оставляйте блокноты, прочту. Сегодня среда? Приходите утром в пятницу, к этому времени я управлюсь. Итак, до встречи — и да здравствует истина, какая бы она ни была!

Они распрошались.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПУТЬ ПО МЫСЛИ

Из блокнотов Дмитрия Калужникова

За блокноты эти Виталий Семенович принялся вечером дома.

На внутренней стороне обложки каждого блокнота было написано, когда он начат. Первый блокнот Калужников пометил январем 19... года. Виталий Семенович хорошо помнил то время: как раз завершили проект электромагнитной фокусировки частиц для сверхскорителя — он-то и был потом представлен на лауреатство.

«Новый год, порядки новые, — гласила первая запись. — Этот год могу заниматься свободным поиском. Нешто построить докторскую на фокусировке? Тема проходная.

Что-то душа не лежит. И что ей надо, моей душе!..

Вахтер института тетя Кilia, заступая на дежурство по утрам, по обыкновению молится. Истово смотрит в угол вестибюля, пониже электрочасов, повыше пожарного щита с баграми, кладет торопливые кресты на грудь, что-то шепчет. Интересно, о чем она молится?

Чтобы мы, физики-теоретики, вскрыли наконец природу физических законов и тем доказали, что бога нет?..

Итак, что меня отвращает от проходной хлебной темы по фокусировке встречных пучков? Пожалуй, неверие в

перспективы. Не верю я, что сверхускорители и опыты по бомбардировке в них частицами мишней из частиц («бомбардировка неизвестно чего неизвестно чем», как шутит наш академик) продвинут нас далее в понимании материи. Мы не поняли элементарные частицы, когда соударяли их с энергиями в миллионы электрон-вольт, не поняли и на энергиях в миллиарды электрон-вольт. Где гарантии, что поймем на десятках миллиардов? Так можно наращивать энергию до бесконечности; а чем дальше, тем это сложнее. Получается отрасль науки, работающая на себя, и только.

Не верю я в это дело.

Но вот что: верить, не верить — занятие не для учёного. Надо вникать. Это и будет моей работой в текущем году: проникновение в «теорию элементарных частиц», в теорию, у которой есть пока только название да набор смутных противоречивых идей.

Что есть «вещественные тела»? Скопление «элементарных частиц». А что есть «частицы»? Мельчайшие частицы «вещества». А что есть «вещества»? Замкнутый круг, из которого следует, что мы не только не знаем, что такое частицы, но не знаем и что такое «тела».

Да-да, у микрочастиц есть «массы», «магнитные моменты», бывают «заряды». Но достаточно ли этих признаков (природа которых сама, кстати, неясна), чтобы считать их вещественными предметами?

Но если «частицы» не предметы, то что?

• • • • •
Есть универсальный, избавляющий от терзаний ответ: такова объективная реальность. Постоянен элементарный заряд? Такова объективная реальность. Сила тяготения обратно пропорциональна квадрату расстояния? Она же. Скорость света постоянна во всех системах отсчета? Т. О. Р.

Да, но почему реальность такова, а не?..

Прикладникам можно удовлетвориться констатацией «реальности». Была бы сила тяготения пропорциональна кубу расстояния, была бы скорость света непостоянна, была бы масса электрона не в 1837, а в десять тысяч раз меньше, чем у протона, — они все равно исхитрились бы сделать электромотор и транзистор, построить мост и запустить ракету.

Прикладникам можно, ибо смысл прикладных наук — дополнить природу в интересах людей. А смысл работы теоретиков — понять природу.

Сегодня мне исполнилось тридцать пять. Не отмечал — что праздновать-то?

На что уходят годы? На зарабатывание денег и приобретение «благ»? На выполнение работ, в нужность которых я не верю и увлечься которыми не способен? На призрачное утверждение своего «я» мелкими идеяками? На связи с женщинами, которых я не могу полюбить? На преферанс с выпивкой?.. Кажется, что все это так, не жизнь, а предисловие к жизни, что лучшее и интересное — впереди. А годы идут, и впереди все то же...

Не на что тратить силы, не во что вкладывать душу! Но если так — зачем она мне, душа?

Таганрог, продутый насквозь февральскими ледяными ветрами. Азовское море с кромкой грязноватого льда вдоль глинистого берега. Зал с театральными люстрами, лепными излишествами и скверной акустикой. Искаженные динамиком фразы «на фундаментальной основе глубокой теории...», «композиции микрочастиц и микросостояний», «ансамбль электронов», «дискуссионная донуклонность кварков...» — словом, конференция по физике элементарных частиц. Я в секции физики высоких энергий, ауд. Д-202, начало заседаний в 10.30.

Ю. Стрифонов. «Некоторые вопросы энергетики упругих и неупругих соударений гелиевистских протонов». Докладчик продемонстрировал французский прононс и умение сморкаться в платок среди фразы. Простыл на азовских сквозняках...

С. Приверзев. «Как известно, в слабых взаимодействиях, обуславливающих распад частиц, закон сохранения четности нарушается... Однако ориентация спинора Дирака в шестимерном импульсно-потенциальном пространстве...»

Спинор Дирака, динор Спирака, черт бы побрал их обоих!

Считается, что физика сейчас проникает в основы

строения материи, в элементарное — то есть в самое простое, проще арифметики, такое, что каждому объяснить можно. Но где оно, это простое?! Во всех докладах головоломнейшая галиматья терминов, частных посылок, случайных опытных фактов, хитроумной математики, призванной подтвердить правоту докладчика... Мы выработали международную терминологию, математизованный язык — и успешно понимаем друг друга в том даже, о чем умалчиваем. Но значит ли это, что мы понимаем природу?

— Запутались мы, — вздохнул мой сосед по секции и по номеру в гостинице сибиряк Коля, когда я поделился с ним недоумениями. — И не признаемся в этом ни себе, ни другим.

Да, похоже, что сейчас самое время не выступать на конференциях, громоздя одна на другую скропалительные идеи и догадки, не раздувать всемерно и всемирно па предмет обильных ассоциаций важность нашего занятия, а думать. Думать несуетно, честно, беспощадно: так ли шли, где свернули с пути в лабиринте поиска? Думать с целью понять.

А вот к этому мы не приучены.

Наше познание целиком подчинено инстинкту самосохранения — ведь производными от него и являются «выгода», «страх», «благополучие».

Да, практика — высший критерий истинности теории. Но разве практика и польза — одно и то же?

Где вы, алхимики, смешивавшие вещества ради жгучего детского любопытства: а что из этой смеси будет? Где вы, древние анатомы, выкалывавшие трупы на кладбище — ночью тайком, чтобы понять: как все-таки устроен человек?

Степи, лесополосы, терриконы — все бело. Снег, снег, снег от моря и до моря. Поезд № 27 везет меня домой... Напрасно я съездил? Пожалуй, нет. Конструктивных идей я на конференции не услышал, но хоть понял масштабы недоумения, которое сейчас царит в физике элементарных частиц. Я, грехным делом, думал, что только я ничего не понимаю... Что же они такое — частицы, «кирпичики мироздания», которые, похоже, не кирпичики, и не шарики, и вовсе не вещественные предметы? Из чего же мы, братцы, состоим?!

Ночь. Шутейная идея под стук колес: элементарные частицы — вовсе не частицы, не постоянные какие-то образования материи. Это переменные процессы, объемные колебания самого пространства! Гм!

Нет, правда: примем всерьез то, что пространство — не пустота. Физический вакуум — материальная среда и, может быть, даже довольно плотная. И вот в каких-то местах ее — объемная зыбы: уплотнение, разрежение, снова уплотнение. В среднем здесь такая же плотность материи, как и всюду, но здесь нечто — пульсирующая неоднородность. Однородное же неразличимо, оно все равно что ничто.

А если каждое новое колебание плотности повторяется не в том же месте, а рядом, то вот вам и движение «частиц».

Это еще не все: уплотнения и разрежения можно отождествить с зарядами частиц. Ну по максвелловской жидкостной модели электромагнетизма: уплотнение — источник силового поля (оно ведь растекается и давит на окрестную материю), положительный заряд; разрежение — отрицательный. А при переходе от одного состояния к другому происходит завихрение материи в магнитное поле. Тоже по Максвеллу.

О, это уже серьезно! Так можно объяснить, откуда берется магнитный момент частиц, магнетон — штука необъяснимая, пока мы считаем частицы постоянными образованиями. Ведь магнитное поле, по Максвеллу, возникает от изменения электрического во времени. Если считать, что заряд «частиц» постоянен, то непонятно, откуда у них магнитные моменты. Приходится придумывать, что в микрочастицах есть обмотки с токами, соленоиды, электромагниты... штуки, неестественные, невозможные в элементарных образованиях материи. А если заряд «частиц» переменный, то все сходится...

Постой, что сходится?! Ведь заряд-то у протонов и электронов постоянный! Это же измерено, факт. И магнитные моменты у них постоянны. А от переменного электрического поля должно получаться переменное и магнитное... Занесло меня. А жаль, складно получалось.

...Идиот, болван, гений, тутика! Все правильно!

Результаты измерений свидетельствуют, что заряды и магнитные поля частиц постоянны. Верно. Но, милостивые государи, посредством чего мы измеряем это постоянство? Посредством приборов из вещества, то есть, в

конечном счете, из тех же колеблющихся (да, колеблющихся!) от разрежения к уплотнению «частиц» — неоднородностей. И синхронно, в такт колеблющихся, иначе скопление таких пульсаций, тело, — не будет устойчиво. Это же факт из теории колебаний: в общей энергосистеме могут работать только те генераторы, частоты и фазы которых совпадают. Иначе система разваливается.

Тогда ясно, почему нам кажется, что у частиц постоянны заряды и моменты. Есть такой стробоскопический эффект: скажем, если шпиндель станка, вращающийся со скоростью 100 об/мин., осветить газоразрядной лампой, в которой вспышки света следуют с той же частотой, то он покажется наблюдателю неподвижным. Но ежели наблюдатель этот сдуру возьмется за шпиндель, ему оторвут пальцы... Так и с частицами-колебаниями: два переменных «протона», когда они уплотнения, отталкиваются; через полтакта, когда они становятся разрежениями, — тоже отталкиваются. Что мы и истолковываем так: заряды одного знака отталкиваются. Важно, что одного, неважно — какого.

Переменный «протон» и переменный «электрон» — два колебания в противофазе; они притягиваются и могут устойчиво держаться вместе, что мы и наблюдаем... И магнитные моменты у микрочастиц — колебаний — переменны, согласованы по частотам и фазам, а поэтому и взаимодействуют между собой как постоянные магнитики... Нет, как нам здесь природа натянула нос!

Ах, поцелуй же ты меня, тетя Килья!.. То есть я хотел сказать: помолись ты за меня, тетя Килья! Я что-то нашел.

...И волновые свойства микрочастиц легко согласуются с этой идеей. Если частица — объемный всплеск в среде, нечто вроде капли дождя, упавшей в лужу, то, естественно, и вокруг себя она возбуждает концентрическое волнение. И не вероятное, а самое обычное, материальное, от которого и происходит дифракция электронов.

Написал статью о переменности микрочастиц. 12 страниц на машинке через два интервала, латинские символы подчеркнуты синим, греческие — красным... Все честь честью. В любой журнал возьмут. Писал с натугой две недели. Прочел — и порвал.

Я прикоснулся к самому краешку большой идеи. Идеи, кажется, не только физической, а обо всем. Я пока по-

нял малую ее часть — и туда же, спеши торгнуть этими частностями, застолбить участок. Или хоть просто блеснуть интеллектом, остроумием догадки. Неважно даже, истинна догадка или только кажется такой — важно блеснуть. Приходи, кума, мной любоваться!..

А это очень важно, если она — истина. Мир — волнение среды?

Материя едина. Она существует в пространстве и времени, но сами пространство и время есть категории материи; они материальны. В материи все взаимосвязано. В ней все течет, все меняется.

Это мы проходили на философских семинарах, лихоманили на зачетах, но воспринимали (если воспринимали!) лишь умом: очень уж идея о единстве материального мира трудно согласуется с наблюдаемым — отрывочным и пестрым — разнообразием природы: тут тела, там воздух, там пустота, там холодно, там жарко, там зелено, там сырьо.

А воспринимать надо просто и прямо: есть вязкая (взаимосвязанность!) материальная среда, которая включает в себя и пространство, и время, и нас самих со всеми чувствами и мыслями. Посторонний — не от мира сего — наблюдатель увидел бы всю среду, как мы видим воду. Наш мир выглядел бы для него серым четырехмерным волнением — со смутными сгустками-телами, со струями, вихрями... и не знаю, с чем еще. И не различил бы он в нем ни звезд, ни планет, ни лесов, ни закатов, ни лиц человеческих... Мы различаем, потому что мы от мира сего. Для нас наблюдать — значит взаимодействовать. Потому-то так глубоко и запрятан от нас факт единства материи, что все воспринимаемое влияет на меня, волну материи: одно усиливает амплитуду, другое искаражает форму, третья удлиняет время существования, четвертое укорачивает его... Все по-разному.

Это похоже на музыку: звуковые колебания, нарастая, устанавливаясь на уровне, затем слабея, образуют ноту, элементарную цельность, «атом музыки». Ноты слагаются в цельности-аккорды, в цельности-мелодии; это «кристаллы», «комья», «волокна» музыки. И все они складываются в нечто еще более цельное — в симфонию или в песню.

Это похоже на волнение моря: мелкие волнишки, на-

кладываясь, образуют крупную, а из тех выстраиваются валы. Серия валов — с «девятым», максимальным, посредине — тоже волна. Да и весь штурм — волна-событие, ибо он не всюду, он начался и кончится.

...Это ни на что не похоже, потому что вселенское волнение материи — с возникновением, развитием и распадом галактических вихрей и звездно-планетных всплесков — четырехмерно. Все, что мы видим, слышим, чувствуем, лишь частные проявления его. Вот его и надо понять. А частицы... что частицы!

И снова утро, и снова крестится на электрочасы тетя Килия.

...Я тоже знаю молитву. Ей меня выучила бабушка Дарья в селе, в войну — для панихиды об отце, когда пришла похоронка. «Сам един еси бессмертный, сотворивый и создавый человека, земний ибо от земли создахомся и в землю туюдже пойдем, яко повелел еси, сотворивый мя и рекий мя, яко земля еси и в землю отыдеши...»

«Земля еси и в землю отыдеши...» Обобщим: среда еси — и в среду отыдеши. Ничто не ново в мире. Кто-то умный давно понял этот великий, поистине библейской простоты и беспощадности закон единства материального волнения. А потом кто-то глупый дал ему имя «бог».

Занятно: о чем ни возьмусь думать, все ведет меня к той же идее. И частицы, и музыка, и старая молитва... Впрочем, так и надо: правильная идея о материи должна обнимать все.

Лечу над морем. Самолет идет низко, и из моего иллюминатора видна динамичная картина штурма: валы мерно набегают на берег, бьют в него, разваливаются в брызгах и пене, откатывают, снова набегают... Но вот самолет взял курс в открытое море, берег ушел из поля зрения, и — о чудо! — штурмовое волнение застыло. Есть и валы, и впадины между ними, но все это выглядит убедительно неподвижным. Будто это вовсе и не вода.

Только если долго смотреть, можно заметить медленное — куда более медленное, чем общий бег волн к берегу! — перемещение валов относительно друг друга: их гребни то слегка сближаются, то отделяются. Чуть меняются и высоты валов, появляются или исчезают пенистые барашки на них...

Вот она, разгадка устойчивости мира, в котором жи-

вем! Это меня озадачивало: как так, мир есть волнение материи — а формы тел и их расположение долго сохраняются? Да ведь потому и сохраняются, что мы — всплески материи: и волна-солнце, и волны-планеты, и волнишки-горы на них, и даже волна-самолет, и я в нем... все мчим в основном в одном направлении, в направлении существования (по времени?), с огромной скоростью (не со скоростью ли света? Именно она должна быть скоростью распространения возмущений в среде; да и энергия покоя тел $E=Mc^2$... хорош «покой»!). Этот бег воли можно заметить только с неподвижного «берега»; но его нет во вселенной, а если и был бы, мы-то не на «берегу»! А так мы можем заметить только изменения в картине взаимного расположения тел-волн вокруг, то есть относительное движение.

...Какое у меня сейчас великолепное ощущение ценности своей жизни: когда боишься умереть только потому, что не все понял, не закончил исследование!

И все это не то, и все это не так! Я могу написать немало соединенных в интересные предложения слов, могу сдобрить их уравнениями и формулами, — чтобы посредством всего этого объяснить свою идею другим.. А вот насколько я понимаю ее сам? Ведь предмет ее не где-то в космосе и не под микроскопом, не в колбе; этот «предмет» — все. И вокруг меня, и во мне, и в других. Просто все. Истина выражена самим фактом существования мира.

Сегодня, 25 декабря, я, кажется, воспринял вселенское волнение. Или оно мне пригрезилось?.. Я и сейчас еще прихожу в себя. Впечатление было сильное, не так просто его описать.

Час назад, в одиннадцать, я лег спать. Сразу, как водится, не уснул: лежал, думая все о том же. Расслабил тело, сосредоточился мыслью: вот она, среда, всюду и возле моей кожи, и во мне! Пришло полузабытье, в котором мысли переходят в зыбкие образы, а те расплываются в причудливые ощущения. Вот тогда и произошло что-то, отчего я вскочил вдруг — весь в поту и с колотящимся сердцем.

Что же было? Сначала были словесные, понятийные мысли. Взамен появились какие-то призрачно зримые (хотя глаза, понятно, были закрыты) блики, колеблю-

щиеся струи — золотисто-желтого цвета почему-то. Они мельтешили, сплетались в вихри, снова растекались. Потом волнение стало... каким-то более общим, что ли? (До чего же здесь бессильны слова!) Оно распространялось по телу чередованиями тепла и холода, упругости и расслабленности, становилось плавнее и молчее. И я даже понимал, что это мелкие частные пульсации во мне сливались, складывались в более крупные, а те совпадали с внешним ритмом. Вот и биения сердца совпадали с ним. Меня — и по мышечным, и по тепловым ощущениям — будто стало колыхать на волне: от правого бока к левому, потом пошли волны и вдоль тела. Они не только колыхали, но и слегка то расширяли, то сжимали меня. Словом, я вроде как начал пульсировать.

Но я еще чувствовал себя отдельным телом, только погруженным во что-то объемно колеблющееся. Потом — видно, внешние ритмы целиком подчинили внутреннее мое волнение — перестал это чувствовать! Откуда-то извне приходило тепло — мягкое, будто живое; оно превращалось в жар. Стал ощущать, что будто растекаюсь, плавлюсь... и тут импульс животного испуга, ужаса напряг тело! Я вскочил.

Что же это было? Температура 36,7°, идеальная норма.

Этот толчок внутреннего ужаса... Сейчас такое чувство, будто спасся: летел в пропасть, но успел ухватиться за камень. Боюсь снова лечь в постель. И никогда я не был психом... Во внешнем растворялось мое «я»?

Это и было то самое понимание, которого я столь декларативно желал и ждал? Гм... Скорее даже не оно, только подступ к нему.

Брось ты это дело, Калуга! Брось, пропадешь! Займись обычной наукой, делай докторскую. Или снова женись — будешь заботиться, сориться, растить детей; все отвлечешься... А то пропадешь ни за понюх табаку. Ну их, эти страсти!

А ведь не брошу...»

Эта запись была отчеркнута красным карандашом следователя. «Да, действительно», — качнул головой Кузин.

«Даю — под впечатлением той ночи — Энергетическую Теорию Интуиции. Или Теорию Интуитивного Резонанса, как угодно.

1. Что такое интуиция, никто не знает. Знают лишь, что она есть и что ею можно руководствоваться в оценке сообщений и в предвидении дальнейшего не хуже, чем логикой (кстати, что такое логика, тоже толком не ясно). И тем и другим путем мы пытаемся составить верное представление о действительности, понять истину. Можно определить так: интуиция — понимание конкретной истины не путем рассуждений, а по какому-то внутреннему сигналу в нашей психике.

Сигнал этот, хоть и относится к «тонким движениям души», несомненно, материален. Какая же его природа?

2. Каждый, кому приходилось понимать или создавать новое: изобретать, открывать, решать сложную жизненную задачу (это важно, что жизненную!), знает, что в момент понимания или правильного решения исчезает усталость, даже если бился над проблемой днями и ночами. Человек чувствует прилив сил, бодрость, хорошее настроение, желание работать еще и еще — и нетрудно ему, даже тянет.

Так было и у меня, когда пришел к «штейной» идее о переменных микрочастицах, так было и в других догадках о свойствах волнующейся материи. Так бывало и раньше, когда в работе или в жизни приходил к истинному решению. Поднимается тонус, хочется счастливо смеяться, неизвестно откуда берутся силы... Такое состояние — по сути, единственный факт о природе человеческого творчества. Его именуют «озарением», «вдохновением», «наитием», но все это словеса. Строгая его суть в том, что в человеке возникает прилив энергии.

И наоборот: когда от внешних причин или по легкомыслию сбился с пути к пониманию — чувствуешь туной упадок сил, руки опускаются.

Что же это за энергия понимания истины, откуда она берется в человеке? И ведь впечатло, явно не от еды и питья.

3. Вникнем в механизм познания человеком действительности. Из среды в меня проникают сигналы. Ассортимент их огромен; мы обычно выделяем те, которые можно отнести к органам чувств (обоняние, зрение, слух, осязание, вкус, равновесие), — но это далеко не все. Есть и чувства симпатии или неприязни, тревоги, заботы, юмора, уверенности, любопытства... всех не перечтешь. Они есть, хотя специальные органы для них установить затруднительно.

Все сигналы, объединяясь, создают во мне (в мозгу? — наверно, не только...) некий чувственный образ — модель среды. Когда ощущения неполны или искажены, модель неправильно отражает внешний мир; когда же они достаточно полны и не искажены, она близка к реальности.

Ясно, что сигнал интуиции — это ощущение близости модели во мне к изучаемой действительности. Почему есть такое ощущение и почему оно выражается приливом энергии?

4. Пока мы считаем, что реальность это пестрое на-громождение статичных тел и независимых явлений, понять это невозможно. Иное дело, если полагать, что реальность — сложное, но единое пространственно-временное волнение материи. Тогда отражающая эту реальность модель — тоже четырехмерное волнение во мне, в субъекте. И когда волнение-реальность и волнение-модель похожи — возникает резонанс...»

«Ого! — Виталий Семенович, который уже несколько устал от чтения блокнотов и подумывал лечь спать, вдруг и сам почувствовал бодрость, живой интерес и прилив энергии. — Интересно! Этого мне Дмитрий Андреевич не рассказывал...»

«...А резонансные колебания, милостивые государи, тем и отличаются от нерезонансных, что, где бы они ни возникли: в камертоне, в мостах, в радиоконтуре, в нервной системе (то есть во мне), — они почти не требуют подпитки энергией. Значит, на поддержание в себе любой модели мира, кроме истины (а ведь даже отсутствие у человека определенных представлений о мире, незнание, — есть ложная модель!), человек затрачивает изрядную энергию. Когда же он приходит к истине, эта энергия высвобождается.

Поехали дальше (рука сама пишет — вот оно, интуитивное подтверждение, что иду верно!). Но реальность — не простенькие синусоиды, как для радиоконтура или камертона; это сложнейшее объемное волнение со множеством гармоник. Нас же обычно занимает какая-то частность: отдельное явление, свойство, факт или взаимосвязь немногих фактов, то есть одна или несколько гармоник из вселенского волнения материи. До остального нам дела нет; ведь именно куцые отрывочные истины легко реализовать на рынке житейских отношений — для заработ-

ка или самоутверждения... Я это вот к чему: если, нащупав истинную модель малой частности (иначе говоря, войдя в интуитивный резонанс с одной или немногими гармониками волнения), человек испытывает заметный прилив энергии, — то какое же огромное количество энергии высвободится в нем, если он вдруг поймет все? Не словами, не уравнениями — а почует всю истину о мире и себе!

Основная беда нынешнего мира в том, что люди не по уму могущественны. Оттого и боимся атомных бомб, которые сами выдумали, сильнее стихийных бедствий.

А здесь — без кнопок, которые любой кретин нажать может, иначе: понимаешь глубоко действительность — приобретаешь дополнительный запас энергии. Не понимаешь — не обессудь.

Энергия колебаний пропорциональна частоте колебаний. Это значит, что наибольший запас энергии во мне — на уровне частиц и атомов: их частоты порядка 10^{23} — 10^{21} герца. Потом идут молекулярные колебания с частотами от 10^{20} в легких молекулах до 10^{12} — 10^9 в тяжелых белковых. Потом идет диапазон «живых колебаний» во мне: вибрации мышечных клеток и волокон, пульсации в нервных тканях, упруго-звуковые колебания в костях, сухожилиях, в разных перепонках — и так до циркуляции крови, биений сердца, дыхания, обмена веществ.

Резонанс на атомно-молекулярном уровне даст почти неисчерпаемый поток энергии, не меньше, чем при термоядерном синтезе. Но добраться до него не просто: надо сперва войти в резонанс на уровне дыхания и сердцебиений, потом на уровне нервных, клеточных и упругих колебаний. А там — видно будет.

...Ни черта там не будет видно, любезный Калуга, и ничего ты так не достигнешь! Уже все разложил по полочкам, замелькали числа и термины: «резонанс», «частоты», «энергия»... Ведь это же энергия понимания — энергия мысли твоей, чувств твоих, жизни твоей! Не поможет здесь математическая теория, невозможны здесь опыты с приборами, ничего не дадут и обсуждения с коллегами. Только жизнью всей ты сможешь достичь резонанса-понимания.

Ну что же отложил ручку? Делай окончательный вывод.

Трудно...

Вон выходит что! Оказывается, во мне сильно это инстинктивное представление о счастье как о сытости, безопасности, теплом уюте, обладании женщиной, потомством, вещами, властью, славой... и т. д. Весь набор! Если его нет, то какие бы тебя ни осеняли идеи и откровения («Знаем мы эти песни!..»), считается, что тебе в жизни не повезло. А если есть, то держись его, своего счастья, как воинъ полушибка, и не мудрствуя. А мне уже четвертый десяток. И немножко есть, и можно добыть еще. Был бы я двадцатилетним мальчишкой...

Но я не пришел бы к этой идеи двадцатилетним мальчишкой.

А это входит в «условия эксперимента»: не отвлекать мысли и чувства ни на удержание такого счастья, ни на то, чтобы добыть еще — ни на чуть. Здесь же иначе не будет.

Трудно...

Мне не повезло? Мне неслыханно, дико, фантастически повезло: меня, обычновенного человека, посетила идея небывалой ценности, которая... нет, не перевернет и не потрясет мир, хватит его трясти и переворачивать! — но которая позволит людям понять, кто они и что, зачем живут, что должны и что не должны делать, чтобы жилось хорошо. Идея, которая может сообщить людям спокойную ясность и по-настоящему разумное могущество.

...Нет, нет, не мне осуждать и противопоставлять себя людям. Ведь и каждый человек, пусть даже бессознательно, стремится к истине и — хоть криво, с понятными ходами — идет к ней; иначе и культуры не было бы. Но если видишь прямой путь к истине, не виляй, иди по нему.

Я вижу. И надо мне понять все, почувствовать истину, овладеть энергией интуиции. Потом, если удастся, передам свое понимание другим. Для этого необходимо перво-на-перво отрешиться от привычной, затягивающей в суету и погоню за «счастьем» жизни. А если понадобится, то и от своего «я».

Пусть влечет меня поток жизни куда угодно и как угодно, я не буду отныне выгадывать в нем струю получение, а буду только наблюдать, вникать, познавать. Ходить — и думать, лежать — и думать, смотреть — и думать. Об одном.

16 марта. Чемоданчик сложен. Сейчас ухожу».

В этом блокноте оставалось еще много чистых страниц.

В четверг у Виталия Семеновича было достаточно времени, чтобы собраться с мыслями. И когда в пятницу утром явился следователь, то Кузин, твердо и ясно глядя в его обращенные к нему с надеждой глаза, сказал, что изучил блокноты и понимает, к какой необычной версии склоняется уважаемый Сергей Яковлевич. Но поддержать его не может: последние идеи покойного Калужникова — очевидный для любого физика бред... Как ни жаль, но надо все-таки допустить, что Дмитрий Андреевич имел свои хунту на них. Отсюда и поступки.

Нестеренко был ошеломлен, огорчен и даже пытался спорить:

— Ну, как же, Виталий Семенович!.. Ведь была вспышка. И произошла она именно там, где находился Калужников. А антиметеорит-то не падал, это же мы с вами прошлый раз ясно установили!..

— Да почему же ясно, Сергей Яковлевич? Мне вот как раз это не совсем ясно, не убежден я, что метеорит не падал... Ну, с аннигиляционной «бороздой» эксперты дали маху, согласен. Плохо опросили жителей. Однако уточнение, что «борозда» — вырытая людьми канава, не перечеркивает версию метеорита, Сергей Яковлевич, нет! Он ведь мог и не долететь до земли, а сгореть на определенной высоте над этим местом. Картина при этом останется той же: тепло-световая вспышка, остеклованность почв, радиация... Ведь и в «Заключении» речь идет не о центре, а об эпицентре вспышки, если помните. Это разные вещи. Так что здесь возможны вариантытолкований.

Нестеренко глядел на Кузина во все глаза: «Ну и ну!»

— А как насчет веса, состава и скорости метеорита? Их ведь вычислили по «параметрам» канавы! — Он не хотел сдаваться без боя. — И точку неба, откуда метеор якобы прилетел, по ним же.

— Н-ну... по-видимому, и в этом вопросе несколько оплошили — правда, не наши эксперты, а сэр Кент с сотрудниками. Хотя в принципе нельзя оспорить, что антиметеорит был и массивным, и довольно плотным: с одной стороны, целое озеро испарилось, а с другой — почва оплавлена локально. — Кузин сам почувствовал шаткость своих доводов и поспешил заключить: — Это все уже вто-

ростепенные детали, они сами ничего не доказывают и не отменяют.

Минута прошла в неловком молчании.

— Ну а блокноты и показания Алютина я им все-таки перешлю, — сказал следователь. Он взял папку, встал.

— Конечно, перешлите. Ваш долг, так сказать... Но... хотите знать мое мнение? Ничего не будет.

— Почему? — угрюмо спросил Нестеренко, поглядывая на дверь: ему, по правде говоря, вовсе не хотелось знать мнение Кузина, а хотелось только скорей уйти.

— Понимаете, если бы это попало к экспертам в самом начале, когда они расследовали тобольскую вспышку, то сведения оказались бы кстати. Показания насчет капавы даже несомненно повлияли бы на выводы комиссии. А теперь — нет. Упущен момент, Сергей Яковлевич, еще как упущен-то! Уже сложились определенные мнения, по этим мнениям предприняты важные действия: конференции, доклады, книги...

Виталий Семенович видел, что Нестеренко разочарован и огорчен беседой, — и то, что он нехотя расстроил этого симпатичного парня, было ему неприятно. Он старался скрасить впечатление чем мог.

— Нет, пошлите, конечно, — он тоже поднялся из-за стола. — Ну-с, Сергей Яковлевич, пожелаю вам всяческих успехов, приятно было с вами познакомиться. Если еще будут ко мне какие-либо дела, я всегда к вашим услугам.

Последнее было сказано совершенно не к месту. Виталий Семенович почувствовал это и сконфузился. Они распостились.

...Настоящий, стопроцентный трус — он потому и трус, что ему никогда не хватает духу признаться себе в своей трусости. Он придумывает объяснения.

Эпилог. Последняя гипотеза о гибели Калужникова

Ужаснись, небо, и вострепещи,
земле, преславную тайну видя!..

Протопоп Аввакум,
Послание святым отцам.

Теплый ветер колыхал траву. Калужников шагал по степи в сторону Тобола, рассеянно смотрел по сторонам. Зеленая, с седыми пятнами ковыляя волнистая поверх-

ность бесконечно распространялась на восток, на север и на юг; с запада ее ограничивали невысокие, полого сходящие на нет отроги Уральского хребта.

— Дядь Дима-а-а! — донес ветер тонкий голос.

Он оглянулся. На пологом пригорке, зелень которого рассекала пыльная лента дороги, стоял Витька. Правой рукой он придерживал дышло двухколесной тачки, левой махал Калужникову. Тот вышел к дороге. Витька, поднимая тачкой и босыми ногами пыль, примчал к нему.

— А я вас еще вон откуда увидал, от бахчи, — сообщил он.

— Угу... Тачку-то зачем волокешь?

— А тятенька велели — рыбу везти. Так-то ведь не унесем, она повалит теперь — успевай вёршу очищать. Уже кончили канал-то?

— Да, пожалуй. Там твой батя остался, должен кончить.

— Ой, дядь Дима, пошли скорейча!

— Во-первых, никуда без тебя твоя рыба не денется. А во-вторых... Ну ладно, садись на свою телегу.

Витька с радостным сопением взобрался на тачку. Калужников ухватил дышло и — держись! — помчал, благо дорога шла под гору.

Пробежав с тачкой полкилометра, он запыхался. Витька слез и рыцарски предложил:

— А теперь давайте я вас.

— Ладко уж, воробей! Дойдем и так, близко.

Вдали виднелась кайма тальника на берегу Тобола. Вскоре вышли к озеру.

Трофим Никифорович стоял на бугре и курил; у ног валялась лопата. Он поглядел на подходивших Калужникова и Витьку, на тачку — и сердито отвернулся. В вершу, установленную на выходе канала, била струя — прозрачная и тонкая, как из кружки. Сквозь канал просматривался камыш на берегу озера Убисенного и игра света на воде. Поток шел глубиной едва ли с мизинец.

Калужников осмотрел сооружение.

— Перемычку надо было оставить, дядя Трофим, да копать глубже. Какая же серьезная рыба в такую воду пойдет!

— А где ты раньше был со своими советами — перемычку? — закричал кузнец. — Надо самому доводить, раз уж взялся! Много вас теперь, таких советчиков... Перемычку!..

— Ну ничего, может, размоет. А не размоет, так засыплем да прокопаем глубже.

— Размоет... жди теперь, пока размоет! Здесь грунт плотный. А засыпать — тоже жди, пока высохнет. В грязи не очень-то поковыряешься, у меня и без того ревматизм.

В вершу за час понабивались ерши. Некоторые были настолько мелкие, что проскальзывали сквозь прутья и уплывали по ручейку в Тобол. А те, что покрупнее, просовывали между прутьями головы и пучили на людей мутные глазки. Кузнец нагнулся, вытащил одного.

— Сплошные сопли, мат-тери их черт! — Отшвырнул, вытер пальцы о штаны.

— А маменька тесто поставили, — расстроенно сказал Витька. — Для рыбного пирога.

Алютин докурил папиросу, бросил, растоптал и выругался так крепко, что лягушки зелеными снарядами попрыгали в Тобол.

Калужников морщился-морщился, не выдержал и расхохотался, да так, что сел. Глядя на него, запрысал в ладошку и Витька. За ним рассмеялся и кузнец.

— Ох, Димка, Димка, и где только была твоя голова с этой перемычкой! Я ж не понимаю, рабочая сила... Э, ну тебя! Не там где-то твои мысли, не отыхать ты сюда приехал — все про науку свою думаешь. Разматывай удочки, Витька, надо хоть так наловить — иначе нам лучше и домой не возвращаться!

На их счастье, на сей раз ловилась рыбка — и большая и маленькая. Дядя Трофим подобрел, а после ужина, в меню которого была печеная картошка с печеными же в костре окунями, выпив оставленную на открытие канала четвертинку, и вовсе захорошел.

Остатки облаков расположились параллельными белорозовыми полосами. Они чередовались с просветами быстро синеющего неба. «Вот и в воздухе обнаружились ритмы, волны. С чего бы, казалось? Ветер дул по-всякому, влага тоже испарялась где так, где иначе... а все сложилось в волны». Калужников чуял приближение знакомого и желанного состояния ясности.

— ...Оставался бы у нас, был бы первый парень в крепости, — толковал дядя Трофим. — Вон Кланька-то на тебя как глядит, Димакова-то: хошь женись, хошь так... А ты все думаешь, думаешь! И глаза у тебя от мыслей какие-то мертвые. Нет уж, лучше я буду каж-

дый день станичному бугаю кольцо в нос ковать, чем этой вашей наукой заниматься... Эх, где мой тридцать лет! Вот я казаковал...

Калужников слушал и не слушал. За отрогами дотлевал закат. Волны-облака стали сизо-багровыми. Звенел ручеек из канала. Ныли комары. В озере Убиенном, провожая день, играла рыба.

Трофим Никифорович погрузил на тачку вершу, лопаты, удочки, растолкал клевавшего носом сына, крикнул Калужникову:

— Ну что, пошли?

— Идите, я еще побуду.

— Смотри: отставать, да догонять... Или ты не домой пойдешь?

— Может быть.

Скрип колес тачки, бормотанье Трофима Никифоровича, шаги — все удалилось. Темнело. Сник ветер. Успокоился плеск рыб в озере и реке. Постепенно установилась тишина — тот всеобъемлющий и торжественный покой в природе, когда неловко даже сильно вздохнуть.

Дмитрий Андреевич осторожно, чтобы не нарушить невзначай тишину, перевернулся па спину, закинул руки за голову. В темно-синем небе загорались первые звезды. Раньше у него была привычка узнавать созвездия, вспоминать названия приметных звезд. Теперь же он просто смотрел.

Он перестал замечать, как течет время, только чувствовал, что материальный поток, чуть вибрируя упруго — в ровном дыхании, в ударах сердца, — несет его вместе с теплой степью, рекой, озером, тихим небом в бесконечность. «Будто Волга», — подумалось ему. Он вспомнил, как купался в Волге ниже Горького и его несло ровное, но быстрое течение, какое нельзя было предположить по виду величественной реки.

Другая картина сменила эту в памяти Калужникова, картина шторма на море. Он часами стоял на берегу, цепенея перед простой, как музыка, и сложной, как музыка, правдой волнения.

...Белые от ярости волны поднимаются в атаку, налетают на берег — и откатываются, скрежеща галькой.

Стало совсем темно, нельзя было различить, где кончается степь и начинается небо, — разве только по обильным немерцающим звездам, которые смотрели на

него сквозь очистившийся от облаков воздух. И он смотрел на звезды. В нем нарастало отречение от себя — мощный всплеск интуитивного слияния.

Совпало с волнением среды дыхание. Сердце стало биться в такт чему-то властному, теплому, понятному. Складывались в единый трепет тела пульсации мышц, нервов, крови — и светлый жар нарастал в нем.

Уже не было мыслей, не было слов и образов. Инстинкт самосохранения — последний сторож личности — на миг напомнил о себе судорогой первого холода, распространявшегося от солнечного сплетения. Калужников подавил ее, приподнялся на локтях:

— Ну?! Не боюсь. Ну!..

Сейчас его переполняло чувство любви ко всему — той чистой жертвенной любви, которую он так и не испытал ни к одной из женщин. «Отдать себя, чтобы понять — это не смерть. Это не исчезнуть, а превратиться в иное... потому что вечна жизнь во вселенной!» И не было страха ни перед чем.

И бесконечность пространства открылась ему, открылась в понимании! Вместо плоской картины «неба» и «созвездий» он вдруг увидел, что одни звезды — преимущественно яркие — гораздо ближе к нему, те, что по-слабей, — далеко за ними, а россыпи самых тусклых и вовсе далеко-далеко и сходятся в немыслимо огромный, но теперь обозримый им галактический клин. Он видел сейчас это так же просто, как видел бы деревья, за ними — разделенные полями рощи, а за ними лес на горизонте... И все звезды были центрами всплесков во вселенском море материи, и за ними было еще пространство, и еще, и еще!

И бесконечность времени открылась ему. Сейчас он прозревал начала и концы.

...Волна материи — метагалактика — собралась в четырехмерном пространстве, взбухла за сотни миллиардов лет, закрутилась необозримым вихрем. Струи этого вихря изрядили волны и течения помельче — из них свились спирали галактик, а те раздробились на еще меньшие — звездные — струи и круговороты. И мчатся, вьются во времени эти вязкие сгустки: звезды, планеты, тела; а на краях их, рыхлящихся от перехода в спокойную среду, в пространство, снуют, суетятся, петляют друг около друга самые гибкие и верткие струи-сгустки — активные, запоминающие. Они и есть жизнь —

рыхлая и гибкая плесень на поверхности всплесков-миров.

...Опадет метагалактическая волна, разбоятся на многие рукава галактические потоки материи, растекутся ручьями вещественные вихри звезд и планет — «мертвое вещество», песясь и растекаясь, станет переходить в живые тела-струи. Они будут не такими, как раньше, и разными в разных местах, но они — *будут*. Потому что вечна жизнь во вселенной, никогда она не произошла и никогда не кончится. Будет она переходить от эпохи к эпохе во времени, от миров к мирам в пространстве, изменяясь, но не исчезая — ибо жизнь и есть извечное волнение материи.

Ясность нарастала чудесной, никогда не слышанной музыкой, переливами тепла в теле, приступом восторга и грозового веселья, ощущением, что сейчас он полетит.

Он увидел, как осветилась трепетным светом трава вокруг, край канавы, затем кустарник у реки, гладкая вода, обрыв на том берегу — и все дальше и ярче, ярче, ярче! — и уже не удивился тому, что это его свет озаряет все и проникает все.

Вспышка, слепящая бело-голубая вспышка взметнулась над бугром! Она осветила и зажгла тихую степь, пробудила собак в окрестных селениях, испарила озеро, оплавила землю.

Среда приняла Первооткрывателя в себя.

Альфред Бестер

НОЧНАЯ ВАЗА С ЦВЕТОЧНЫМ БОРДЮРОМ

— И в завершение первого семестра курса «Древняя история 107», — сказал профессор Пол Муни*, — мы попробуем восстановить обычный день нашего предка, обитателя Соединенных Штатов Америки, как называли в те времена, то есть пятьсот лет назад, Лос-Анджелес Великий.

Мы назовем объекта наших изысканий Джуксом — одно из самых славных имен той поры, снискавшее себе бессмертие в сагах о кровной вражде кланов Калиак и Джукс.

В наше время все научные авторитеты сошлись на том, что таинственный шифр ДЖУ, часто встречаемый в телефонных справочниках округа Голливуд Ист (в те времена его именовали Нью-Йорком), к примеру: ДЖУ** 6-0600 или ДЖУ 2-1914, каким-то образом генеалогически связаны с могущественной династией Джуксов.

Итак, год 1950-й. Мистер Джукс, типичный холостяк, живет на ранчо возле Нью-Йорка. Он встает с зарей, надевает спортивные брюки, натягивает сапоги со шпорами, рубашку из сырой кожи, серый фланелевый

* Все герои рассказа носят имена «звезд» голливудского кино, известных в 1930—1960 годах. Многие из них — такие, как Грета Гарбо, Спенсер Трейсл, Одри Хэпберн и другие известны и советскому зрителю по фильмам «Дама с камелиями», «Нюрнбергский процесс», «Старик и море», «Война и мир», «Моя прекрасная леди».

** Телефонный индекс одного из районов Нью-Йорка.

жилет, затем повязывает черный трикотажный галстук. Вооружившись револьвером или кольтом, Джукс направляется в забегаловку, где готовит себе завтрак из приправленного пряностями планктона и морских водорослей. При этом он — возможно (но не обязательно) — застает врасплох целую банду юных сорванцов или краснокожих индейцев в тот самый момент, когда они готовятся линчевать очередную жертву или угнать несколько джуксовых автомобилей, которых у него на ранчо целое стадо примерно в полторы сотни голов.

Он расшивывает их несколькими ударами, не прибегая к оружию. Как все американцы двадцатого века, Джукс — чудовищной силы создание, привыкшее наносить, а также получать сокрушительные удары; в него можно запустить стулом, креслом, столом, даже комодом без малейшего для него вреда. Он почти не пользуется пистолетом, приберегая его для ритуальных церемоний.

В свою контору в Нью-Йорк-сити мистер Джукс отправляется верхом, или на спортивной машине (разновидность открытого автомобиля), или на троллейбусе. По пути он читает утреннюю газету, в которой мелькают набранные жирным шрифтом заголовки типа: «Открытие Северного полюса», «Гибель «Титаника»», «Успешная высадка космонавтов на Марсе» и «Странная гибель президента Хардинга».

Джукс работает в рекламном агентстве на Мэдисон-авеню — грязной ухабистой дороге, по которой разъезжают почтовые дилижансы, стоят пивные салуны и на каждом шагу попадаются буйные гуляки, трупы и певички в сведенных до минимума туалетах.

Джукс — деятель рекламы, он посвятил себя тому, чтобы руководить вкусами публики, развивать ее культуру и оказывать содействие при выборах должностных лиц, а также при выборе национальных геросов.

Его контора, расположенная на двадцатом этаже увенчанного башней небоскреба, обставлена в характерном для середины двадцатого века стиле. В ней имеется конторка с крышкой на роликах, откидное кресло и медная плевательница. Контора освещена лучом мазера, рассеянным оптическими приборами. Летом комнату наполняют прохладой большие вентиляторы, свисающие с потолка, а зимою Джуксу не дает замерзнуть инфракрасная печь Франклина.

Стены украшены редкостными картинами, принадлежащими кисти таких знаменитых мастеров, как Микеланджело, Ренуар и Санди. Возле конторки стоит магнитофон. Джукс диктует все свои соображения, а позже его секретарша переписывает их, макая ручку в черно-углеродистые чернила. (Сейчас уже окончательно установлено, что пишущие машинки были изобретены лишь на заре Века Компьютеров, в конце двадцатого столетия.)

Деятельность мистера Джукса состоит в создании вдохновенных лозунгов, которые превращают половину населения страны в активных покупателей. Весьма немногие из этих лозунгов дошли до наших дней, да и то в более или менее фрагментарном виде, и студенты, прослушавшие курс профессора Рекса Гаррисона «лингвистика 916», знают, с какими трудностями мы столкнулись, пытаясь расшифровать такие изречения, как: «Не сушить возле источников тепла» (может быть, «шепла»?), «Решится ли она» (на что?) и «Вот бы появиться в парке в этом сногшибательном лифчике» (невразумительно).

В полдень мистер Джукс идет перекусить, что он делает обычно на каком-нибудь гигантском стадионе в обществе нескольких тысяч подобных ему. Затем он снова возвращается в контору и приступает к работе, причем пропу не забывать, что условия труда в то время были настолько далеки от идеальных, что Джукс вынужден был трудиться по четыре, а то и по шесть часов в день.

В те удручающие времена неслыханного размаха достигли ограбления дилижансов, палеты, войны между бандитскими шайками и тому подобные зверства. В воздухе то и дело мелькали тела маклеров, в порыве отчаяния выбрасывавшихся из окон своих контор.

И нет ничего удивительного в том, что к концу дня мистер Джукс ищет духовного успокоения. Он обретает его на ритуальных сборищах, именуемых «коктейль». Там, в густой толпе своих единоверцев, он стоит в маленькой комнате, вслух вознося молитвы и папортия воздух благовонными курениями марихуаны. Женщины, участвующие в церемонии, нередко носят одеяния, имеющие «платье для коктейля», известные также под названием «шик-модерн».

Свое пребывание в городе мистер Джукс может завершить посещением ночного клуба, где посетителей развлекают каким-нибудь зелищем. Эти клубы, как прави-

ло, располагались под землей. При этом Джукса почти каждый раз сопровождает некий «солидный счет» — термин маловразумительный. Доктор Дэвид Нивен весьма убедительно доказывает, что «солидный счет» — это не что иное, как слэнговый эквивалент выражения «доступная женщина», однако профессор Нельсон Эдди справедливо замечает, что такое толкование лишь усложняет дело, ибо в наше время никто понятия не имеет, что означают слова «доступная женщина».

И наконец, мистер Джукс возвращается на свое ранчо, причем едет на поезде, ведомом паровозом, и по дороге играет в азартные игры с профессиональными шуллерами, наводнявшими все виды транспорта той поры. Приехав домой, он разводит во дворе костер, подбивает на счетах дневные расходы, пытается грустные мелодии на гитаре, ухаживает за одной из представительниц многотысячной орды незнамок, имеющих обычай набредать на огонек в самое неожиданное время, затем завертывается в одеяло и засыпает.

Таков был он, этот варварский век, до такой степени первозданный и истеричный, что лишь очень немногие доживали до ста лет. И все же современные романтики вздыхают о той чудовищной эпохе, полной ужасов и бурь. Американа двадцатого века — это последний крик моды. Не так давно один экземпляр «Лайфа», нечто вроде высыпаемого для заказов по почте каталога товаров, был приобретен на аукционе известным коллекционером Клифтоном Уэббом за 150 тысяч долларов. Замечу кстати, что, анализируя этот антикварный образчик в своей статье, напечатанной в «Философикал Транз-экшнз», я привожу довольно веские доказательства, позволяющие усомниться в его подлинности. Целый ряд анохронизмов наводит на мысль о подделке.

А теперь несколько слов по поводу экзаменов. Возникшие недавно слухи о каких-то неполадках в экзаменационном компьютере — чистый вздор. Наш компьютер-ropsихиатр уверяет, что «Мульти III» подвергся основательному промыванию мозгов и заново индоктринирован. Тщательнейшие проверки показали, что все ляпсусы были вызваны небрежностью самих студентов.

Я самым настоятельным образом прошу вас соблюдать все установленные меры стерилизации. Перед сдачей экзаменов аккуратно вымойте руки. Как следует наеньте белые хирургические шапочки, халаты, маски и

перчатки. Проследите за тем, чтобы ваши перфокарты были в образцовом порядке. Помните, что самое крохотное пятнышко на вашей экзаменационной перфокарте может все погубить. «Мульти III» — не машина, а мозг, и относиться к нему следует столь же бережно и заботливо, как к собственному телу. Благодарю вас, желаю успеха и надеюсь вновь встретить всех вас в следующем семестре.

Когда профессор Муни вышел из лекционного зала в переполненный студентами коридор, его встретила секретарша Энн Сотерн. На ней был бикини в горошек. Перекинув через руку профессорские плавки, Энн держала поднос с бокалами. Кивнув, профессор Муни быстро осушил один бокал и поморщился, ибо как раз в эту секунду грянули традиционные музыкальные позывные, сопровождавшие студентов при смене аудитории. Рассовывая по карманам свои заметки, он направился к выходу.

— Купаться некогда, мисс Сотерн, — сказал он. — Мне сегодня предстоит высмеять одно открытие, знаменующее собой новый этап в развитии медицинской науки.

— В вашем расписании этого нет, доктор Муни.

— Знаю, знаю. Но Реймонд Массей заболел, и я согласился его выручить. Реймонд обещает заменить меня в следующий раз на консультации, где я должен уговорить некоего юного гения навсегда рас проститься с поэзией.

Они вышли из социологического корпуса, миновали каплевидный плавательный бассейн, здание библиотеки, построенное в форме книги, сердцевидную клинику сердечных болезней и вошли в паукообразный научный центр. Невидимые репродукторы транслировали новейший музбоеvik.

— Что это, «Ниагара» Карузо? — рассеянно спросил профессор Муни.

— Нет, «Джонстаунское половодье» в исполнении Марии Каллас, — откликнулась мисс Сотерн, отворяя дверь профессорского кабинета. — Странно. Могу поклясться, что я не тушила свет.

Энн потянулась к выключателю.

— Стоп, — резко произнес профессор Муни. — Здесь что-то неладно, мисс Сотерн.

— Вы думаете, что...

— На кого, по-вашему, можно наткнуться, когда входишь ненароком в темную комнату?

— С-с-скверные Парни?

— Именно они.

Гнусавый голос произнес:

— Вы совершенно правы, дорогой профессор, но, уверяю вас, наш разговор будет сугубо деловым.

— Доктор Муни! — охнула мисс Сотерн. — В вашем кабинете кто-то есть.

— Входите же, профессор, — продолжал Гнусавый. — Разумеется, если мне позволено приглашать вас в ваш собственный кабинет. Не пытайтесь найти выключатель, мисс Сотерн. Мы уже... гм... позабочились об освещении.

— Что означает это вторжение? — грозно спросил профессор.

— Спокойно, спокойно... Борис, подведите профессора к креслу. Этот доддон, что взял вас за руку, профессор, мой не ведающий жалости телохранитель, Борис Карлов *. А я — Питер Лорре.

— Я требую объяснений! — крикнул Муни. — Почему вы вторглись в мой кабинет? Почему отключен свет? Какое право вы имеете...

— Свет выключен потому, что вам лучше не видеть Бориса. Человек он весьма цолезный, но внешность его, должен вам сказать, не доставляет эстетического наслаждения. Ну а для чего я вторгся в ваше обиталище, вы узнаете сразу же, как только ответите мне на один или два пустяковых вопроса.

— И не подумаю отвечать. Мисс Сотерн, вызовите декана.

— Мисс Сотерн, ни с места!

— Делайте что вам говорят, мисс Сотерн. Я не позволю...

— Борис, подпалите-ка что-нибудь.

Борис что-то поджег. Мисс Сотерн взвизгнула. Профессор Муни лишился дара речи и осталбенел.

— Ладно, можете гасить, Борис. Ну а теперь, мой дорогой профессор, к делу. Прежде всего рекомендую отвечать на все мои вопросы честно, без утайки. Протяните, пожалуйста, руку. — Профессор Муни вытянул руку и ощущил в ней пачку кредитных билетов. — Это

* Борис Карлов — актер американского кино, снискавший известность в 30-е годы участием в фильмах ужасов.

ваш гонорар за консультацию. Тысяча долларов. Не угодно ли пересчитать? Поскольку здесь темно, Борис может что-нибудь поджечь.

— Я верю вам, — пробормотал профессор Муни.

— Отлично. А теперь, профессор, скажите мне, где и как долго изучали вы историю Америки?

— Странный вопрос, мистер Лорре.

— Вамплачено, профессор Муни?

— Совершенно верно. Так-с... Я обучался в высшем Голливудском, в высшем Гарвардском, высшем Йельском и в Тихоокеанском колледжах.

— Что такое «колледж»?

— В старину так называли высшее. Они ведь там, на побережье, свято чтят традиции... Удручающе реакционны.

— Как долго вы изучали эту науку?

— Примерно двадцать лет.

— А сколько лет вы после этого преподавали здесь, в высшем Колумбийском?

— Пятьнадцать.

— То есть на круг выходит тридцать пять лет научного опыта. Полагаю, что вы легко можете судить о достоинствах и квалификации различных ныне живущих историков?

— Разумеется.

— Тогда кто, по вашему мнению, является крупнейшим знатоком Американы двадцатого века?

— Ах вот что! Та-а-к. Чрезвычайно интересно. По рекламным проспектам, газетным заголовкам и фото, несомненно, Гаррисон. По домоводству — Тейлор, то есть доктор Элизабет Тейлор. Гейбл, наверно, держит первенство по транспорту. Кларк перешел сейчас в высшее Кембриджское, но...

— Прошу прощения, профессор Муни. Я неверно сформулировал вопрос. Мне следовало вас спросить: кто является крупнейшим знатоком по антиквариату двадцатого века? Я имею в виду предметы роскоши, картины, мебель, старинные вещи, произведения искусства и так далее.

— О! Ну тут я вам могу ответить без малейших колебаний, мистер Лорре. Я.

— Прекрасно. Очень хорошо. А теперь послушайте меня внимательно, профессор Муни. Могущественная группа дельцов от искусства поручила мне вступить

с вами в контакт и начать переговоры. За консультацию вам будет выдано авансом десять тысяч долларов. Со своей стороны вы обещаете держать наш договор в тайне. И усвойте сразу же, что если вы не оправдаете нашего доверия, тогда пеняйте на себя.

— Сумма порядочная, — с расстановкой произнес профессор Муни. — Но где гарантии, что предложение исходит от Славных Ребят?

— Заверяю вас, мы действуем во имя свободы, справедливости простых людей и лос-анджелесского образа жизни. Вы, разумеется, можете отказаться от такого опасного поручения, и вас никто не упрекнет, однако не забывайте, что во всем Лос-Анджелесе Великом лишь вы один способны выполнить это поручение.

— Ну что ж, — сказал профессор Муни. — Коль скоро, отказавшись, я смогу заниматься только одним: ошибочно подвергать осмеянию современные методы излечения рака, — я, пожалуй, соглашусь.

— Я знал, что на вас можно положиться. Вы типичный представитель маленьких людей, сделавших Лос-Анджелес великим. Борис, исполните национальный гимн.

— Благодарю вас, это лишнее. Слишком много чести. Я просто делаю то, что сделал бы любой лояльный, стопроцентный лосанджелесец.

— Очень хорошо. Я заеду за вами в полночь. На вас должен быть грубый твидовый костюм, надвинутая на глаза фетровая шляпа и грубые ботинки. Захватите с собой сто футов альпинистской веревки, призматический бинокль и тупоносый пистолет. Побезобразнее. Ваш кодовый номер 3-69.

— Это 3-69, — сказал Питер Лорре. — 3-69, позвольте мне представить вас господам Икс, Игрек и Зет.

— Добрый вечер, профессор Муни, — сказал похожий на итальянца джентльмен. — Я Витторио де Сика. Это — мисс Гарбо. А это — Эдвард Эверетт Хортон. Благодарю вас, Питер. Можете идти.

Мистер Лорре удалился. Профессор Муни внимательно поглядел вокруг себя. Он находился в роскошных апартаментах, построенных на крыше небоскреба. Все здесь было строго выдержано в белых тонах. Даже огонь в камине благодаря чудесам химии, пылал молочно-белым пламенем. Мистер Хортон нервно расхаживал перед

камином. Мисс Гарбо, томно раскинувшись на шкуре белого медведя, вяло держала пальчиками выточенный из слоновой кости мундштучок.

— Позвольте мне освободить вас от этой веревки, профессор, — сказал де Сика. — Думаю, что и традиционные бинокль и пистолет вам ни к чему. Дайте мне их. Располагайтесь поудобнее. Прошу простить наш безупречный вечерний наряд. Дело в том, что мы изображаем владельцев находящегося в нижнем этаже игорного притона. В действительности же мы...

— Ни в коем случае!.. — встревоженно воскликнул мистер Хортон.

— Если мы не окажем профессору Муни полного доверия, милый мой Хортон, и не будем совершенно откровенны с ним, у нас ничего не получится. Вы со мной согласны, Грета?

Мисс Гарбо кивнула.

— В действительности, — продолжал де Сика, — мы — могущественное трио дельцов от искусства.

— Та, та... так, значит, — взъярившись, пролепетал профессор Муни, — вы и есть те самые де Сика, Гарбо и Хортон?

— Именно так.

— Да, но как же... Ведь все говорят, что вы не существуете. Все считают, что организация, известная как «могущественное трио дельцов от искусства» в действительности принадлежит фирме «Тридцать девять ступенек»*, предоставившей свой контрольный пакет акций организации «Cosa Vostra»**. Утверждают, будто...

— Да, да, да, — перебил де Сика. — Нам угодно, чтобы все так считали. Именно потому мы и представали перед вами в виде зловещего трио владельцев игорного притона. Но не кто иной, как мы, мы втроем держим в своих руках всю торговлю предметами искусства и весь антикварный бизнес в мире, и именно поэтому вы сейчас и находитесь здесь.

— Я вас не понял.

— Покажите ему список, — проворковала мисс Гарбо.

Де Сика извлек лист бумаги и вручил его профессору Муни.

* Название детективного романа Джона Бьюканена.

** «Cosa nostra» (итал.) («Ваше дело»). Сравните с названием американской мафии «Cosa nostra» («Наше дело»).

— Будьте добры изучить этот список, профессор. Ознакомьтесь с ним очень внимательно. От выводов, к которым вы придете, зависит очень многое.

Автоматическая вафельница.

Утюг с паровым увлажнителем.

Электрический миксер (двенадцатискоростной).

Автоматическая кофеварка (шесть чашек).

Сковородка алюминиевая электрическая.

Газовая плита (четырехконфорочная).

Холодильник емкостью 11 кубических футов плюс морозилка на 170 фунтов.

Пылесос типа канистры с вениловым амортизатором.

Машинка швейная со шпульками и иглами.

Канделябр из инкрустированной кленом сосны в форме колеса.

Плафон из матового стекла.

Бра стеклянное провинциального стиля.

Лампа медная с подвесным выключателем и абажуром из мелкограненного стекла.

Будильник с черным циферблатом и двойным звонком.

Сервиз на восемь персон из пятидесяти предметов, никелированный, металлический.

Сервиз обеденный на четыре персоны из шестидесяти предметов в стиле Дюбарри.

Коврик нейлоновый (разм. 9 × 12, цвета беж).

Цыновка овальная, зеленая (разм. 9 × 12).

Половик пеньковый для вытирания ног, образца «Милости просим» (разм. 18 × 30).

Софá-кровать и кресло серо-зеленого цвета.

Круглая подушечка из рез. губки, подкладываемая под колени во время молитвы.

Кресло раскладное из пенопласта (три положения).

Стол раздвижной на восемь персон.

Кресла капитанские (четыре).

Комод дубовый колониальный для холостяка (три ящика).

Столик туалетный колониальный дубовый двойной (шесть ящиков).

Кровать французская провинциальная под балдахином (ширина 54 дюйма).

Профессор Муни в течение десяти минут внимательно изучал список, после чего издал глубокий вздох.

— Просто не верится, — сказал он, — что где-то в земных недрах может скрываться такой клад.

— Он скрывается отнюдь не в недрах, профессор.

Муни чуть не подскочил в своем кресле.

— Неужели, — воскликнул он, — неужели все эти драгоценные предметы существуют на самом деле?!

— Почти наверняка. Но об этом позже. Сперва скажите, вы как следует усвоили содержание списка?

— Да.

— Вы ясно представляете себе все эти вещи?

— Да, конечно.

— Тогда попытайтесь ответить на такой вопрос: объединяются ли все эти сокровища единством стиля, вкуса и специфики?

— Слишком самыслофато, Фитторио, — проворковала мисс Гарбо.

— Мы хотим знать, — вдруг вмешался в разговор Эдвард Эверетт Хортон, — мог ли один человек...

— Не торопитесь, мой милейший Хортон. Каждому вопросу свое время. Профессор, я, возможно, выразился несколько туманно. Я хотел бы узнать вот что: соответствует ли подбор коллекции вкусу одного человека? Иными словами, мог бы коллекционер, приобретший, ну, скажем, двенадцатискоростной электрический миксер, оказаться тем же лицом, которое приобрело пеньковый половик «Милости просим»?

— Если бы у него хватило средств на то и на другое, — усмехнулся Муни.

— Тогда давайте на одно мгновение чисто теоретически допустим, что у него хватило средств на приобретение всех указанных в списке предметов.

— Средств для этого не хватит даже у правительства целой страны, — отозвался Муни. — А впрочем, дайте подумать...

Он откинулся на спинку кресла и, сощурившись, впел в взгляд в потолок, не обращая ни малейшего внимания на наблюдавшее за ним с живейшим интересом могущественное трио дельцов от искусства.

Придав своему лицу многозначительное и глубоко мысленное выражение, он просидел так довольно долгое время и наконец открыл глаза и огляделся.

— Ну же? Ну? — нетерпеливо спросил Хортон.

— Я представил себе, что все эти сокровища собраны в одной комнате, — сказал Муни. — Комната, возник-

шая перед моим умственным взором, выглядела на редкость гармонично. Я бы даже сказал, что в мире почти нет таких великолепных и прекрасных комнат. У человека, вошедшего в такую комнату, сразу возникает вопрос, какой гений создал этот дивный интерьер.

— Так значит...

— Да. Я могу смело утверждать, что в декорировании, несомненно, проявился вкус одного человека.

— Ага! Итак, вы были правы, Грота. Мы имеем дело с одиноким волком. Профессор Муни, я уже сказал вам, что все указанные в списке вещи существуют. Я вам не солгал. Так оно и есть. Я просто умолчал о том, что мы не знаем, где они сейчас находятся. Не знаем по весьма основательной причине: все эти вещи украдены.

— Все? Не может быть!

— И не только все эти. Я мог бы дополнить список еще дюжиной предметов, менее ценных, из-за чего мы и решили, что не стоит перегружать ими список.

— Я убежден, что все это похищено у разных лиц. Если бы столь полная и всеобъемлющая коллекция Американы была собрана в одних руках, я просто не мог бы не знать о ее существовании.

— Вы правы. В одних руках такой коллекции не было и никогда не будет.

— Ми етофо не допустим, — сказала мисс Гарбо.

— Тогда как же все это украли? Откуда?

— Жулики, грабители! — крикнул Хортон, взмахнув бокалом, наполненным бренди с банановым соком. — Десятки воров. Одному такое дело не провернуть. Сорок дерзких ограблений за пятнадцать месяцев! Вздор, не поверю ни за что!

— Указанные в списке ценности, — продолжил де Сика, обращаясь к Муни, — были украдены за период, равный пятнадцати месяцам, из музеев, частных коллекций, а также у агентов и дельцов, занятых перепродажей антиквариата. Все кражи были совершены в районе Голливуд Ист. И если, как вы утверждаете, в подборе проявился вкус одного человека...

— Да, я утверждаю это.

— То, несомненно, мы имеем дело с *l'agé avis* — редкостным явлением: ловким преступником и в то же время коллекционером, тонко знающим искусство, или же, что еще опаснее, со златоком, в котором пробудился вор.

— Ну это совсем не обязательно, — вмешался Муни. — Для чего ему быть знатоком? Любой самый зурядный агент по торговле антиквариатом и предметами искусства мог бы назвать любому вору цену *старинного objets d'art*. Такие сведения можно получить даже в библиотеке.

— Я потому назвал его любителем и коллекционером, — пояснил де Сика, — что все украденное им как в воду кануло. Ни одна вещь не была продана ни на одной из четырех орбит нашего мира, невзирая на то, что за любую из них заплатили бы по-королевски. Ergo, мы имеем дело с человеком, который крадет все для собственной коллекции.

— Достаточно, Фитторио, — проворковала мисс Гарбо. — Задарайте следующий фопрос.

— Итак, профессор, мы допустили, что все эти сокровища сосредоточены в одних руках. Только что вы изучили список вещей, уже похищенных. Позвольте же спросить вас как историка, чего в нем не хватает? Какой последний штрих мог бы достойно увенчать эту столь гармоничную коллекцию, придав еще большее совершенство представшей перед вашим мысленным взором прекрасной комнате? Что смогло бы пробудить в преступнике коллекционера?

— Или преступника в коллекционере, — сказал Муни.

Он вновь, прищурившись, скосил глаза па потолок, а трое дельцов затаили дыхание. Наконец он пробормотал:

— Да... да... Конечно. Только так. Она поистине могла бы стать украшением коллекции.

— О чем вы? — крикнул Хортон. — О чем вы там толкуете? Что это за вещь?

— Ночная ваза с цветочным бордюром, — торжественно провозгласил профессор Муни.

Могущественное трио дельцов от искусства с таким изумлением воззрилось на Муни, что профессору пришлось пуститься в объяснения:

— Ночная ваза, именуемая также почным горшком, представляет собой голубой фаянсовый сосуд неизвестного предназначения, украшенный по краю белыми и золотыми маргаритками. Он был открыт в Нигерии около ста лет тому назад французским гидом-переводчиком. Тот привез его в Грецию, где и хотел продать, но был

убит, причем горшок исчез бесследно. Затем его видели у проститутки, которая путешествовала с паспортом гражданки острова Формозы и обменяла горшок на новейшее любовное средство «обольстин», предложенное ей лекарем-шарлатаном из Чивитавеккия.

Лекарь нанял швейцарца, дезертира Ватиканской гвардии, дабы тот охранял его по пути в Квебек, где лекарь рассчитывал продать ночной горшок канадскому урановому магнату, однако до Канады так и не добрался — исчез в пути. А спустя десять лет некий французский акробат с корейским паспортом и швейцарским акцентом продал вазу в Париже. Ее купил девятый герцог Стратфордский за миллион золотых франков, и с тех пор она является достоянием семейства Оливье.

— И вы считаете, — настороженно спросил де Сика, — что именно эта вещь может явиться украшением коллекции нашего знатока искусств?

— Я в этом убежден. Ручаюсь своей репутацией.

— Браво! Тогда все очень просто. Нужно сделать так, чтобы в печать просочились слухи о продаже ночной вазы. Согласно этим слухам вазу приобретает какой-нибудь знаменитый коллекционер, проживающий в Голливуд Ист. Пожалуй, более всего для этой роли подойдет мистер Клифтон Уэбб. Пресса с огромной помпой будет сообщать о том, как ваза пересекла океан и достигла голливудских берегов. Закинув наживку в особняк мистера Уэбба, мы будем только поджидать, когда преступник клюнет на нее и... хлоя! Попался!

— Да, но согласятся ли герцог и мистер Уэбб принять участие в этой игре?

— Еще бы. У них нет другого выхода.

— Нет выхода? Как вас понять?

— Мой милый доктор, в наши дни все сделки производятся только на основе сохранения за дельцом частичного права на проданную им собственность. От пяти до пятидесяти процентов стоимости всех похищенных преступником сокровищ остается за нами, именно поэтому мы так заинтересованы в том, чтобы их возвратить. Вы все поняли теперь?

— Все понял и вижу, что влип в хорошую историю.

— Это так. Но Питер вам заплатил.

— Да.

— Вы поклялись молчать?

— Да, я дал слово.

— Grazie *. Тогда, с вашего позволения, у нас еще немало дел.

Де Сика протянул профессору свернутую рулоном веревку, бинокль и тупоносый пистолет, но мисс Гарбо вдруг сказала:

— Стойте.

Де Сика метнул в ее сторону пытливый взгляд.

— Еще что-то, сага mia? **

— Фи с Хортоном можете идти саниматься делами, — проворковала она. — Питер может быть ему и саплатил, но я не саплатила. Остафьте нас паедине.

И кивком головы она указала профессору на шкуру белого медведя.

В особняке Клифтона Уэбба на Скурас Драйв в изысканно обставленной библиотеке инспектор сыска Эдвард Дж. Робинсон представлял своих помощников могущественному трио дельцов от искусства. Сотрудники стояли перед искусно сделанными фальшивыми книжными полками и сами выглядели не менее фальшиво в униформах домашней прислуки.

— Сержант Эдди Брофи, камердинер, — объявил инспектор Робинсон. — Сержант Эдди Альберт, лакей. Сержант Эд Бегли, шеф-повар. Сержант Эдди Майгофф, помощник повара. Детективы Эдгар Кеннеди, шофер, и Эдна Мэй Оливер, горничная.

Сам инспектор Робинсон был одет дворецким.

— А теперь, леди и джентльмены, ловушка целиком и полностью подстроена благодаря бесценной помощи возглавляемого Эдди Фишером гримерно-костюмерно-буффафорского отдела, равного которому не существует.

— Поздравляем вас, — сказал де Сика.

— Как вам уже известно, — продолжал инспектор Робинсон, — все уверены в том, что мистер Клифтон Уэбб купил ночную вазу у герцога Стратфордского за два миллиона долларов. Все также отлично знают, что ваза под защитой вооруженной охраны тайно перевезена из Европы в Голливуд Ист и в настоящее время покоятся в закрытом сейфе в библиотеке мистера Уэбба.

Инспектор указал на стену, где наборный замок сей-

* Благодарю (*итал.*).

** Моя дорогая? (*итал.*).

фа был искусно вставлен в пупок обнаженной скульптуры Амедео Модильяни (2381—2431) и освещен тонким лучом вмонтированного в стену фонаря.

— А где сейчас мистер Фэбб? — спросила мисс Гарбо.

— Мистер Клифтон Уэбб согласно вашему требованию, передав в наши руки свой роскошный особняк, — ответил Робинсон, — отправился в увеселительную поездку по Карибскому морю вместе с семьей и всеми служителями. Этот факт, как вы знаете, содержится в строгом секрете.

— Ну а как же ваза? — возбужденно спросил Хортон. — Где она?

— Конечно, в сейфе, сэр, где же еще ей быть?

— То есть вы в самом деле привезли ее сюда из дворца Стратфорда? Она действительно здесь? Бог ты мой! Зачем, зачем вам это?

— Нам было необходимо перевезти этот шедевр через океан. Иначе как бы мы добились, чтобы столь строгого охраняемая тайна стала известна в Ассошиэйтед пресс, Юнайтед телевижки и агентстве Рейтер? А как бы иначе удалось корреспондентам этих агентств тайком сфотографировать драгоценный сосуд?

— Ну-но... но если вазу и вправду похитят... Боже милостивый. Это ужасно!

— Леди и джентльмены, — сказал Робинсон. — Мои помощники и я — лучшая бригада в полиции района Голливуд Ист, возглавляемой достопочтенным Эдмундом Кином — будем неотлучно находиться здесь, номинально выполняя обязанности домашней прислуги, на самом же деле будителько наблюдая за всем, готовые отразить любой подвох и хитрость, известные в annалах криминалистики. Если что-нибудь и будет взято в этой комнате, то отнюдь не ночная ваза, а Искусник Кид.

— Кто, кто? — спросил де Сика.

— Да ваш искусствовед-ворюга. Мы его так прозвали. Ну а теперь не будете ли вы любезны украдкой удалиться сквозь потайную калитку в глубине сада, с тем чтобы мои помощники и я смогли приступить к исполнению наших домашних псевдообязанностей? У нас есть верные сведения, что Искусник Кид будет брать вазу сегодня ночью.

Могущественное трио удалилось под покровом темноты, а бригада сыщиков занялась хозяйственными делами,

дабы ни один прохожий, заглянув из любопытства через забор, не обнаружил в обиталище Клифтона Уэбба ничего необычного.

Инспектор Робинсон торжественно прогуливался взад и вперед по гостиной так, чтобы из окон был виден серебряный поднос в его руках с приклеенным к нему бокалом, хитроумно выкрашенным изнутри в красный цвет, дабы создать иллюзию, что в бокале — кларет.

Сержанты Брофи и Альберт, лакеи, попеременно носили к почтовому ящику письма, с изысканной церемонностью открывая друг другу дверь. Детектив Кеннеди красил гараж. Детектив Эдна Мэй Оливер вывесила для проветривания из окон верхнего этажа постельное белье. А сержант Бегли (шеф-повар) то и дело гонялся по дому за сержантом Майгоффом (помощник повара) с кухонным ножом.

В 23 часа инспектор Робинсон отставил в сторону поднос и смахно зевнул. Сигнал тут же подхватили все сотрудники, и по особняку прокатилось эхо звучных зевков. Инспектор Робинсон, войдя в гостиную, разделся, затем облачился в ночную сорочку и ночной колпак, зажег свечу и погасил во всем доме свет. Он погасил его и в библиотеке, оставив лишь тот маленький скрытый в стене фонарь, который освещал наборный замок сейфа. Затем удалился на верхний этаж. Его помощники, находившиеся в разных частях дома, также переоделись вочные сорочки и присоединились к шефу. В особняке Уэбба воцарились мрак и тишина.

Минул час, пробило полночь. На улице что-то громко звякнуло.

- Ворота, — шепнул Эд.
- Кто-то входит, — сказал Эд.
- Наверняка Искусник Кид, — добавил Эд.
- А ну потише!
- Верно, шеф.

Под чьими-то подошвами громко захрустел гравий.

— Идет сюда по подъездной аллее, — пробормотал Эд.

Хруст гравия сменился приглушенными звуками.

- Идет через цветник, — сказал Эд.
- Ну и хитер же, — заметил Эд.

Ночной гость на что-то наткнулся, чуть не упал и выругался.

- Угодил ногой в вазон, — сказал Эд.

За окном, то тише, то громче, слышались какие-то глухие звуки.

— Никак не высвободится, — сказал Эд.

Что-то грохнуло и покатилось.

— Ну вот, готово, сбросил, — сказал Эд.

— Этому пальца в рот не клади, — сказал Эд.

Внизу кто-то стал осторожно ощупывать оконное стекло.

— Он у окна библиотеки, — сказал Эд.

— А ты открыл окно?

— Я думал, Эд откроет, шеф.

— Эд, ты открыл окно?

— Нет, шеф, я думал, Эд этим займется.

— Он же так в дом не попадет. Эд, ты бы не мог открыть окопшко так, чтобы он не заметил?

Раздался громкий звон стекла.

— Не беспокойтесь — сам открыл. Чисто работает. Спец.

Окопшко распахнулось. Что-то бормоча, певзанный посетитель шумно ввалился в комнату. Он встал, выпрямился. Тонкий слабый луч фонаря осветил гориллоподобный силуэт вновь прибывшего. Некоторое время он неуверенно оглядывался и наконец припался беспорядочно рыться в ящиках и шкафах.

— Он так сроду не найдет ее, — прощептал Эд. — Говорил же я вам, шеф, фонарь падо вмонтировать прямо под наборным замком сейфа.

— Нет, старый спец не подведет. Ну? Что я говорим? Нашел-таки! Вы все готовы?

— А может, подождем, пока взломает, шеф?

— Зачем это?

— Чтобы взять его с поличным.

— Что вы, господь с вами, сейф гарантирован от взлома. Ну пора, ребята. Все готовы? Давай!

Яркий поток света затопил библиотеку. В ужасе отпрянув от сейфа, опшеломленный вор увидел, что он окружена семью угрюмыми сыщиками, каждый из которых целился из револьвера ему в голову. То обстоятельство, что все они были вочных сорочках, никак не уменьшало внушительности зрелища. А сыщики, когда зажегся свет, увидели широкоплечего громилу с тяжелой челюстью и бычьей шеей. То обстоятельство, что он не полностью стражнул с ноги содержимое вазона и его правый ботинок украшала пармская фиалка (*viola palliola plena*),

нисколько не смягчило его грозного и зловещего вида.

— Ну-с, Кид, прошу вас, — произнес инспектор Робинсон с утонченной учтивостью, которой восхищались его многочисленные почитатели.

И они с триумфом повлекли злоумышленника в полицию.

Пять минут спустя после того, как удалились сыщики и их пленник, некий господин в накидке непринужденно подошел к парадной двери особняка. Он нажал звонок. В доме раздались первые восемь тактов равелевского «Болеро», исполняемого на колокольчиках в темпе вальса. Господин, казалось, беззаботно ждал, но его правая рука тем временем как будто невзначай скользнула в прорезной карман, и сразу вслед за тем он начал быстро подбирать ключи к замку парадной двери. Потом господин снова позвонил. И не успела мелодия отзвучать вторично, как нужный ключ был пайден.

Господин отпер дверь, чуть приоткрыл ее посоком ноги и в высшей степени учтиво заговорил, как будто обращаясь к находившемуся за дверью невидимке-слуге:

— Добрый вечер. Боюсь, я чуть-чуть опоздал. Все уже спят, или меня все еще ожидают? О, превосходно! Благодарю вас.

Он вошел в дом, тихо притворил за собой дверь, повел вокруг глазами, взглядавшись в темный холл, и усмехнулся.

— Все равно что отнимать у ребятишек счасти, — буркнул он. — Просто совестно.

Он разыскал библиотеку, вошел и включил все освещение. Снял накидку, зажег сигарету, затем заметил бар и налил себе из приглянувшегося ему графинчика. Отхлебнул и чуть не подавился.

— Тыфу! Этой дряни я еще не пробовал, а думал, я уж все их знаю. Что это за чертовня? — Он обмакнул язык в стакан. — Шотландский виски, так... Но с чем он смешан? — Еще раз попробовал. — Господи боже мой, капустный сок!

Он огляделся, сразу увидел сейф и, подойдя к нему, осмотрел.

— Силы небесные! — воскликнул он. — Целых три цифры. Аж двадцать семь возможных комбинаций. Это вещь! Где уж нам такой открыть.

Протянув руку к наборному замку, он глянул вверх, встретился глазами с лучистым взором обнаженной фигуры и смущенно улыбнулся.

— Прошу прощенья, — сказал он и стал подбирать цифры: 1-1-1, 1-1-2, 1-1-3, 1-2-1, 1-2-2, 1-2-3 — и так далее, нажимая каждый раз на ручку сейфа, хитроумно спрятанную в указательном пальце пагой фигуры. Когда он набрал 3-2-1, послышался щелчок, и ручка пошла вниз. Дверца сейфа открылась — у скульптуры разверзлось чрево. Взломщик просунул в сейф руку и вытащил почной горшок. Он разглядывал его не менее минуты.

Кто-то тихо сказал сзади:

— Замечательная вещь, не так ли?

Взломщик быстро обернулся.

В дверях стояла девушка и, как ни в чем не бывало, смотрела на него. Высокая и тощая, с капитальными волосами и темно-синими глазами. На ней был прозрачный белый пеньюар, и ее гладкая кожа блестела в ярком свете многочисленных ламп.

— Добрый вечер, мисс Уэбб... Миссис?..

— Мисс.

Она небрежно протянула ему средний палец левой руки.

— Боюсь, я не заметил, как вы вошли.

— Боюсь, я тоже не заметила вашего прихода.

Она медленно вошла в библиотеку.

— Вы в самом деле считаете, что это замечательная вещь? Вы не разочарованы, правда?

— Ну что вы! Вещь уникальная.

— Как вы думаете, кто ее создатель?

— Этого мы никогда не узнаем.

— Вы полагаете, что он почти не делал кошмаров? Поэтому она так уникальна?

— Бессмысленно строить догадки, мисс Уэбб. Это примерно то же, что определять, сколько красок использовал в картице живописец или сколько звуков композитор употребил в опере.

Она опустилась в кресло.

— Дайте сигарету. Послушайте, вы говорите всерьез? Вы не из вежливости так расхваливаете нашу вазу?

— Как можно! Зажигалку?

— Благодарю.

— Когда мы созерцаем красоту, мы видим Ding an

sich — одну лишь «вещь в себе». Не сомневаюсь, мисс Уэбб, что вам это и без меня известно.

— Мне кажется, что ваше восприятие ограничено довольно узкими рамками.

— Узкими? Ничуть. Когда я созерцаю вас, я тоже вижу одну лишь красоту, которая заключена в самой себе. Однако, будучи произведением искусства, вы в то же время не музейный экспонат.

— Я вижу, вы еще специалист и по части лести.

— С вами любой мужчина станет экспертом, мисс Уэбб.

— Что вы намерены сделать после того, как взломали папин сейф?

— Долгие часы любоваться этим шедевром.

— Ну что же, чувствуйте себя как дома.

— Я не осмелюсь. Не такой уж я нахал. Я просто унесу вазу с собой.

— То есть украдете?

— Умоляю вас простить меня.

— А знаете ли вы, что ваш поступок очень жесток?

— Мне очень стыдно.

— Вы, наверное, даже не представляете себе, что этот сосуд значит для папы.

— Прекрасно представляю. Капиталовложение суммой в два миллиона долларов.

— Ах вы считаете, что мы торгуем красотой как биржевые маклеры?

— Ну конечно. Этим занимаются все богатые коллекционеры. Приобретают венцы с тем, чтобы их с выгодой перепродать.

— Мой отец не богат.

— Да полно вам, мисс Уэбб. Два миллиона долларов?

— Он одолжил их.

— Не верю.

— Я вовсе не шучу. — Девушка говорила серьезно и взволнованно, и ее темно-синие глаза сузились. — У папы в самом деле нет денег. Совершенно ничего, только кредит. Вы же, наверно, знаете, как это делается в Голливуде. Ему одолживают деньги под залог ночной вазы. — Она вскочила с кресла. — Если вазу украдут, папа погиб... А вместе с ним и я.

— Мисс Уэбб...

— Я заклинаю вас не уносить ее. Как мне вас убедить!

— Не приближайтесь ко мне...

— Господи, да я ведь не вооружена.

— Мисс Уэбб, вы обладаете убийственным оружием и подъзываетесь им без всякой жалости.

— Если вы цените в этом шедевре одну красоту, то мы с отцом всегда охотно поделимся с вами. Или вы из тех, что признают только свое, только собственность?

— Увы.

— Ну скажите, зачем вам ее забирать? Оставьте вазу у нас, и вы станете ее пожизненным совладельцем. Приходите к нам когда угодно. Половина всего нашего имущества, отцовского, и моего, и всей семьи...

— О господи! Ладно, ваша взяла, держите свою проклятую... — он вдруг осекся.

— Что случилось?

Он пристально смотрел на ее руку.

— Что это у вас такое, около плеча? — спросил он с расстановкой.

— Ничего.

— Что это? — повторил он настойчиво.

— Шрам. Когда я была маленькая, я упала и...

— Никакой это не шрам. Это прививка оспы.

Девушка молчала.

— Это прививка оспы, — в ужасе повторил он. — Таких не делают уже четыре сотни лет. Их больше не делают, давно не делают.

Она смотрела на него во все глаза.

— Откуда вам это известно?

Вместо ответа он закатал свой собственный левый рукав и показал свою прививку.

У девушки округлились глаза.

— Значит, и вы?..

Он кивнул.

— Значит, мы оба оттуда?

— Оттуда?.. Да, и вы и я.

Ошеломленные, они глядели друг на друга. Потом радостно, неудержимо рассмеялись, не веря своему счастью. Они то обнимались, то награждали друг друга ласковыми тумаками, совсем как туристы из одного городка, неожиданно встретившиеся на вершине Эйфелевой башни. Наконец они немного успокоились и отошли друг от друга.

— Это, наверное, самое фантастическое из всех совпадений в истории, — сказал он.

— Да, конечно. — Ошеломленная, она встряхнула го-

ловой. — Я все никак не могу поверить в это. Когда вы родились?

— В тысяча девятьсот пятидесятом. А вы?

— Разве дамам задают подобные вопросы?

— Нет, правда! В котором?

— В тысяча девятьсот пятьдесят четвертом.

— В пятьдесят четвертом? Ого, — он усмехнулся. — Выходит, вам исполнилось пятьсот десять лет.

— Ах вы так? Доверяй после этого мужчинам.

— Значит, вы не дочь Уэбба. Как же вас по-настоящему зовут?

— Вайолег. Вайолет Дуган.

— Как это здорово звучит! Так мило, просто и нормально.

— А как ваше имя?

— Сэм Бауэр.

— Еще милей и еще проще. Ну?

— Что «ну»? Привет, Вайолет.

— Рада нашему знакомству, Сэм.

— Да, весьма приятное знакомство.

— Мне тоже так кажется.

— В семьдесят пятом я работал на компьютере при осуществлении денверского проекта, — сказал Бауэр, отхлебывая имбирный джин — самый удобоваримый из напитков, содержавшихся в баре Уэбба.

— В семьдесят пятом! — воскликнула Вайолет. — Это когда был взрыв?

— Уж кому бы знать об этом взрыве, как не мне. Наши купили новый баллистический 1709, а меня послали инструктировать военный персонал. Я помню ночь, когда случился взрыв. Во всяком случае, как я смекаю, это и был тот самый взрыв. Но его я не помню. Помню, что показывал, как программировать какие-то алгоритмы, и вдруг...

— Ну! Ну!

— И вдруг как будто кто-то выключил весь свет. Очнулся я уже в больнице в Филадельфии — в Санта-Моника Ист, как ее называют сейчас, и узнал, что меня заплырнуло на пять столетий в будущее. Меня подобрали голого, полуживого, а откуда это я вдруг сверзился и кто такой — не знала ни одна душа.

— Вы не сказали им, кто вы на самом деле?

— Мне бы не поверили. Они подлатали меня и вытолк-

нули вон, и мне порядочно пришлось вертеться, прежде чем я нашел работу.

— Снова управление компьютером?

— Ну нет. Слишком жирно за те гроши, которые они за это платят. Я работаю на одного из крупнейших букмекеров Иста. Определяю шансы выигрышней. А теперь расскажите, что случилось с вами.

— Да фактически то же, что с вами. Меня послали на мыс Кеннеди сделать серию иллюстраций для журнала в связи с первой высадкой людей на Марсе. Я ведь художница...

— Первая высадка на Марсе? Постойте-ка, ее ведь вроде намечали на 76-й год. Неужели промазали?

— Наверно, да. Но в книгах по истории об этом очень мало говорится.

— Они смутно представляют себе наш век. Война, должно быть, уничтожила все чуть ли не дотла.

— Во всяком случае, я помню лишь, что я сидела на контрольном пункте и делала рисунки, а когда начался обратный счет, я подбирала цвета, и вдруг... ну, словом, точно так, как вы сказали: кто-то выключил весь свет.

— Ну и ну! Первый атомный запуск — и все к чертям.

— Я, как и вы, очнулась в больнице, в Бостоне — они называют его Бэрбанк Норт. Выписалась и поступила на службу.

— По специальности?

— Да почти что. Подделываю антикварные вещи. Я работаю на одного из крупнейших дельцов от искусства в стране.

— Вот оно, значит, как, Вайолет?

— Выходит, что так, Сэм. А как вы думаете, каким образом это с нами случилось?

— Не имею ни малейшего понятия, хотя могу сказать, что я ничуть не удивляюсь. Когда люди выжигают такие штуки с атомной энергией, наконец ее такой запас, может произойти все, что угодно. Как вы считаете, есть тут еще другие, кроме нас?

— Заброшенные в будущее?

— Угу.

— Не знаю. Вы первый, с кем я встретилась.

— Если бы мне раньше пришло в голову, что кто-то есть, я бы их искал. Ах, бог мой, Вайолет, как я тоскую по двадцатому веку.

— И я.

— У них тут все какая-то глупая пародия. Все второсортное, — сказал Бауэр. — Штампы, одни лишь голливудские штампы. Имена. Дома. Машера разговаривать. Все их ухватки. Кажется, все эти люди выскочили из какого-то тошнотворного кинобоевика.

— Да, так оно и есть. А вы разве не знаете?

— Я ничего не знаю. Расскажите мне.

— Я это прочитала в книгах по истории. Насколько я могла понять, когда окончилась война, погибло почти все. И когда люди принялись создавать новую цивилизацию, для образца им остался только Голливуд. Война его почти не тронула.

— А почему?

— Наверное, просто пожалели бомбу.

— Кто же с кем воевал?

— Не знаю. В книгах по истории одни названы «Славные Ребята», другие — «Скверные Парни».

— Совершенно в теперешнем духе. Бог ты мой, Вайолет, они ведут себя как дети, как дефективные дети. Или нет: скорей, будто статисты из скверного фильма. И что убийственней всего — они счастливы. Живут какой-то синтетической жизнью из спектакля Сесила Б. Де Милля и радуются — идиоты! Вы видели похороны президента Спенсера Трэси? Они несли покойника в сфинксе, сделанном в натуральную величину.

— Это что! А вы присутствовали на бракосочетании принцессы Джоан?

— Джоан Фоптейн?

— Нет, Кроуфорд. Брачная ночь под наркозом.

— Вы смеетесь.

— Вовсе нет. Она и принц-консорт сочетались священными узами брака с помощью хирурга.

Бауэр зябко поежился.

— Добрый, старый Лос-Анджелес Великий. Вы хоть раз бывали на футбольном матче?

— Нет.

— Они ведь не играют. Просто два часа развлекаются, гоняя мяч по полю.

— А эти оркестры, что ходят по улицам. Музыкантов нет, только палочками размахивают.

— А воздух кондиционируют, где бог на душу положит: даже на улице.

— И на каждом дереве громкоговоритель.

- Натыкали бассейнов на каждом перекрестке.
- А на каждой крыше — прожектор.
- В ресторанах — сплошные продовольственные склады.
- А для автографов у них автоматы.
- И для врачебных диагнозов тоже. Они их называют медикоавтомат.
- Изукрасили тротуары отпечатками рук и ног.
- И в этот ад идиотизма нас занесло, — угрюмо сказал Бауэр. — Попались в ловушку. Кстати, о ловушках, не пора ли нам отчаливать из этого особняка? Где сейчас мистер Уэбб?
- Путешествует с семьей на яхте. Они не скоро возвратятся. А где полиция?
- Я им подсунул одного дурака. Они тоже с ним не сразу разберутся. Хотите еще выпить?
- Отчего бы нет? Благодарю. — Вайолет с любопытством взглянула на Бауэра. — Скажите, Сэм, вы воруете, потому что ненавидите все здешнее? Назло им?
- Вовсе нет. Соскучился, тоска по нашим временам. Вот попробуйте-ка эту штуку; кажется, ром и ревень. На Лонг-Айленде — по-нашему Каталина Ист — у меня есть домик, который я пытаюсь обставить под двадцатый век. Ясное дело, приходится воровать. Я провожу там уикенды, Вайолет, и это счастье. Только там мне хорошо.
- Я понимаю вас.
- Ах понимаете! Тогда скажите, кстати, какого дьявола вы околачивались здесь, изображая дочь Уэбба?
- Тоже охотилась за ночной вазой.
- Вы хотели ее украсть?
- Ну конечно. Я просто ужас как удивилась, обнаружив, что кто-то успел меня обойти.
- Значит, история о бедной дочке поимущего миллиона была рассказана всего лишь для того, чтобы выиграть у меня посудину?
- Ну да. И между прочим, ход удался.
- Это верно. А чего ради вы стараетесь?
- С иными целями, чем вы. Мне хочется самой открыть свой бизнес.
- Будете изготавливать подделки?
- Изготавливать и продавать. Пока я еще комплектую фонд, но, к сожалению, я далеко не такая везучая, как вы.
- Так это, верно, вы украли позолоченный трельяж?
- Я.

— А медную лампу для чтения с удлинителем?

— Тоже я.

— Очень прискорбно. Я за ними так гонялся. Ну а вышитое кресло с бахромой?

Девушка кивнула.

— Опять же я. Чуть спину себе не сломала.

— Попросили бы кого-нибудь помочь.

— Кому можно довериться? А разве вы работаете не в одиночку?

— Да, я тоже так работаю, — задумчиво произнес Бауэр. — То есть работал до сих пор. Но сейчас, по-моему, работать в одиночку уже поздачем. Вайолет, мы были конкурентами, сами не зная о том. Сейчас мы встретились, и я вам предлагаю завести совместное хозяйство.

— О каком хозяйстве идет речь?

— Мы будем вместе работать, вместе обставим мой домик и создадим волшебный заповедник. В то же время вы можете сколько угодно комплектовать свои фонды. И если вы захотите загнать какой-нибудь мой стул, то я не буду возражать. Мы всегда сумеем стащить другой.

— Иными словами, вы предлагаете мне вместе с вами пользоваться вашим домом?

— Да.

— Могли бы мы осуществлять наши права поочередно?

— То есть как это поочередно?

— Один уикенд — я, а, скажем, следующий — вы.

— Для чего?

— Вы сами понимаете.

— Я не понимаю. Объясните мне.

— Ладно, будет вам.

— Нет, правда, объясните.

Девушка всхлипнула.

— Вы что, совсем дурак? Еще спрашивает почему. Похожа я на девушку, которая проводит уикенд с мужчинами?

Бауэр остолбенел.

— Да уверяю вас, мне и в голову ничто подобное не приходило. Кстати, в доме две спальни. Вам совершенно ничего не грозит. Мы начнем с того, что стянем цилиндрический замок для вашей двери.

— Нет, это исключено, — ответила она. — Я знаю мужчин.

— Даю вам слово, что у нас будут чисто дружеские

отношения. Мы соблюдем этикет вплоть до мельчайших тонкостей.

— Я знаю мужчин, — повторила она непреклонно.

— Нет, это уже какая-то заумь, — возмутился Бауэр. — Подумать только: в голливудском коммарион сне мы встретили друг друга — двое отщепенцев; нашли опору, утешение, и вдруг вы заводите какую-то бодягу на моральные темы.

— А можете вы, положа руку на сердце, пообещать никогда не лезть за утешением ко мне в постель? — сердито бросила она. — Ну отвечайте, можете?

— Нет, не могу, — ответил он чистосердечно. — Сказать такое — значит отрицать, что вы дьявольски привлекательная девушка. Зато я...

— Если так, то разговор окончен. Разумеется, вы можете мне сделать официальное предложение; но я не обещаю, что приму его.

— Нет уж, — отрезал Бауэр. — До этого я не дойду, мисс Вайолет. Это уж пойдут типичные лос-анджелесские штучки. Каждая пара, которой взбредет в голову переспать ночь, отправляется к ближайшему регистрационному, сует туда двадцать пять центов и считается обрученной. Наутро они бегут к ближайшему разводоавтомату — и снова холостые, и совесть их чиста как стеклышко. Ханжи! Стоит только вспомнить всех девиц, которые меня протащили через это унижение: Джейн Рассел, Джейн Паул, Джейн Мэнсфилд, Джейн Уизерс, Джейн Фонда, Джейн Тарзан... Б-р-р-р, господи, прости!

— О-о! Так вот вы какой! — Вайолет Дуган в негодовании вскочила на ноги. — Толкует мне, как ему все здесь опротивело, а сам нас kvозъ оголливудился.

— Женская логика, — раздраженно произнес Бауэр. — Я сказал, что мне не хочется поступать в лос-анджелесских традициях, и она тут же обвиняет меня в том, что я оголливудился. Спорь после этого с женщиной!

— Не давите меня валям хваленым мужским превосходством, — вскипела Вайолет. — Вас послушать, сразу кажется, что я вернулась к старым временам, и просто тошно делается.

— Вайолет... Вайолет... Ну зачем нам враждовать? Наоборот. Нам следует держаться друг друга. Хотите, пусть будет по-вашему. Какие-то двадцать пять центов, о чем тут говорить? А замок мы тоже врежем. Ну что, согласны?

— Вот это тип! Двадцать пять центов — и весь разговор! Вы мне противны.

Взяв в руки ночную посудину, Вайолет повернулась к дверям.

— Одну минутку, — сказал Сэм. — Куда это вы направляетесь?

— К себе домой.

— Стало быть, договор не заключен?

— Нет.

— И мы с вами не сотрудничаем ни на каких условиях?

— Ни на каких. Убирайтесь и ищите утешения с одной из ваших шлюх! Доброй ночи.

— Вы меня так не оставите, Вайолет.

— Я ухожу, мистер Бауэр.

— Уходите, но без посудины.

— Она моя.

— Я ее украл.

— А я ее у вас выманила.

— Поставьте вазу, Вайолет.

— Вы сами дали ее мне, уже забыли?

— Говорю вам, поставьте посудину.

— И не подумаю. Не подходите ко мне!

— Вы знаете мужчин. Помните, вы говорили. Но вы знаете о нас не все. Будьте умницей и поставьте горшок или вам придется еще кое-что узпать насчет хваленного мужского превосходства. Вайолет, я вас предупредил... Ну получай, голубка.

Сквозь густой слой табачного дыма в кабинет инспектора Эдварда Дж. Робинсона проникли бледно-голубые лучи: занимался рассвет. Группа сыщиков, известная в полиции как «Пробивной отряд», зловещим кольцом окружала развалившуюся в кресле гориллоподобную фигуру. Инспектор Робинсон устало произнес:

— Ну повторите еще раз вашу историю.

Злоумышленник поерзал в кресле и попробовал поднять голову.

— Меня зовут Уильям Бендикс, — промямлил он. — Мне сорок лет. Я мастер-верхотурщик строительной фирмы Гручи, Чико, Харро и Маркс, Голдуин Террас, 12203.

— Что такое верхотурщик?

— Специалист по верхотуре — это такой специалист, который, если фирме нужно выстроить здание обувного магазина в форме ботинка, завязывает над крышей шнурки; а если строят коктейль-холл, втыкает в крышу соломинку, а если...

— Какую работу вы выполняли в последний раз?

— Участвовал в строительстве Института Памяти, Бульвар Луи Б. Мэйера, 30449.

— Что вы там делали?

— Вставлял вены в мозги.

— У вас были приводы?

— Нет, сэр.

— Что вы замышляли, проникнув сегодня около полуночи в резиденцию мистера Клифтона Уэбба?

— Как я уже рассказывал, я угощался коктейлем «Водка и шпинат» в питейном заведении «Стародавний Модерн», когда их строили, я им выкладывал пени на крыше, а этот тип подошел ко мне и начал разговор. Рассказал, что какой-то богатый чудак купил и только что привез сюда эту штуковину, какое-то сокровище искусства. Говорит, что сам он коллекционер, но такое вот сокровище купить не может, а тот богач такой жадюга, что даже не дает на него поглядеть. А потом он предложил мне сто долларов, чтобы я помог ему взглянуть на эту штуку.

— То есть предложил вам украсть ее?

— Да нет, сэр, он хотел на нее только поглядеть. Он сказал, что мне, мол, нужно только поднести ее к окошку, он взглянет на нее и отвалит мне сто долларов.

— А сколько денег он предлагал вам за то, чтобы вы вынесли вазу из дома?

— Да говорю вам, сэр, он хотел только поглядеть. Потом — мы так уговорились — я запихнул бы ее обратно, и все дела.

— Опишите этого человека.

— Ему, паверно, лет тридцать будет. Одет хорошо. Разговор малость чудной, вроде как у иностранца, и все время хохочет, все ему что-то смешно. Роста примерно среднего или маленько повыше. Глаза темные. Волос тоже темный, густой и лежит этак волнами; такой бы хорошо гляделся на крыше парикмахерской.

Кто-то нетерпеливо забарабанил в дверь. В кабинет влетела детектив Эдна Мэй Оливер явно в растрепанных чувствах.

— Ну?! — рявкнул инспектор Робинсон.

— Его версия подтверждается, шеф, — доложила детектив Оливер. — Его видели в коктейльном заведении «Стародавний Модерн»...

— Стоп, стоп, стоп. Он говорит, что ходил в *питейное* заведение «Стародавний Модерн».

— Шеф, это одно и то же. Они просто сменили вывеску, чтобы с помпой открыть его заново.

— А кто укладывал на крыше вишни? — заинтересовался Бендиц.

Никто и не подумал ему ответить.

— В заведении видели, как задержанный разговаривал с таинственным мужчиной, которого он нам описал, — продолжила детектив Оливер. — Они выпили вместе.

— Этот мужчина был Искусник Кид.

— Так точно, шеф.

— Кто-нибудь может опознать его?

— Нет, шеф.

— У-у, черт! Черт! Черт! — Инспектор в ярости дубасил кулаком по столу. — Чует мое сердце, что Кид обвел нас вокруг пальца.

— Но каким образом, шеф?

— Неужели непонятно, Эд? Кид мог проведать о нашей ловушке.

— Ну и что же?

— Думайте, Эд. Думайте! Может быть, не кто иной, как он, сообщил нам, что в преступном мире ходят слухи о готовящемся этой ночью налете.

— Вы хотите сказать, он настучал сам на себя?

— Вот именно.

— Но для чего ему это?

— Чтобы заставить нас арестовать не того человека. Это сущий дьявол. Я же вам говорил.

— Но зачем он все это затеял, шеф? Вы ведь разгадали его плутни.

— Верно, Эд. Но Кид, возможно, изобрел какой-то новый, еще более заковыристый ход. Только вот какой? Какой?

Инспектор Робинсон встал и беспокойно зашагал по кабинету. Его мощный изощренный ум усиленно пытался проникнуть в сложные замыслы Искусника Кида.

— А как быть мне? — вдруг спросил Бендиц.

— Ну вы-то можете пресекомъично отправляться восвоя-

си, любезный, — устало сказал Робинсон. — В грандиозной игре вы были только жалкой пешкой.

— Да нет, я спрашиваю, как мне закруглиться с этим делом. Тот малый-то, пожалуй, до сих пор ждет под окном.

— Как вы сказали? Под окном?! — воскликнул Робинсон. — Значит, он стоял там, под окном, когда мы захватили вас?

— Стоял небось!

— Я понял! Наконец-то понял! — вскричал Робинсон. — Ну вот теперь мне ясно все!

— Что вам ясно, шеф?

— Вдумайтесь, Эд, представьте себе всю картину в целом. Искусник Кид стоит тихонько под окном и собственными глазами видит, как мы увозим из дома этого осталопа. Мы отбываем, и тогда Искусник Кид входит в пустой дом...

— Вы хотите сказать...

— Может быть, в эту самую секунду он взламывает сейф.

— Ух ты!

— Эд, спешно вызвать оперативную группу и группу блокирования.

— Слушаюсь, шеф.

— Эд, блокировать все выходы из дома.

— Сделаем, шеф.

— Эд и ты, Эд, будете сопровождать меня.

— Куда сопровождать, шеф?

— К особняку Уэбба.

— Вы рехнулись, шеф!

— Другого пути нет. Этот городишко слишком мал для нас двоих: или Искусник Кид, или я.

Все газеты кричали о том, как «Пробивной отряд» разгадал инфернальные планы Искусника Кида и прибыл в волшебный особняк мистера Клифтона Уэбба всего лишь через несколько секунд после того, как сам Кид отбыл с ночной вазой. О том, как на полу библиотеки обнаружили лежавшую без сознания девушку, о том, как выяснилось, что она — отважная Одри Хэпберн, верная помощница загадочной Греты Гарбо — Змеиный глаз, владелицы обширной сети игорных домов и притонов. О том, как Одри, заподозрив что-то неладное, решила сама все разведать.

И о том, как коварный взломщик сперва затеял с девушкой зловещую игру — нечто вроде игры в кошки-мышки — а затем, выждав удобный момент, свалил ее на пол безжалостным зверским ударом.

Давая интервью газетным синдикатам, мисс Хэпберн сказала:

— Просто женская интуиция. Я заподозрила что-то неладное и решила сама все разведать. Коварный взломщик затеял со мной зловещую игру — нечто вроде игры в кошки-мышки, а затем, выждав удобный момент, свалил меня на пол безжалостным зверским ударом.

Одри получила семнадцать предложений вступить в брак через посредство регистрационного автомата, три предложения сняться для пробы в кинофильмах, двадцать пять долларов из общих фондов округа Голливуд List, премию Даррила Ф. Занука «За человеческий интерес» и строгий выговор от шефессы.

— Фам непременно надо было допаивать, что он фас иснасилофал, Одри, — сказала ей мисс Гарбо. — Это придало бы фашей истории осопый колорит.

— Прошу прощения, мисс Гарбо. В следующий раз я постараюсь ничего не опустить. Кстати, он делал мне непристойные предложения.

Разговор происходил в секретном ателье мисс Гарбо, где совещалось могущественное трио дельцов от искусства, а тем временем Вайолет Дуган (она же Одри Хэпберн) подделывала бюллетень сельскохозяйственного банка за 1943 год.

— Сага mia *, — обратился к Вайолет де Сика, — вы могли бы описать нам этого негодяя подробно?

— Я рассказала вам все, что запомнила, мистер де Сика. Да, вот еще одна деталь, может быть, она вам поможет: он сказал, что работает на одного из крупнейших букмекеров Иста, определяет шансы выигрышней.

— Mah **! Таких субъектов сотни. Это нам никако не поможет. А он не намекнул вам, как его зовут?

— Нет, сэр. Во всяком случае, свое теперешнее имя он не упомянул.

— Теперешнее имя? Как это понять?

— Я... я говорю про его настоящее имя. Ведь не всегда же его называют Искусник Кид.

* Дорогая моя (*итал.*).

** Увы! (*итал.*)

— Ага, понятно. А где он живет?

— Говорит, где-то в районе Каталина Ист.

— Каталина Ист — это сто сорок квадратных миль, битком набитых жилыми домами, — с раздражением вмешался Хортон.

— Я тут ни при чем, мистер Хортон.

— Одри, — строго произнесла мисс Гарбо, — отложите в сторону фиш бюллетень и посмотрите на меня.

— Да, мисс Гарбо.

— Фы флюбились в этого шеловека. В фанах глазах он романтична фигура, и фам не хочется, итто он попал под сут. Это так?

— Вовсе нет, мисс Гарбо! — пылко возразила Вайолет. — Больше всего на свете я хочу, чтобы его арестовали. — Она потрогала пальцами свой подбородок. — Влюбилась? Да я непавижу его!

— Итак, — со вздохом резюмировал де Сика, — мы потерпели неудачу. Короче говоря, если мы не сумеем вернуть ночную вазу его светлости, мы будем вынуждены уплатить ему два миллиона долларов.

— Я убежден, — яростно выкрикнул Хортон, — что полицейские его пипочем не пайдут! Этакие олухи. Их можно сравнить по дурости разве что с нашей троицей.

— Ну что ж, тогда придется панять частного соглядатая. При наших связях в преступном мире мы без особого труда сможем пайти подходящего человека. Есть какие-нибудь предложения?

— Неро Фульф, — произнесла мисс Гарбо.

— Великолепно, сага піа. Это человек настоящей эрудиции и культуры.

— Майк Хэммер, — сказал Хортон.

— Примем к сведению и эту кандидатуру. Что вы скажете о Перри Мейсоне?

— Этот подонок слишком честен, — отрезал Хортон.

— Тогда вычеркнем подонка из списка кандидатов. Есть еще предложения?

— Миссис Норт, — сказала Вайолет.

— Кто, дорогая? Ах да, Памела Норт, леди-детектив.

Нет, я бы сказал, нет. По-моему, это не женское дело.

— Но почему, мистер де Сика?

— А потому, ангел мой, что слабому полу опасно сталкиваться с некоторыми видами насилия.

— Я этого не думаю, — сказала Вайолет. — Мы, женщины, умеем постоять за себя.

— Она прафа, — томно проворковала мисс Гарбо.

— А по-моему, нет, Грета. И вчерашний эпизод это подтверждает.

— Он мне нанес безжалостный, зверский удар, только когда я отвернулась, — поспешила вставить Вайолет.

— А чем вам плох Майл Хэммер? — брюзгливо спросил Хортон. — Он всегда достигает результатов и нещепетилен в средствах.

— Так нещепетилен, что мы можем получить одни осколочки от вазы с цветочным бордюром.

— Боже мой! Я об этом не подумал. Ну хорошо, я согласен на Вульфа.

— Миссис Норт, — произнесла мисс Гарбо.

— Вы в меньшинстве, сага тіа. Итак, решено — Неро Вульф. Всё. Я полагаю, Хортон, что мы с ним побеседуем без Греты. Он настолько *antipatico** к женщинам, что это вошло в поговорку. Милые дамы, *arrivederci***.

После того как двое из могущественного трио удалились, Вайолет повернулась к мисс Гарбо.

— «Слабый пол»... У-у... шовинисты, — пропищела она, яростно сверкнув глазами. — Неужели мы будем терпеть это неравноправие полов?

— А что мы можем стелать, Одри?

— Мисс Гарбо, разрешите мне самой выследить этого человека.

— Фы гофорите фсеръез?

— Конечно.

— Но как фы можете его выследить?

— Наверно, у него есть какая-нибудь женщина.

— Естественно.

— *Cherchez la femme****.

— Вы просто молотец!

— Он упоминал при мне некоторые имена и фамилии, и если я найду ее, то найду и его. Вы мне даете отпуск, мисс Гарбо?

— Отпрафляйтесь, Одри. И прифетите его шифым.

Старая леди в уэльской шляпке, белом фартуке, шестиугольных очках и с объемистым вязанием, из которого торчали спицы, споткнулась о макет, изображавший лест-

* Здесь: плохо относится (*итал.*).

** До свидания (*итал.*).

*** Ищите женщину (*франц.*).

ницу площади Испании. Лестница вела в королевскую Оружейную палату. Палата была выстроена в форме императорской короны и увенчана пятидесятифутовой имитацией бриллианта «Надежда».

— Чертовы босоножки, — буркнула Вайолет Дуган. — Ну и каблучки!

Войдя в палату, Вайолет поднялась па десятый этаж и позвонила в звонок, по обе стороны от которого располагались лев и единорог, попеременно разевающие пасти: лев рычал, единорог орал по-ослиному. Дверь стала затуманиваться, затем туман рассеялся. На пороге стояла Алиса из Страны Чудес с огромными невинными глазами.

— Лу? — спросила она пылко. И тотчас увяла.

— Доброе утро, мисс Пауэл, — сказала Вайолет, заглядывая в квартиру через плечо Алисы и внимательно обшаривая взглядом коридор. — Я из службы «Клевета инкорпорейтид». Вам не кажется, что сплетни проходяг мимо вас? Не остаетесь ли вы в неведении по поводу самых пикантных скандалов? Наш штат, составленный из высококвалифицированных сплетников, гарантирует распространение молвы в течение пяти минут после события; сплетни унизительные; сплетни возмутительные; сплетни, чернящие репутацию или набрасывающие на нее тень; клевета несусветная и клевета правдоподобная...

— Вздор, — сказала мисс Пауэл, и дверь стала пепроницаемой.

Маркиза Помпадур в парчовых фижмах, с кружевным корсажем и в высоком пудреном парике, вошла в зарешеченный портик «Приюта птичек» — частного особнячка, построенного в форме птичьей клетки. Из позолоченного купола на нее обрушилась какофония птичьих голосов. Мадам Помпадур дунула в свисток, вделанный в дверь, которая имела форму часов с кукушкой. На птичий посвист звонка отворилась маленькая заслонка падциферблатором, с бодрым «ку-ку» оттуда выглянул глазок телевизора и внимательно оглядел гостью.

Вайолет присела в глубоком реверансе.

— Могу я лицезреть хозяйку дома?

Дверь отворилась. На пороге стоял Питер Пэн в ярко-зеленом костюме. Костюм был прозрачный, и посетительница сразу узнала, что перед ней сама хозяйка дома.

— Добрый день, мисс Уизерс. Я к вам от фирмы «Эвон». Игнац Эвой, парикмахер, изобретатель всевозможных шиньонов, париков, украшений из волос, кудрей и

локонов, всегда к услугам тех, кто следует законам моды или желает устроить розыгрыш...

— Сгинь! — сказала мисс Уизерс.

Дверь захлопнулась. Маркиза де Помпадур послушно сгинула.

Художница в берете и в вельветовой куртке с палитрой и мольбертом поднялась на пятнадцатый этаж Пирамиды. У самой вершины возвышались шесть египетских колонн, за которыми была массивная базальтовая дверь. Когда художница швырнула милостыню в каменную чашку для нищих, дверь распахнулась, обнаружив мрачную гробницу, на пороге которой стояло нечто вроде Клеопатры в одеянии критской богини змей и для антуража окруженное змеями.

— Доброе утро, мисс Рассел. Фирма «Тиффани» демонстрирует последний вопль моды, накожные драгоценности Тиффани. Татуировка наносится очень рельефно. Являясь источником излучения цветовой гаммы, включающей имитацию бриллиантов чистейшей воды, накожные драгоценности Тиффани остаются безвредными для здоровья в течение месяца.

— Чушь, — сказала мисс Рассел.

Дверь медленно затворилась под звуки заключительных аккордов из «Аиды», которым тихо вторили стенания хора.

Школьная учительница в строгом костюме, с гладко зачесанными и собранными в тугой узел волосами, в очках с толстыми стеклами, из-за которых ее глаза казались неестественно большими, прошествовала со стопкой учебников по подвесному мосту феодального замка. Поднявшись винтовым лифтом на двенадцатый этаж, она перепрыгнула через неширокий ров и обнаружила дверной молоток в форме рыцарской железной рукавицы. Миниатюрные решетчатые ворота со скрежетом втянулись наверх, и на пороге показалась Златовласка.

— Луи? — спросила она, радостно смеясь. И тотчас увяла.

— Добрый вечер, мисс Мэнсфилд. Фирма «Чтение вслух» предлагает новый вид сугубо специализированного индивидуального обслуживания. Вместо того чтобы терпеть монотонное чтение роботов, вы сможете слушать отлично поставленные голоса, способные придать каждому слову неповторимую окраску, и эти голоса будут читать для вас, только для вас, и комиксы, и чистосердечные

исповеди знаменитостей, и киножурналы за пять долларов в час; детективы, вестерны, светская хроника...

Решетчатые воротца со скрежетом опустились вниз.

— Сперва Лу, потом Луи, — пробормотала Вайолет. — интересно...

Небольшую пагоду обрамлял пейзаж, точная копия трафаретных китайских рисунков на фарфоре, даже с фигурами трех сидящих на мосту кули. Кипозвездочка в черных очках и белом свитере, туго обтягивающем ее пышный бюст, проходя по мосту, потрепала их по головам.

— Поосторожней, детка, щекотно, — сказал один из них.

— Бога ради, простите, я думала, вы чучела.

— Чучела мы и есть за пятьдесят центов в час, но такая уж у нас работа.

В портике пагоды появилась мадам Баттерфляй, склоняясь в поклоне, как заправская гейша. Цельность облика этой особы несколько нарушал черный пластырь под левым глазом.

— Доброе утро, мисс Фонда. Фирма «Предел лишь небес» предлагает вам потрясающий новый способ упышнения бюста. Натираясь препаратором «Груди-Джи», антигравитационным порошком телесного цвета, вы сразу же достигнете поразительных результатов. Мы предоставляем вам на выбор три оттенка: для блондинок, шатенок, брюнеток; и три вида упышненных форм: грейпфрутовая, арбузовидная и...

— Я не собираюсь взлетать на воздух, — мрачно сказала мисс Фонда. — Брысь!

— Извините, что побеспокоила вас, — Вайолет замялась. — Вам не кажется, мисс Фонда, что пластырь у вас под глазом не совсем в стиле...

— Он у меня не для стиля, дорогуша. Этот Журден просто мерзавец и больше никто.

— Журден, — тихо повторила Вайолет, удаляясь по мосту. — Выходит, Луи Журден. Так или не так?

Аквалангист в черном резиновом костюме и полном снаряжении, включая маску, кислородный баллон и гарпун, прошел тропою джунглей, вслугивая шимпанзе и направляясь к Земляничной горе. Вдали протрубил слон. Аквалангист ударил в бронзовый гонг, свисающий с кокосовой пальмы, и на звон гонга отозвался бой барабанов. Семифутовый ватуси встретил и проводил посетителя к

стоявшей в зарослях хижине, где его ждала особа негроидного типа, которая дрыгала ногами в стофутовой искусственной реке Конго.

— Это Луи Бвана?* — крикнула она. И тотчас увяла.

— Доброе утро, мисс Тарзан, — сказала Вайолет. — Фирма «Выкачивай», недавно отметившая свое пятидесятилетие, берется обеспечить вам купанье в стерильно чистой воде независимо от того, будет ли идти речь об олимпийском водоеме или старомодном пруде. Система патентованных очистительных насосов позволяет фирме «Выкачивай» выкачивать грязь, песок, ил, алкоголь, сор, помои...

Вновь ударили бронзовый гонг, и на звон гонга снова отозвался бой барабанов.

— О! На этот раз, наверное, Луи! — вскричала мисс Тарзан. — Я знала, что он сдержит слово.

Мисс Тарзан побежала к парадным дверям. Мисс Дуган спрятала лицо за водолазной маской и нырнула в Конго. Она вынырнула на поверхность у противоположного берега среди зарослей бамбука, неподалеку от весьма реалистического на вид аллигатора. Ткнув его в голову рукой, она убедилась, что это чучело. Затем Вайолет быстро обернулась и успела разглядеть Сэма Баузера, который не спеша прошел в пальмовый сад под ручку с Джейн Тарзан.

Запрятавшись в телефонную будку, имевшую форму телефона и расположенную через дорогу от Земляничной горы, Вайолет Дуган горячо пререкалась с мисс Гарбо.

— Фам не следофало фысыфать полицию, Одри.

— Нет, следовало, мисс Гарбо.

— Инспектор Робинсон шурует ф доме уже десять минут. Он опять патфорит глупостей.

— Я на это и рассчитываю, мисс Гарбо.

— Сначит, я была прафа. Фы не хотите, штопы этот Луи Тшурден был арестофан.

— Нет, хочу, мисс Гарбо. Очень хочу. Только позвольте вам все объяснить.

— Он уфлек фаше фообразжение сfoими непристойными предложениими.

— Да прошу вас, выслушайте вы меня, мисс Гарбо.

* Исказенное «господин».

Для нас ведь самое важное не схватить его, а узнать, где он запрятал краденое. Разве не так?

— Отгофорки! Отгофорки!

— Если его арестуют сейчас, мы никогда не узнаем, где ваза.

— Что же вы предлагаете?

— Я предлагаю сделать так, чтобы он сам привел нас туда, где прячет вазу.

— Как вы этого допьетесь?

— Используя его же оружие. Помните, как он подсунул полицейским подставное лицо?

— Этого турнира Бендиекса?

— На этот раз в роли Бендиекса выступил инспектор Робинсон. Ой, постойте! Там что-то случилось.

На Земляничной горе началось сущее столпотворение. Шимпанзе с визгом перепархивали с ветки на ветку. Появились ватуси, они неслись во весь дух, преследуемые инспектором Робинсоном. Затрубил слон. Огромный аллигатор быстро вполз в густую траву. Затем промчалась Джейн Тарзан, ее преследовал инспектор Робинсон. Барабаны гудели вовсю.

— Я могла бы поклясться, что этот аллигатор — чучело, — пробормотала Вайолет.

— О шем вы, Одри?

— Да о крокодиле... Так и есть! Извините, мисс Гарбо. Я побежала.

Крокодил встал на задние лапы и неторопливо шел по Земляничному проезду. Вайолет вышла из будки и небрежной ленивой походкой пошла вслед за ним. Прогуливающийся по улице аллигатор и неторопливо следующий за ним аквалангист не вызывали особого интереса у прохожих Голливуд Ист.

Аллигатор оглянулся через плечо и паконец заметил аквалангиста. Он пошел быстрее. Аквалангист тоже ускорил шаг. Аллигатор побежал. Аквалангист побежал за ним следом, но немножко отстал. Тогда он подключил кислородный баллон, и расстояние начало сокращаться. Аллигатор с разбегу ухватился за ремень подвесной дороги. Болтающегося на канате, его повлекло на восток. Аквалангист подозвал проезжавшего мимо роботаришку.

— Следовать за этим аллигатором! — крикнула Вайолет в слуховое приспособление робота.

В зоопарке аллигатор выпустил из рук ремень и

скрылся в толпе. Аквалангист соскочил с рикши и как сумасшедший пробежал через Берлинский дом, Московский дом и Лондонский. В Римском доме, где посетители швыряли pizzas помещенным за оградой существам, Вайолет увидела раздетого римлянина, который лежал без сознания в углу клетки. Рядом с ним валялась шкура аллигатора. Вайолет быстро огляделась и успела заметить удивившего Бауэра в полосатом костюме.

Она бросилась за ним. Бауэр столкнулся какого-то мальчугана со спины пони на электрической карусели, сам вскочил на место мальчика и галопом помчался на запад. Вайолет вспрыгнула на спину проходившей мимо ламы.

— Догони это пони! — крикнула она.

Лама побежала, жалобно мыча:

— Чиао хси-фу нан цо мей ми чу (мне этого еще никогда не удавалось).

На конечной станции Гудзон Бауэр спрыгнул с пони, закупорился в капсулу и перемахнул через реку. Вайолет влетела в восьмивесельную лодку и пристроилась на сиденье рулевого.

— Следовать за этой капсулой! — крикнула она. На джерсийском берегу (Невада Ист) Вайолет продолжала преследовать Бауэра на движущейся мостовой, а затем на каре фирмы «Улешетывай» к старому Ньюарку, где Бауэр вскочил на трампolin и катапультировался в первый вагон монорельсовой дороги Блокайлэнд-Нантакет.

Вайолет подождала, пока монорельс тронется в путь, и в последнюю секунду успела вскочить в задний вагон.

Оказавшись в вагоне, она направила острие гарпуна в сторону находившейся там же расфуфыренной девчонки и заставила ее обменяться с ней одеждой. В бальных туфельках, черных ажурных чулках, клетчатой юбке и шелковой блузке, Вайолет высыпалась разлютовавшуюся дамочку из вагона на остановке Ист Вайн-стрит и уже более открыто принялась наблюдать за передним вагоном. На Монтаке — крайний восточный пункт Каталина Ист — Бауэр выскользнул из вагона.

Вайолет снова подождала, пока двинется монорельс, и лишь тогда продолжила погоню. На нижней платформе Бауэр забрался в жерло коммутированной пушки и взлетел в пространство. Вайолет бросилась вслед за ним к той же пушке и осторожно, чтобы не изменить наводку, установленную Бауэром, скользнула в пушечное жерло. Она взлетела в воздух всего на полминуты позже Бауэра и

брюкнулась на посадочную площадку в тот момент, когда Сэм спускался по веревочной лестнице.

— Вы?! — воскликнул он.

— Да, я.

— А в черном скафандре тоже были вы?

— Опять же я.

— Я думал, что отделался от вас в Ньюарке.

— Нет, этот номер не прошел, — угрюмо сказала она. — Я вас прищепла к стенке, Кид.

И в эту секунду Вайолет увидела дом.

Он был похож на те дома, которые в двадцатом веке рисовали дети: два этажа, остроконечная крыша, крытая рваным толем, стены из грязных коричневых дранок, державшихся на честном слове, двойные рамы с крестообразным переплетом, кирпичная труба, увитая плющом; шаткое крылечко. Справа проржавевшие руины рассчитанного на две автомашины гаража; слева заросли чахлых сорняков. В вечернем сумраке казалось, что в этом доме наверняка должны водиться привидения.

— Ох, Сэм! — охнула Вайолет. — Как здесь красиво!

— Это дом, — сказал он просто.

— А внутри?

— Зайдите и поглядите.

Внутри дом был словно склад, заставленный товарами, заказанными по почте; все здесь было бросовое — дешевое, второсортное, подержанное, уцененное, купленное на распродаже.

— Здесь как в раю, — сказала Вайолет. Она нежно прильнула к пылесосу типа канистры с венцловым амортизатором. — Здесь так покойно, уютно. Я уже много лет не была так счастлива.

— Постойте, постойте, — сказал Бауэр, которого распирало от гордости.

Встав на колени перед камином, он разжег березовые дрова. Охваченные желтым и красноватым пламенем, искления весело потрескивали.

— Смотрите, — сказал он. — Дрова настоящие, и огонь настоящий. А еще я знаю музей, где есть пара железных подставок для дров в камине.

— Правда? Честное слово?

Он кивнул.

— Музей Пибоди в Высшем Йельском.

Вайолет наконец решилась.

— Сэм, я помогу вам.

Он удивленно на нее взглянул.

— Я помогу вам их украсть, — сказала Вайолет. — Я... я помогу вам украсть все, что вы захотите, Сэм.

— Вы не шутите, Вайолет?

— Я была дурой. Я не понимала. Я... Вы были правы, Сэм. Я вела себя, как последняя идиотка.

— Вайолет, вы серьезно это говорите, или хотите меня во что-то втравить?

— Я говорю серьезно, Сэм. Честное слово.

— Вам так понравился мой дом?

— Конечно, мне понравился ваш дом, но причина не только в этом.

— Значит, мы действуем вместе?

— Да, Сэм, теперь мы вместе.

— Дайте руку.

Вместо этого она обняла его за шею и крепко к нему прижалась. Бог весть, сколько минут просидели они на раскладном кресле из пенопласта... затем Вайолет тихо шепнула ему на ухо:

— Мы с тобой — против всех остальных, Сэм.

— И пусть они поберегутся: им придется несладко.

— Да, пусть они поберегутся, и они и эти бабы по имени Джейн.

— Вайолет, клянусь, ни к одной из них я не относился серьезно. Если бы ты их видела...

— Я видела их.

— Видела? Где? Каким образом?

— Я тебе как-нибудь расскажу.

— Но...

— Ну перестань!

После длительной паузы он сказал:

— Если мы не врежем замок в дверь спальни, может случиться неприятность.

— К черту замок! — сказала Вайолет.

— ВНИМАНИЕ, ЛУИ ЖУРДЕН! — раздался резкий оглушительный голос.

Сэм и Вайолет вскочили с кресла. В окна ворвался ослепительный сине-белый свет. Слышался ропот толпы, уже готовой приступить к суду Линча, гремела галопирующим креццendo увертиюра к «Вильгельму Теллю», раздавались звуки, напоминающие о кентуккском дерби, локомотивах 4-6-4, о тарацах и о внезапных налетах индейцев племени саскачеван.

— ВНИМАНИЕ, ЛУИ ЖУРДЕН! — вновь раздался резкий оглушительный голос.

Они подбежали к окну и осторожно выглянули. Дом был окружен слепящими прожекторами. В толпе смутно можно было различить повстанцев Жакерии с гильотиной, теле- и кинокамеры, большой симфонический оркестр, целую роту звукооператоров в наушниках, режиссера со шторами и мегафоном, инспектора Робинсона с микрофоном, а вокруг на парусиновых шезлонгах сидело с полтора десятка загrimированных мужчин и женщин.

— ВНИМАНИЕ, ЛУИ ЖУРДЕН. С ВАМИ ГОВОРЯТ ИНСПЕКТОР РОБИНСОН. ВЫ ОКРУЖЕНЫ. МЫ... ЧТО? АХ, ВРЕМЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ? ХОРОШО, ВАЛЯЙТЕ.

Бауэр свирепо посмотрел на Вайолет.

— Значит, ты обманула меня?

— Нет, Сэм, клянусь.

— Тогда как здесь очутились все эти люди?

— Не знаю.

— Это ты их привела.

— Нет, нет, Сэм, нет! Я... может быть, я оказалась не такой умелой, как предполагала. Может быть, пока я гналась за тобой, они следили за мной. Но, клянусь тебе, я их не видела.

— Врешь.

— Нет, Сэм.

Она заплакала.

— Ты меня продала.

— ВНИМАНИЕ, ЛУИ ЖУРДЕН, ВНИМАНИЕ, ЛУИ ЖУРДЕН. НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЕ ОДРИ ХЭПБЕРН.

— Кого? — ошеломленно спросил Бауэр.

— Эт-то ме-еня, — всхлипнула Вайолет. — Я взяла себе другое имя, так же как ты. Одри Хэпберн и Вайолет Дуган одно и то же лицо. Они думают, что ты меня удерживаешь как заложницу, но я тебя не выдавала, С-Сэм. Я не шпионка.

— Ты говоришь мне правду?

— Чистую правду.

— ВНИМАНИЕ, ЛУИ ЖУРДЕН. НАМ ОТЛИЧНО ИЗВЕСТНО, ЧТО ТЫ ИСКУСНИК КИД. ВЫХОДИ, ПОДНЯВ РУКИ ВВЕРХ. ОСВОБОДИ ОДРИ ХЭП-

БЕРН И ВЫХОДИ ИЗ ДОМА, ПОДНЯВ РУКИ ВВЕРХ.

Бауэр распахнул окно.

— Войди и арестуй меня, дурила! — гаркнул он.

— ПОГОДИ, ПОКА МЫ НЕ ПОДКЛЮЧИМСЯ К СЕТИ, УМНИК.

Десять секунд, в течение которых производилось подключение, прошли в полном молчании. Затем прогремели выстрелы. Удлиненные грибовидные дымки вспыхнули там, куда ударили пули. Вайолет взвизгнула. Бауэр захлопнул окно.

— Эффективность всех боеприпасов у них снижена до самой крайней степени, — заметил он. — Боятся повредить мои сокровища. Может, мы еще и выкарабкаемся отсюда, Вайолет.

— Нет, не надо. Миленький, прошу тебя, не надо с ними сражаться.

— Сражаться я не могу. Чем бы я стал с ними сражаться?

Выстрелы теперь гремели не смолкая. Со стены упала картина.

— Сэм, да послушай ты меня, — взмолилась Вайолет. — Сдайся. Я знаю, что за кражу со взломом дают девяносто дней, но я буду ждать тебя.

Одно из окон разлетелось вдребезги.

— Ты будешь ждать меня, Вайолет?

— Буду. Клянусь.

Загорелась занавеска.

— Так ведь девяносто дней! Целых три месяца.

— Мы переждем их и начнем новую жизнь.

Внизу, на улице, инспектор Робинсон внезапно застонал и схватился за плечо.

— Ну ладно, — сказал Бауэр. — Я сдамся... Но взгляни на них, на этот дурацкий спектакль, где перемешаны и «Гангстерские битвы», и «Неприкасаемые», и «Громовые двадцатые годы». Пусть я лучше пропаду, если оставлю им хоть что-нибудь из того, что я выкрал. Погоди-ка...

— Что ты хочешь сделать?

Тем временем на улице «Пробивной отряд» принял кашлять, будто наглотался слезоточивого газа.

— Взорву все к чертям, — ответил Бауэр, роясь в банке с сахаром.

— Взорвешь? Но как?

— Я раздобыл немного динамита у Гручо, Чико, Харпо и Маркса, когда шарил по их коллекциям разрыхляющих землю инструментов. Мотыги я не раздобыл, а вот это достал.

Он поднял вверх небольшую красную палочку с часовым механизмом на головке. На палочке была надпись TNT.

На улице Эд (Бегли) судорожно схватился за сердце, мужественно улыбнулся и рухнул на тротуар.

— Я не знаю, когда будет взрыв и сколько у нас времени, — сказал Бауэр. — Поэтому, как только я брошу палочку, беги со всех ног. Ты готова?

— Да-да, — ответила она дрожащим голосом.

Он схватил динамитную палочку, которая тут же начала зловеще тикаТЬ, и швырнул TNT на серо-зеленую софу.

— Беги!

Подняв руки, они бросились через парадное в слепящий свет прожекторов.

Гарри Гаррисон

АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ

После ужина, когда посуда уже убрана и вымыта, для нас, детей, нет ничего лучше, чем собраться вокруг огня и слушать рассказы Отца.

Памятуя все современные виды развлечения, вы, возможно, заметите, что такая картина отдает чем-то ветхозаветным, но, произнося эти слова, вы, надеюсь, простите мою снисходительную улыбку?

Мне минуло восемнадцать, и почти все мое детство осталось позади. Но Отец — прирожденный актер, звуки его голоса завораживают меня, и я заслушиваюсь его рассказами. Хотя мы и выиграли Войну, но потери понесли невероятные, и мир вокруг полон зверств и жестокостей. Я бережно храню мир моего детства.

— Расскажи нам о последнем бое, — обычно просят дети, и вот история, которую они обычно получают в ответ. Хотя мы и прекрасно знаем, что все давным-давно кончено, мы всякий раз пугаемся, а любой знает, что потрястись от страха перед сном только полезно.

Отец наливает себе пива, неторопливо отхлебывает его, потом смахивает рукой пену с усов. Это служит сигналом.

— Война — дерьмо, запомните, ребята, — начинает он, и двое подростков дружно хихикают: произнеси они это слово, их бы ждала хорошая взбучка. — Война — дерьмо и всегда была им, это вы раз и навсегда запомните, для того и говорю. Мы выиграли последний бой, но многое отличных парней полегло за эту победу, и

теперь, когда все позади, я хочу, чтобы вы помнили это. Они умирали, чтобы вы могли сейчас жить. И чтобы никогда не знали, что такое война.

Прежде всего выбросьте из головы мысль, будто в войне есть что-то благородное и прекрасное. Нет этого. Это миф, который давно умер и, возможно, восходит к тому времени, когда война велась врукопашную на пороге пещеры и человек защищал свой дом от чужеземцев. Эти времена давно ушли, и что было прекрасно для индивидуума, может обернуться смертью для цивилизованного общества. Смертью, понимаете?

Отец обводил слушателей своими большими серыми глазами, а мы сидели потупившись. Мы почему-то ощущали вину, хотя и родились после Войны.

— Мы выиграли Войну, но победа не стоила бы ничего, не извлекли мы из нее урока. Противник мог раньше нас изобрести Абсолютное Оружие, и мы были бы стерты с лица земли, не забывайте об этом. Историческая случайность спасла нашу культуру и принесла врагам гибель. И если удача научила нас чему-то, то это человечность. Мы не боги и вовсе несовершены — и мы должны запретить войну, положив раз и навсегда конец человеческой розни. Я был там, я убивал, и я знаю, что говорю.

Потом наступал момент, к которому мы были готовы и который ждали затаив дыхание.

— Вот оно, — провозглашал Отец, поднимаясь во весь рост, и указывал на стену. — Вот оно, оружие, которое бьет с расстояния, наше Абсолютное Оружие.

Отец потрясал луком над головой, и его фигура, освещенная светом костра, казалась истинно трагической. Даже завернутые в пикуры малыши переставали щелкать блох и, разинув рот, глядели на Отца.

— Человек с палицей, или каменным ножом, или пикой не устоит против лука. Мы выиграли Войну и теперь должны использовать это Оружие только в мирных целях — охотиться на лосей и мамонтов. Вот наше будущее.

Улыбаясь, он осторожно повесил лук на крючок.

— Теперь Война кажется чем-то невероятным. Наступила эра вечного мира.

ЕСЛИ

— Мы прибыли, мы точны. Все расчеты верны. Вон оно, это место, под нами.

— Ты ничтожество, — сказала 17-я своей коллеге, отличавшейся от нее только номером. — Место действительно то. Но мы ошиблись на девять лет. Взгляни на приборы.

— Я ничтожество. Я могу освободить вас от тяжести своего бесполезного присутствия. — 35-я достала из ножен нож и попробовала лезвие, необычайно острое. Она приставила нож к белой полоске, опоясывающей ее шею, и подготовилась перерезать себе горло.

— Не сейчас, — прошипела 17-я. — У нас и без того нехватка рабочих рук, а твой труп едва ли пригодится экспедиции. Немедленно переключи нас на нужное время. Ты что, забыла, что надо экономить энергию.

— Все будет, как вы прикажете, — сказала 35-я, скользнув к пульту управления. 44-я не вмешивалась в разговор — она не спускала фасетчатых глаз с пульта, подкручивая своими плоскими пальцами различные ручки в ответ на показания многочисленных стрелок.

— Вот так, — произнесла 17-я, радостно потирая руки. — Точное время и точное место. Мы приземляемся и решаем нашу судьбу. Воздадим же хвалу всевышнему, который держит в руках все судьбы.

— Хвала всевышнему, — пробормотали ее коллеги, не спуская глаз с рычагов.

Прямо с голубого неба на землю спускалась сферическая ракета. Ракета, если не считать широкого прямоугольного люка, расположенного сейчас снизу, ничем не отличалась от шара и была выполнена из какого-то зеленого металла, возможно, анодированного алюминия, хотя и казалась тверже. Почему ракета движется и как тормозит, по ее внешнему виду было непонятно. Все медленнее и медленнее ракета опускалась ниже, пока не скрылась за холмами на северном берегу озера Джексона, над рощей корабельных сосен. Вокруг раскинулись поля, где паслись коровы, нимало не встревоженные ее появлением. Людей видно не было. Холмы прорезала заросшая лесная тропинка, которая тянулась от озера к роще и дальше до шоссе.

Иволга села на куст и ласково запела; маленький кролик прискакал с поля погрызть траву. Этую буколиче-

скую идиллию нарушили шаги, раздавшиеся на тропе, и резкий, необычайно монотонный свист. Птичка — беззвукный цветной комок — тотчас вспорхнула, а кролик исчез за оградой. От озера по склону холма шел мальчик. Одетый в обычную одежду, он держал в одной руке портфель, а в другой — самодельную проволочную клетку. В клетке сидела крошечная ящерица, которая прижималась к проволоке и вращала глазами, выискивая возможную опасность. Громко насвистывая, мальчик шагал по тропе, углубляясь в тень сосновой рощи.

— Мальчик, — услыхал он резкий дрожащий голос. — Ты слышишь меня, мальчик?

— Конечно, — ответил мальчик, останавливаясь и оглядываясь в поисках невидимого собеседника. — Где ты?

— Я возле тебя, но я невидима. Я фея из сказки...
Мальчик высунул язык, насмешливо свистнул.

— Я не верю в невидимок и сказочных фей. Кто бы вы ни были, выходите из леса.

— Все дети верят в сказочных фей, — обеспокоенно и без прежней вкрадчивости сказал голос. — Я знаю все секреты. Я знаю, что тебя зовут Дон и...

— Все знают, что меня зовут Дон, и никто больше не верит в сказки. Теперь ребята верят в ракеты, подводные лодки и атомную энергию.

— А в космические полеты?

— Конечно.

Немного успокоенный голос зазвучал тверже и вкрадчивей:

— Я боялась испугать тебя, но на самом деле я прилетела с Марса и только что приземлилась...

Дон снова издал насмешливый звук.

— На Марсе нет атмосферы и никаких форм жизни. А теперь выходите, хватит играть со мной в прятки.

Немного помолчав, голос сказал:

— Но в путешествия во времени ты веришь?

— Верю. Вы хотите сказать, что пришли из будущего?

— Да, — ответил голос с облегчением.

— Тогда выходите, чтобы я мог вас увидеть.

— Существуют вещи, недоступные для человеческого глаза.

— Врахи! Человек отлично видит все, что хочет. Или вы выходите, или я ухожу.

— Не уходи, — раздраженно сказал голос. — Я могу доказать, что свободно передвигаюсь во времени, ответив на твою завтрашнюю контрольную по математике. Правда, здорово? В первой задаче получается 1,76. Во второй...

— Я не люблю списывать, а даже если бы любил, с математикой такие штуки не пройдут. Либо ты ее знаешь, либо — нет. Я считаю до десяти, потом ухожу.

— Нет, ты не уйдешь! Ты должен помочь мне! Выпусти эту крошечную ящерицу из клетки, и я выполню три твоих желания — вернее, отвечу на три вопроса.

— Почему это я должен ее выпускать?

— Это твой первый вопрос?

— Нет. Но я люблю сначала понять, а потом делать. Это особая ящерица. Я никогда прежде не видел здесь такой.

— Правильно. Это акродонтная ящерица Старого Света из подотряда червеязычных, обычно называемая хамелеоном.

— Точно! — Дон действительно заинтересовался. Он сел на корточки, вынул из портфеля книгу в яркой обложке и положил ее на дорогу. Потом повернул клетку так, что ящерица оказалась на дне, и осторожно поставил клетку на книгу. — А что, ее цвет правда изменится?

— Ты это сам увидишь. Теперь, если ты отпустишь эту сумку...

— Откуда вы знаете, что это самка? Опять фокусы со временем?

— Если хочешь знать — да. Эту ящерицу в паре с еще одной купил в зоомагазине некий Джим Бенан. Два дня назад Бенан, оплоумев от добровольного поглощения жидкости, содержащей этиловый спирт, сел на клетку, и обе ящерицы оказались свободны. Но одна из них погибла, а эта выжила. Отпусти...

— Хватит шутить шутками, я пошел домой. Или выходите наружу.

— Я предупреждаю тебя...

— Пока, — Дон подобрал клетку. — Смотри-ка, она стала красной, как кирпич!

— Не уходи. Я сейчас выйду.

Дон с любопытством глядел на странное существо, показавшееся из-за деревьев. Существо было голубого цвета, с громадными выпученными глазами, которые глядели в разные стороны, и носило коричневый трениро-

вочный костюм, а за спиной держало ранец с аппаратурой. Росту в нем было дюймов семь.

— Не слишком-то вы похожи на человека будущего, — заметил Дон. — Правильнее сказать, вы вообще не похожи на человека. Вы слишком малы.

— Я мог бы ответить тебе, что ты слишком велик: размеры — вещь относительная. А я действительно из будущего, хотя и не человек.

— Это точно. Вы куда больше похожи на ящерицу, — неожиданно сообразив, Дон перевел взгляд с пришельца на клетку. — Вы, правда, страшно похожи на хамелеона. В чем тут дело?

— Это тебя не касается. Подчиняйся команде, или тебе придется худо. — 17-я повернулась к лесу и сделала знак. — 35-я, я приказываю! Подойди и сожги кусты.

Дон со все большим интересом смотрел, как из-за деревьев выплыл зеленый металлический шар. Вот люк откинулся, и в отверстии показалось сопло, похожее на брандспойт игрушечной пожарной машины. Сопло нацелилось на кусты, стоявшие в тридцати футах от изгороди. Из глубины ракеты раздался пронзительный вой, поднявшийся так высоко, что стал едва слышим. И вдруг тонкий луч света проскользнул от сопла к кустам, раздался сухой треск, и кусты озарились ярким пламенем. Через секунду от них остался лишь черный остов.

— Это смертоносное оружие называется оксидайзером, — сказала 17-я. — Немедленно выпусти хамелеона, или испытай его действие на себе...

Дон усмехнулся.

— Хорошо. Кому, в конце концов, нужна старая ящерица.

Он поставил клетку на землю и наклонился над ней. Потом снова выпрямился. Подобрал клетку и пошел по траве к сожженному кустарнику.

— Остановись! — закричала 17-я. — Еще шаг — и мы сожжем тебя.

Дон пропустил мимо ушей слова пританцовывавшей от злости ящерицы и побежал к кустам. Потом вытянул руку — и прошел сквозь них.

— Я так и понял, что тут дело нечисто, — сказал он. — Все горело, ветер дул в мою сторону, а запаха никакого. — Он повернулся к 17-й, хранившей мрачное

молчание. — Это ведь всего лишь проекция или что-нибудь в этом роде, а? Трехмерное кино, к примеру.

Неожиданная мысль заставила его остановиться и вновь подойти к словно замершей ящерице. Мальчик ткнул в нее пальцем — рука прошла насквозь.

— Вот те на — опять тот же фокус?

— Эксперименты ни к чему. Я и наш корабль существуем только в виде, если можно так выразиться, временного эха. Материя не может передвигаться во времени, но ее идея может проецироваться в различные времена. Наверное, это несколько сложно для тебя...

— До сих пор все понятно. Валяйте дальше.

— Наши проекции действительно находятся здесь, хотя для любого наблюдателя вроде тебя мы всего лишь воображение, звуковые волны. Для временных перемещений необходимо гигантское количество энергии, и все ресурсы нашей планеты включены в это путешествие.

— Ну да? Вот наконец-то и правда, так сказать, для разнообразия. Никаких добрых фей и прочей ерунды.

— Мне очень жаль, что приходится прибегать к уверткам, но тайна слишком важна, и нам хотелось по возможности скрыть ее.

— Теперь, кажется, мы переходим к настоящим разговорам, — Дон сел поудобнее, подвернув под себя ноги. — Я слушаю.

— Нам необходима твоя помощь, иначе под угрозой окажется все наше общество. Совсем недавно — по нашим масштабам времени — приборы показали странные нарушения. Мы, ящеры, ведем простую жизнь на несколько миллионов лет в будущем, где наша раса доминирует. Ваша раса давно вымерла и так страшно, что мне не хочется говорить тебе об этом. Наша раса находится под угрозой, мы захлестнуты и почти сметены волной вероятности — громадная отрицательная волна движется на нас из прошлого.

— А что такое волны вероятности?

— Я приведу пример из вашей литературы. Если бы твой дед умер холостым, ты бы не родился и не разговаривал сейчас со мной.

— Но я родился.

— В большей ксанвероятностной вселенной это еще спорный вопрос, но у нас нет времени толковать об этом. Наш энергетический запас слишком мал. Короче, мы проследили нашу родовую линию сквозь все мутации и

изменения, пока не нашли первобытную ящерицу, от которой пошел наш род.

— Ага, — сказал Дон, указывая на клетку. — Это она и есть?

— Это она, — торжественно, как и подобало слушаю, провозгласила 17-я. — Так же как где-то и когда-то находился предок, от которого началась ваша раса, так и она является довременной праматерью нашей. Она скоро родит, и ее потомство вырастет и возмужает в этой прекрасной долине. Скалы возле озера достаточно радиоактивны, чтобы вызвать мутацию. Но все это в том случае, если ты откроешь клетку.

Дон подпер рукой подбородок и задумался.

— А со мной ничего не случится? Все это правда?

17-я вытянулась и замахала передними руками — или ногами — над головой.

— Клянусь всем сущим, — произнесла она. — Вечными звездами, проходящими веснами, облаками, небом, матриархатом, что я...

— Да вы просто перекреститесь и скажите, что помрете, если соврали, этого хватит.

Она описала глазами концентрические окружности и исполнила требуемый ритуал.

— О'кэй, я, как и любой парень в нашей округе, смягчаюсь, когда речь заходит о гибели целой расы.

Дон отвернул кусок проволоки, которой прикреплялась дверца клетки, и открыл ее. Хамелеон выкатил на него один глаз, а второй устремил на дверцу. 17-я глядела, не решаясь нарушить тишину, а ракета тем временем подплыла ближе.

— Иди, иди, — сказал Дон, вытряхивая ящерицу на траву.

На этот раз хамелеон сообразил, что от него требуется, и полз в кусты и исчез там.

— Теперь ваше будущее обеспечено, — сказал Дон. — Или прошлое с вашей точки зрения.

17-я и ракета беззвучно исчезли, а Дон снова оказался один.

— Могли бы, по крайней мере, спасибо сказать, прежде чем исчезать. Люди, оказывается, куда воспитаннее ящериц.

Он подобрал пустую клетку и зашагал домой.

Он не слышал, как запелестели кусты, и не видел кота с хвостом хамелеона в зубах.

Библиография Библиотеки современной фантастики

(Издательство «Молодая гвардия». Москва)

Азимов Айзек

Конец вечности. Роман. Том 9, 1966.

Небывальщина. Рассказ. Том 24, 1971.

Некролог. Рассказ. Том 25, 1973.

Молодость. Рассказ. Том 25, 1973 (перевод с англ.).

Алдани Лино

Онирофильм. Рассказ. Том 5, 1966 (перевод с итал.).

Альтов Генрих

Ослик и аксиома. Богатырская симфония. Рассказы. Том 14, 1968.

Икар и Дедал. Рассказ. Том 15, 1968.

Войскунский Евгений, Лукодьянов Исаи

Прощание на берегу. Рассказ. Том 14, 1968.

Андерсон Пол

Поворотный пункт. Зовите меня Джо. Рассказы. Том 10, 1967 (перевод с англ.).

Берестов Валентин

Алло, Парнас! Рассказ. Том 19, 1970.

Бестер Альфред

Феномен исчезновения. Звездочка светлая, звездочка ранняя. Путевой дневник. Рассказы. Том 10, 1967.

Уничтоженный человек. Повесть. Том 24, 1972.

Ночная ваза с цветочным бордюром. Рассказ. Том 25, 1973 (перевод с англ.).

Бигл-младший Ллойд

«Какая прелестная школа!..» Рассказ. Том 10, 1967 (перевод с англ.).

Бигл Питер С.

Милости просим, леди Смерть! Рассказ. Том 21, 1971 (перевод с англ.).

Биленкин Дмитрий
Космический бог. Рассказ. Том 15, 1968.

Бинг Юн
Буллимар. Рассказ. Том 20, 1971.
Рисстофер Юсеф. Рассказ. Том 21, 1971 (перевод с норв.).

Бойе Карин
Каллюкоинн. Роман. Том 20, 1971 (перевод со швед.).

Борунь Кшиштоф
Восьмой круг ада. Повесть. Том 5, 1966.
Cogito, ergo sum... Рассказ. Том 23, 1972 (перевод с польск.).

Браун Фредерик
Просто смешно! Рассказ. Том 10, 1967 (перевод с англ.).

Брингсвард Тур Оре
Бумеранг. Рассказ. Том 20, 1971 (перевод с норв.).

Булычев Кирилл
Девочка, с которой ничего не случится. Рассказ. Том 15, 1968.

Брэдбери Рей
451° по Фаренгейту. Роман. Человек в картишках. Калейдоскоп. На большой дороге. Завтра конец света. Кошки-мышки. Бетономешалка. Урочный час. Ракета. Пешеход. Пустыня. Убийца. Дракон. Конец начальной поры. Икар Монгольфье Райт. Были они смуглые и золотоглазые. Земляничное окопыко. Рассказы. Том 3, 1965.
Апрельское колдовство. Рассказ. Том 21, 1971.
Человек в небе. Рассказ. Том 25, 1973 (перевод с англ.).

Буль Пьер
Бесконечная ночь. Рассказ. Том 5, 1966.
Планета обезьян. Роман. Чудо. Идеальный робот. Рассказы. Том 13, 1967.
Когда не вышло у змея. Рассказ. Том 25, 1973 (перевод с франц.).

Валё Пер
Гибель 34-го отдела. Роман. Том 20, 1971 (перевод со швед.).

Варшавский Илья
В атолле. Маскарад. Рассказы. Том 14, 1968.
Тревожных симптомов нет. Секреты жанра. Молекулярное кафе. Рассказы. Том 15, 1968.

Вежинов Павел
Сипие бабочки. Однажды осенним днем на шоссе. Рассказы. Том 23, 1972 (перевод с болг.).

Воннегут-младший Курт
Утопия 14. Роман. Том 12, 1967.

Эффект Барихауза. Эпикак. Рассказы. Том 25, 1973 (перевод с англ.).

Ганн Джеймс

Где бы ты ни был. Рассказ. Том 10, 1967 (перевод с англ.).

Гансовский Север

День Гнева. Рассказ. Том 14, 1968.

Полигон. Рассказ. Том 15, 1968.

Голд Гораций

Чего стоят крылья. Рассказ. Том 21, 1971 (перевод с англ.).

Гаррисон Гарри

Магазин игрушек. Рассказ. Том 10, 1967.

Неукротимая планета. Повесть. Том 24, 1972.

Если. Абсолютное оружие. Рассказы. Том 25, 1973 (перевод с англ.).

Гор Геннадий

Мальчик. Рассказ. Том 14, 1968.

Григорьев Владимир

Рог изобилия. Рассказ. Том 15, 1968.

Громова Ариадна

В круге света. Повесть. Том 15, 1968.

Гуревич Георгий

Функция Шорина. Рассказ. Том 14, 1968.

Днепров Анатолий

Когда задают вопросы. Рассказ. Том 14, 1968.

Уравнения Максвелла. Рассказ. Том 15, 1968.

Джоунс Рэймонд Ф.

Уровень шума. Рассказ. Том 10, 1967 (перевод с англ.).

Донев Антон

Алмазный дым. Рассказ. Том 23, 1972 (перевод с болг.).

Дюрренматт Фридрих

Операция «Вега». Том 5, 1966 (перевод с нем.).

Емцев Михаил, Парнов Еремей

Снежок. Рассказ. Том 14, 1968.

Ефремов Иван

Звездные корабли. Повесть. Туманность Андромеды. Роман.

Том 1, 1965.

Олгой-хорхой. Том 25, 1973.

Журавлев Валентина

Астронавт. Летящие во вселенной. Нахалка. Рассказы. Том 14, 1968.

Зубков Борис, Муслин Евгений
Непрочный, непрочный, непрочный мир. Рассказ. Том 14, 1968.

Иванов Всеволод
Сизиф, сын Эола. Рассказ. Том 19, 1970.

Казанцев Александр
Взрыв. Рассказ. Том 14, 1968.

Кайдош Вацлав
Опыт. Рассказ. Том 5, 1966 (перевод с чеш.).

Карнги Фридеш
Сын первого века. Письма в космос. Рассказы. Том 23, 1972
(перевод с венг.).

Каттнер Генри
Сплошные неприятности. Рассказ. Том 10, 1967.
Сим удостоверяется. Рассказ. Том 21, 1971 (перевод с англ.).

Киз Дэниел
Цветы для Элджернона. Рассказ. Том 10, 1967 (перевод с англ.).

Кларк Артур Чарльз
Большая глубина. Роман. Из контрразведки. Девять миллиардов имен. Техническая ошибка. Солнечный ветер. Спасательный отряд. Стена мрака. Рассказы. Том 6, 1966.
Колыбель на орбите. Рассказ. Том 25, 1973 (перевод с англ.).

Кобо Аба
Четвертый ледниковый период. Роман. Тоталоскоп. Рассказ. Том 2, 1965.
Детская. Рассказ. Том 25, 1973 (перевод с япон.).

Комацу Сакё
Черная эмблема сакуры. Рассказ. Том 5, 1966.
Смерть Бикуни. Рассказ. Том 21, 1971 (перевод с япон.).

Крэйн Роберт
Пурпурные поля. Рассказ. Том 10, 1967 (перевод с англ.).

Куросака Боб
Кто во что горазд. Рассказ. Том 10, 1967 (перевод с англ.).

Лагин Лазарь
Майор Велл Энджью. Рассказ. Том 15, 1968.

Лао Шэ
Записки о кошачьем городе. Повесть. Том 23, 1972 (перевод с китайск.).

Легран Клод
По мерке. Рассказ. Том 21, 1971 (перевод с франц.).

- Леонов Леонид*
Бегство мистера Мак-Кивли. Киноповесть. Том 19, 1970.
- Лем Станислав*
Возвращение со звезд. Роман. Звездные дневники Иона Тихого. Том 4, 1985.
Альфред Целлерман «Группенфюрер Луи XVI». Рассказ. Том 25, 1973 (перевод с польск.).
- Льопис Рохелио*
Сказочник. Рассказ. Том 23, 1972 (перевод с испан.).
- Лэфферти Р. А.*
Семь дней ужаса. Рассказ. Том 21, 1971 (перевод с англ.).
- Майе Андре*
Как я стала писательницей. Рассказ. Том 21, 1971 (перевод с франц.).
- Матуте Ана Мария*
Король Зенинов. Рассказ. Том 21, 1971 (перевод с испан.).
- Мерль Робер*
Разумное животное. Роман. Том 17, 1969 (перевод с франц.).
- Минготе Антонио*
Николас. Рассказ. Том 21, 1971 (перевод с испан.).
- Моррисон Уильям*
Мешок. Рассказ. Том 10, 1967 (перевод с англ.).
- Несвадба Йозеф*
Ангел смерти. Рассказ. Том 23, 1972 (перевод с чеш.).
- Нильсен Нильс*
Запретные сказки. Играйте с нами! Никудышный музыкант. Продаётся планета. Рассказы. Том 20, 1971 (перевод с датск.).
- Подольский Роман*
Мореплавание невозможно. Потомки делают выводы. Рассказы. Том 14, 1968.
- Пол Фредерик*
Я — это другое дело. Рассказ. Том 10, 1967 (перевод с англ.).
- Поллард Джеймс*
Заколдованный поезд. Рассказ. Том 21, 1971 (перевод с англ.).
- Пристли Джон Бойnton*
Дженни Вильерс. Роман о театре. Том 21, 1971 (перевод с англ.).
- Разговоров Никита*
Четыре четырки. Рассказ. Том 14, 1968.

Росоховатский Игорь
Тор I. Рассказ. Том 14, 1968.

Рассел Эрик Френк
Пробный камень. Рассказ. Том 10, 1967 (перевод с англ.).

Рей Жан
Рука Гепа фон Берлихингена. Рассказ. Том 21, 1971 (перевод с франц.).

Савченко Владимир
Вторая экспедиция на Странную планету. Рассказ. Том 14, 1968.

Открытие себя. Роман. Том 22, 1972.

Испытание истиной. Повесть. Том 25, 1973.

Саймак Клиффорд
Кимон. Рассказ. Том 10, 1967.

Почти как люди. Роман. Все ловушки земли. Воспителлы.

Смерть в доме. Рассказы. Том 18, 1970. Театр теней. Рассказ. Том 25, 1973 (перевод с англ.).

Сапарин Виктор
Суд над Танталусом. Рассказ. Том 14, 1968.

Сароян Уильям
Тигр Тома Трейси. Повесть. Том 21, 1971 (перевод с англ.).

Сент-Клер Маргарет
Потребители. Рассказ. Том 10, 1967 (перевод с англ.).

Силверберг Роберт
Тихий, вкрадчивый голос. Рассказ. Том 10, 1967 (перевод с англ.).

Стругацкий Аркадий, Стругацкий Борис
Трудно быть Богом. Роман. Попедельник начинается в субботу. Сказка. Том 7, 1966.
Пикник на обочине. Отрывок из повести. Том 25, 1973.

Тендряков Владимир
Путешествие длиною в век. Повесть. Том 19, 1970.

Томас Теодор
Сломанная линейка. Рассказ. Том 10, 1967 (перевод с англ.).

Тэнн Уильям
Нулевой потенциал. Раесказ. Том 10, 1967 (перевод с англ.).

Уиндем Джон
День триффидов. Роман. Большой простофилья. Видеорама Полли. Рассказ. Том 8, 1966.

Поиски наутгад. Колесо. Рассказы. Том 25, 1973 (перевод с англ.).

Хоси Синиги

Когда придет весна. Том 5, 1966 (перевод с япон.).

Чандлер Бертран

Половина пары. Рассказ. Том 10, 1967 (перевод с англ.).

Чапек Карел

Фабрика абсолюта. Роман. Белая болезнь. Драма. Том 11, 1967 (перевод с чеш.).

Черка Йожеф

Пересадка мозга. Рассказ. Том 23, 1972 (перевод с венг.).

Шекли Роберт

Строги-птица. Абсолютное оружие. Я и мои шпики. Похмелье. Проблема туземцев. Рыцарь в серой фланели. Запах мысли. Поднимается ветер. Рассказы. Билет на планету Транай. Обмен Разумов. Четыре стихии. Повести. Том 16, 1968. Планета по смете. Рассказ. Том 25, 1973 (перевод с англ.).

Шеффнер Вадим

Девушка у обрыва, или Записки Ковригина. Повесть. Том 19, 1970.

Элби Джордж Самнер

Вершина. Рассказ. Том 10, 1967 (перевод с англ.).

Эме Марсель

Талоны на жизнь. Рассказ. Том 5, 1966 (перевод с франц.).

Эмис Кингли

Хемингуэй в космосе. Рассказ. Том 10, 1967 (перевод с англ.).

Янг Роберт

Девушка-одуванчик. Рассказ. Том 10, 1967.

Срубить дерево. Повесть. Том 21, 1971 (перевод с англ.).

Содержание

Время зрелости (предисловие). <i>М. Емцев</i>	5
<i>Иван Ефремов. Олгой-хорхой</i>	11
<i>Кобо Абэ. Детская. Перевод с японского В. Грибнина</i>	27
<i>Рей Брэдбери. Человек в воздухе. Перевод с английского З. Бобырь</i>	42
<i>Станислав Лем. Альфред Целлерман «Груп- пенфюрер Луи XVI». Перевод спольско- го Е. Вайсброта</i>	48
<i>Артур Кларк. Колыбель на орбите. Перевод с английского Н. Елисеева</i>	62
<i>Джон Уиндем. Поиски наугад. Перевод с английского Ю. Кривцова Колесо. Перевод с английского Л. Кисе- лева</i>	67 105
<i>Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Пик- ник на обочине (отрывок из пове- сти)</i>	112
<i>Айзек Азимов. Некролог. Перевод с англий- ского Е. Цветкова Молодость. Перевод с английского Н. Щер- биновской</i>	152 171
<i>Курт Воннегут-мл. Эффект Барнхауза. Пере- вод с английского М. Ковалевой Эпикак. Перевод с английского М. Кова- левой</i>	199 213
<i>Пьер Буль. Когда не выплю у змея. Перевод с французского М. Таймановой</i>	222
<i>Роберт Шекли. Планета по смете. Перевод с английского С. Васильевой</i>	246

<i>Клиффорд Саймак.</i> Театр теней. Перевод с английского С. Васильевой	260
<i>Владимир Савченко.</i> Испытание истиной	302
<i>Альфред Бестер.</i> Ночная ваза с цветочным бордюром. Перевод с английского Е. Кортковой	338
<i>Гарри Гаррисон.</i> Абсолютное оружие. Перевод с английского А. Чапковского	384
<i>Если.</i> Перевод с английского А. Чапковского	386
Библиография Библиотеки современной фантастики	392

Антология. М., «Молодая гвардия», А 72 1973.
400 с. (Б-ка современной фантастики. Т. 25).

Редактор *Б. Клюева*. Художественный редактор *А. Степанова*. Технический редактор *Е. Брауде*. Корректоры *А. Долидзе, Н. Павлова, З. Харитонова*.

Сдано в набор 8/XII 1972 г.
Подписано к печати 20/IV
1973 г. А00692. Формат 84×
×108¹/₃₂. Бумага № 1. Печ. л.
12,5 (усл. 21). Уч.-изд. л. 22.
Тираж 250 000 экз. Цена 1 р.
25 к. Заказ 2020.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия», Москва,
А-30, Сущевская, 21.

THE PEGASUS

ROBERT LEE